198—208

198—

А. ЛЕБЕДЕНКО

ТЯЖЕЛЫЙ ДИВИЗИОН

КНИГА ВТОРАЯ

ГОСЛИТИЗДАТ

198 208

А. ЛЕБЕДЕНКО

ТЯЖЕЛЫЙ ДИВИЗИОН

КНИГА ВТОРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Ленинград 1934

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. Парчки 3
II. Губернаторская дочь 21
III. Мать-командирша 34
IV. Колесо счастья 49
V. Княжна 55
VI. Гостеприимный Минск 65
VII. Его высокопревосходительства адъютант 74
VIII. Черниговская Америка 88
IX. Судьба-злодейка 108
X. Приют священный 126
XI. В гостях у союзников 141
XII. Пузыри 151
XIII. Сандулени 166
XIV. Красные маки 177
XV. Выборы 193
XVI. Навстречу ветру 199
XVII. Качели 210
XVIII. За землю и волю 232
XIX. Настоящая жизнь 254
XX. На реках вавилонских 265
XXI. Четыре тысячи бомб 277
XXII. Герои Ново-Спасского леса 306
XXIII. Фейерверкер Табаков 323
XXIV. Подполковник Скальский стреляет 348
XXV. Листья откружились 365
XXVI. За золотой погон 379
XXVII. Выборгская сторона 396

ОБЩЕСТВ. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
901947

1

ПАРЧКИ

Крестьянские домики за стеной мельчайшего упорного дождя казались убогими клетушками, которые готовы вовсе уйти в землю под напором наступающей воды. Лужи подошли к земляным завалинкам. На глиняных стенах, как на промокательной бумаге, проступили пятна. Бревна казались губками, напоенными влагой. Сочились стены, сочились стволы ближнего леса. Казалось, дождь — привычная стихия этих мест, и никогда летнее солнце не жгло эту, от века мокрую землю и набухшую, отяжелевшую листву.

Андрей сидел на брезентовом чемодане на середине крыльца штабной избы с чувством нарастающей досады.

В штабе дивизии приезд новоиспеченного прапорщика произвел так же мало впечатления, как появление еще одного покупателя в столичном универмаге. Подумаешь — одна звездочка, двадцать пять лет и фамилия из тех, какие колонкой выстраиваются в телефонных книгах! Дежурный офицер назвал ему фольварк, у которого сейчас стоит парковый дивизион, открыто, хотя и с вежливой улыбкой зевнул, накинул на плечи тыловую, гладкого сукна шинель, надвинул на глаза щегольскую кавалерийскую фуражку с крошечным козырьком и, низко пригнувшись, нырнул под притолоку выпадающей из пазов двери.

Старший писарь, заметив растерянность прапорщика, снисходительно посоветовал пройти на телефонную станцию и позвонить в дивизион, чтобы прислали лошадь.

Тарантас из парка прибыл только к вечеру. Вестовой забрал чемодан, складную кровать Андрея, оглянулся кругом и спросил:

— Это все, вашбродь?

— Все, конечно, — ответил Андрей. — Что же на фронт сундуки возить? — И вдруг стало неловко за то, что у него мало вещей.

— Оно так точно. Ну, а только в парке на этот счет легше, вашбродь. У наших писарей вещей побольше вашего будет.

— И зря. Попали бы они на батарею. На походе полетели бы в канаву и тючки и сундучки, — вспомнил Андрей Кольцова.

— А вы, вашбродь, уже на батарее были?

— Всю войну почти... солдатом...

— А-а, — протянул солдат и оглядел как-то по-новому прапорщика с головы до ног.

Лошади хлюпали по шоколадной, глубокой жиже. Брызги от колес залетали даже в высоко поднятый ход тарантаса.

— Тарантас смотрите, вашбродь? Пленный он. Из Венгрии его волокем. У помещика захватили. Еще как с генералом Корниловым за Карпаты ходили. А теперь — командирский.

— Ах, да, вы же с сорок восьмой дивизией...

— Так точно. Вперед всех летели. Один наш парк там оставили.

— Ну, а как теперь живете? Офицеры у вас хорошие?

Солдат, сидевший на облучке в полуоборот, задергал вожжами, завертел кнутовищем и уже через плечо бросил:

— Так что ничего себе, господа... Как полагается... А вот за тим леском ишо лесок, а в ем парк и стоит.

Дождь и ветер одели лес, поле и горизонт одноцветным полотнищем. Под мокрыми, раскисающими соснами стояли промокшие палатки. Сквозь хлюпкий брезент едва пробивался свет свечей.

Решил: «Вот увижу первое лицо, и все определится —

или хорошо или плохо. Если б хоть один человек оказался порядочный... На фронте, да еще одиночество — с тоски сгинуть можно».

— Вот здесь их благородие адъютант, поручик Кельчевский, — сказал провожающий солдат.

Андрей не успел подойти к палатке, как оттуда, согнувшись в три погибели, чтобы не сбросить на себя с брезента лужицу, вышел высокий офицер в кожаной истертой куртке и помятой фуражке. При первом взгляде на его лицо Андрею захотелось представить себе Кельчевского без военной формы, без высоких сапог и кожанки. К этому лицу с курчавой бородкой, с мягкими глазами так шел бы уютный пиджак с домашним воротником и теплым жилетом.

Сутулые плечи, плоская грудь, большой, почти кубический портсигар на боку кричали о том, что потускневшие от дождей погоны — только незванные гости на этих плечах и кокарда на артиллерийской фуражке —печать принуждения.

Он подарил Андрея мягкой, приветливой улыбкой и сказал:

— Здравствуйте, прапорщик. Неприветливо встречают вас наши владения. — Он обвел бивуак рукою.

«Как помещик встречает гостя» — подумал Андрей, настойчиво наблюдая за жестами и выражением лица Кельчевского.

— Устали наверное? Ну, что ж, сегодня не стоит вам уже ходить представляться, и все такое... Палатки у вас, разумеется, нет? Ну, и у нас здесь нет. Надо из обоза второго разряда затребовать. Советую вам пока в избу. Вам уже приглядели, — есть чистая. Там кроватку расставите и, как дома, выспитесь. А завтра решим, где вам устроиться.

При слове «кроватку» Андрей улыбнулся, подумал, как приятно будет вытянуться под одеялом и заснуть крепко, крепко, а человек, предлагавший «расставить кроватку», стал близким и внушающим доверие.

«Хорошо будет!» — решил про себя Андрей и сразу освободился от какой-то тяжести.

Изба, действительно, оказалась просторной и чистой. Кто-то неведомый и невидимый, скорее всего вестовой Кельчевского, принес чемодан и, пока Андрей мылся у колодца, расставил кровать, покрыл простыней и даже зажег на краю стола огарок толстой кондукторской свечи.

За дверью копошились безликие люди, женщины, старики и дети, выселенные для офицера из чистой избы, и сон опустился тяжелым мягким занавесом, сравнявшим звуки крестьянского дома с ночной тишиной прифронтовой деревушки...

— Любите, любите поспать! — нараспев, но без тени упрека закричал Кельчевский над ухом Андрея. — Батенька, уже двенадцать! Здорово после дороги спится? — На нем был теперь табачного цвета френч, и мягкие, пушистые усы одной неразделенной волной тянулись от алых губ к курчавым мягчайшим бакенбардам.

«На дворе солнце, — подумал Андрей, — не может человек иметь такой вид в дождь». — Люблю поспать, — сознался он и стал одеваться.

— Вы знаете, а мы вас уже определили. Вы у нас адъютантом будете, я уже приказ заготовил.

— Я — адъютантом? Но ведь я не знаю делопроизводства.

— Ну, подумаешь, дела! Хорошо уже то, что вы знаете о существовании делопроизводства в кругу адъютантских обязанностей. Вы — человек интеллигентный, а мне уже надоело, — я и командир второго парка и адъютант. Уже полгода. Куда же это годится? И, знаете, все этому будут рады, вы это увидите, а почему — поймете после.

— Ну, знаете, — недоумевал Андрей, — это что-то странное. Я ведь всего неделю тому назад произведен в офицеры. Оглядеться надо, мне ведь и помочь и указать будет некому. Неужели командир дивизиона согласится?

— Так я же вам говорю, уже приказ подписан.

— Но, господин поручик...

— Казимир Станиславович, — поправил Кельчевский.

— Нет, правда...

— Да вы не впадайте в панику, ведь это же не боевая часть. У нас все проще. Делопроизводство пустячное. С месяц я вам помогать буду. Старший писарь — дока. Он все за вас сделает. Зато аксельбанты будете носить. Завтра для вас из чемодана достану запасную пару. Столовые и суточные и на коня получать будете. Не отказывайтесь.

Андрей подумал о том, что белые блестящие змеи с погремушками лягут ему на грудь. Ребячьи цацки! Шпоры, аксельбанты, ордена — сплошной малиновый звон. То, о чем мечтают пустоголовые юнкеришки. И вдруг ему — Андрею, читающему философские книги и стихи Блока...

— У меня нет склонности к погремушкам, — сделал он суровое лицо.

— Ну, не будете носить вне службы, а на службе наденете защитные, зеленые, незаметные — и все по форме. На фронте это не строго. Словом — решено!

Андрей пожал плечами, дескать: поживем — увидим, и вслед за Кельчевским отправился на бивуак.

У столовой палатки — зеленого балагана из выцветших полотнищ — стояла группа офицеров. Все они с нескрываемым любопытством осматривали новоприбывшего офицера. Кельчевский называл Андрею фамилии, офицеры жали руки, задавали обычные при знакомстве вопросы и повели Андрея обедать.

Доктор, худой, с бесцветным лицом и независимым видом, несомненно из семинаристов, достал из кожаного несессера плоскую фляжку и спросил Андрея:

— Зельем не гнушаетесь?

— Спасибо, не пью.

— Ничего? — спросил удивленно Кельчевский.

— Нам больше будет! — с наигранной грубостью пробурчал командир первого парка, поручик Иванов, весь утонувший в золотистой, разросшейся от подбородка до висков, не знающей ни ножниц, ни гребешка буйной бороде.

— Не курите и не пьете? — сложился в любезную улыбку старообразный военный чиновник с блеклым безволосым и смятым лицом. И, покачав перед носом Андрея толстым пальцем с обкусанным ногтем и быстро перебросив свои морщины на лукавый манер, прибавил:

— Наверное по части женского пола ударяете?

— Кандидату — соперник, — съехидничал Иванов.

— Кандидату никто не соперник, — со сладкой хитрецой в голосе заявил чиновник. — Кандидат свое место знает. Где надо, уступит, кто прозевает — подцепит. Лишнего не возьмет, своего не потеряет. — И опять, обращаясь к Андрею: — А в железку... — он сделал пальцами жест, словно быстро сдает карты: — изволите пытать судьбу?

— Есть грех, — засмеялся Андрей, — этим грешен.

— Ну, так вы же наш голубочек, соловейчик вы залетный! Пампушечка! — дурашливо залился, воздев руки кверху, кандидат. — Не миновать вам кандидатских ручек. По рублику, по рублику.. Ой, у меня в Оренбурге на текущем счету еще ведь далеко до десяти тысяч! Ой, далекохонько! Но приблизимся,— чувствует моя душенька, — приблизимся!

«Настоящая ящерица» — подумал Андрей.

— Ой, что вы о кандидате подумали? Чувствую, что-то подумали, — приблизил к нему свое лицо кандидат. — Нехорошее-с подумали. А кандидат — человек открытый и место свое знает. Гордости на одно лычко и ни на копеечку больше. Сколько по штату положено... Не то, что офицерский чин — дворянство там всякое... А денежки кандидат любит. По рублику, по рублику!..

Пивные глаза его слезились, рот с белыми опущенными губами растянулся до ушей. Обгрызанные пальцы суетливо бегали по клеенке стола.

— Кандидат, кандидат, — бурчал поручик Иванов, — а ведь прапорщик адъютантом будет, столовые и суточные получит. Вот пожива-то!

— Адъю-тан-то-м? — всплеснул руками кандидат. — Батюшки светы! А Кулагин-то как?

— А Кулагин в погремушках не нуждается,— прогремел чей-то мощный, но лишенный мягкости и глубины бас за спиною Андрея.

Андрей обернулся. Огромного роста и барской породности офицер с трудом пробирался на свое место вдоль скамьи.

— А в шмоньку у нас и без столовых и суточных на всех армейских кандидатов хватит, — продолжал он, умащиваясь у стола.

— А разве я что-нибудь сказал? — заерзал на месте кандидат. — Я ведь ничего не сказал, ничегосеньки и не думал говорить!..

— Попробовал бы ты сказать! — презрительно процедил Кулагин. — Познакомимся, — протянул он руку Андрею. — Кулагин. А ты, кандидат, сходил бы, чтоб с обедом не тянули. А, впрочем, и без тебя обойдемся. Конон! — заревел он на весь бивуак и застучал ножом по тарелке.

— Есть, ваше благородие, несем! — послышался голос, и вестовой выбежал из кухонной палатки с миской супа.

— Ну, как общество? По вкусу? — спросил Кельчевский и, не дождавшись ответа, продолжал: — Да, знаете, невесело. В боевых частях все-таки лучше. Опасность очищает. А у нас — болото. Был штабс-капитан Петин, это был человек, а сейчас не с кем даже словом перекинуться. Иван Иванович Иванов — это человек приличный вполне. Он служил в министерстве земледелия столоначальником, но зато — чудак, со странностями. Герст — он в отпуску — тоже приличный человек, но немец, сухарь, чуждается всех нас, а прочие! — Кельчевский сделал знак рукой, который должен был выразить безнадежность. — Доктор — пьяница. Ничем, кроме выпивки, не интересуется. Кулагин — скот в человеческом образе, а кандидат...

— Да уж кандидат в рекомендациях не нуждается.

— Он не так прост, как вы думаете. Это — штука сложная. Палец ему в рот не клади.

— Что вы насчет железки?

— Ну, в железку это копеечник. Скорее насчет всего прочего... — Кельчевский многозначительно посмотрел на Андрея.

— А что же еще?.. от кандидата?..

— Ну, тем лучше, тем лучше, — уходя от неприятной темы, заспешил Кельчевский. — А теперь пойдемте, я вас с отцом-командиром познакомлю.

Полковник Торопов сидел у окна в высоких сапогах-бурках и крутил собачью ножку. Его лицо как нельзя лучше подошло бы для антиалкогольного музея. Так четко была вырисована на нем густая паутина синих и фиолетовых жилок, так недвусмысленно был окрашен полный нос, так зловеще дрожала на лбу налитая багровая жила, так темны были яблоки глаз, мутны и неподвижны зрачки. Узловатые пальцы и синяя кожа рук дополняли картину. Изо рта его шла струя крутого перегара, которая нагло заявляла собеседникам отца-командира, что последнее очередное возлияние состоялось отнюдь не в давно прошедшие времена, а только что, здесь же, может быть, непосредственно накануне визита.

Андрей щелкнул шпорами и начал рапортовать полковнику.

Торопов протянул ему руку и, не дав закончить обычную формулу рапорта, спросил:

— Какую школу окончили?

— На фронте произведен из вольноопределяющихся, господин полковник.

— Скажите. Разве в артиллерии это практикуется? А впрочем, вы, может быть, студент-технолог или политехник?

— Нет, я студент университета.

— Так, так, ну, ладно, — и Торопов заговорил о том, что Андрею необходимо принять должность адъютанта дивизиона.

— Слушайте, Казимир Станиславович, но ведь это губка какая-то! — не выдержал Андрей, когда аудиенция окончилась.

— Да, по части спиртного — чемпион, — рассмеялся

Кельчевский. — Погодите, еще придется понаблюдать. Вот его друг и приятель, поручик Хазарин, приедет, он сейчас в Минске с казначеем. А казначей тоже по части выпивок — не дурак. Торопов сейчас без друзей, потому и хандрит.

Деревушка, на краю которой стояли избы, занятые Андреем и полковником, залегла в складке между невысокими холмами. Нужно было пройти кверху по тропе, которую обступила уже высокая рожь, чтобы выйти к зеленой роще, оставшейся от вырубленного за последние годы мощного леса. Здесь, забросанные полусухими еловыми ветвями, стояли под тенью дерев зарядные ящики, а рядом протянулись низким строем палатки солдатского типа. Палатки господ офицеров, получше и повыше, заняли центр рощи. Тут же — углами к высоким деревьям — пристроилась и палатка-столовая с плоской брезентовой крышей. Внизу по другую сторону дороги раскинулись коновязи.

Утвердившись в должности адъютанта, Андрей должен был проделать еще одну традиционную церемонию — представиться инспектору артиллерии, высшему артиллерийскому начальству корпуса.

Намеков Иванова и Кельчевского оказалось мало, потребовалось прямое указание Торопова, и только тогда, побрившись и надев белые, серебристые аксельбанты, Андрей отправился в штаб корпуса.

Штаб помещался в том же господском доме богатого фольварка, где Андрей не раз дежурил телефонистом и где инспектор артиллерии, генерал Столомоницкий, убегая от старческой бессонницы, когда весь штаб затихал и даже телефоны прекращали свой надоедливый крысиный писк, часами играл с прапорщиками, а то и с солдатами в двадцать одно.

В комнате офицера для поручений при инспекторе не было никого. Андрей сел у окна и глядел в мутные зеленоватые стекла на размытые дорожки парка, по которым суетливо носились вестовые и денщики с пакетами и офицерскими вещами. Офицера для поручений Сокольницкого, петербургского адвоката из преуспе

вающих, Андрей тоже хорошо помнил. Он не раз привозил ему пакеты в качестве ординарца. Сокольницкий всегда был в меру вежлив, но как-то скучающе равнодушен и в разговоры не вступал. Он принимал и подавал бумаги барскими брезгливыми движениями белых пальцев, всем своим видом показывая, что это не его дело, все это только игра обстоятельств, но суть остается сутью...

«Было бы самое лучшее, если бы не узнал меня, — подумал Андрей, — или сделал бы вид, что не узнал...»

В штабе стояла предвечерняя тишина, чужих не было, писаря, посапывая и скрипя перьями, лениво усиживали несложные, но многочисленные дела, в полуоткрытую дверь доносились шелест бумаги и постукивание костяшек на счетах. Затем по коридору прошли медленные, шаркающие шаги, ночные звуки которых вызывают в воображении свечу в руке, колпак и шлафрок. Шаги прошли мимо двери, помедлив, вернулись, и на пороге стала фигура Столомоницкого. Андрей вскочил и зашагал к генералу.

Столомоницкий был в потертой плюшевой венгерке, ноги тонули в подбитых беличьим мехом домашних туфлях. Длинные брюки каскадом неаккуратных складок сбегали до полу, и красный широкий лампас прятался в меховой оторочке.

Не вынимая рук из карманов, генерал переступил порог и выслушал рапорт Андрея. Он ни одним мускулом не показал, что эта церемония имеет для него какое-нибудь значение, но, когда Андрей отчеканил рапорт, маленькие глазки Столомоницкого оживились, руки птицами вылетели из карманов, сложились в сухие морщинистые кулачки, и генерал, не отвечая на слова рапорта, выпалил:

— Адъютант какого дивизиона, какого?

— Мортирного паркового, — повторил, щелкая шпорами, Андрей.

— Какого, какого? — наступал на него Столомоницкий.

— Мортирного паркового, — еще раз повторил изумленный Андрей.

— Так вы что там? — заорал генерал. — С ума сошли? Да как вы смеете? Вы за кого же это меня принимаете?

За спиной Столомоницкого показалась мягкая, ловкая фигура офицера для поручений. Генерал продолжал выкрикивать в лицо Андрею:

— Так вы вздумали дурачить меня? Я вам покажу Кузькину мать!

— Ваше превос... — начал было Андрей.

— Ма-алчать!.. — завопил взвизгивая генерал.

«Ничего не понимаю» — с отчаянием подумал Андрей и умоляюще посмотрел на Сокольницкого.

— Я вам говорю! — рявкнул генерал, вплотную подходя к Андрею.

— Но ваше превос...

— Ма-алчать! Я вам сказал, прапорщик!

Андрей стоял, мигая глазами. Растерянность сменялась бешенством. «Какого чорта нужно этому картежнику от него — Андрея? Он орет на него так, как никогда не орал на солдат. Какая муха его укусила?»

— Я вас спрашиваю, — понизил наконец тон генерал, отчеканивая теперь каждое слово. При этом он взял Андрея за металлический наконечник аксельбанта. — Чем вы думали, когда писали этот рапорт?

— Ваше превосхо...

— Я знаю, что я ваше превосходительство, но вот вы, вы мне прямо ответьте, как вы смели подписать эту наглую бумажку? — Он выхватил из кармана сложенный полулист бумаги, смял его, разорвал и швырнул на стол.

— Вот мой ответ! — закричал он: — и скажите своим, что это еще не все. Я вам пропишу ижицу! — Голос генерала опять стал взбираться к верхним визгливым нотам.

— Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, — вмешался офицер для поручений, — прапорщик, если не ошибаюсь, не подписывал этой бумажки.

— Я докладывал вашему превосходительству, что я вступил в должность адъютанта дивизиона всего пять дней назад, — не слушая больше генерала, твердо сказал Андрей.

— Как? Что? — осел вдруг генерал и опять спрятал руки в карманы. — Пять дней? А где же вы раньше были?

— В разрешенном мне по случаю производства в офицеры десятидневном отпуску, — официально, но с нескрываемой едкостью отчеканил Андрей.

— А вы в винт играете? — совсем иным тоном, очевидно разом забывая весь предыдущий разговор, спросил Столомоницкий.

— Никак нет, — сухо ответил Андрей

— А в пикет?

— Никак нет.

— А в экартэ?

— Никак нет.

— Жаль, жаль... Из вас бы вышел приятный партнер, — с искренним сожалением покачал головой генерал, сунул Андрею вялую старческую руку и ушел.

— Разрешите все-таки спросить, господин поручик, — обратился Андрей к Сокольницкому, — что это за бумага, подписание которой ставилось мне в вину?

— Знаете, прапорщик, — усаживаясь за стол, сказал Сокольницкий, — бумажка все-таки не таё!.. Нельзя же такие вещи писать инспектору артиллерии. Вы своим так и скажите. Если бы это был не Столомоницкий, дело бы простым шумом не окончилось.

— Но я все-таки не знаю, в чем дело.

— Дело в том, что генерал подписал бумажку на какой-то винный склад с просьбой выдать три ведра спирта для технических нужд всей артиллерии корпуса и уговорился с полковником Тороповым о том, что бумажка будет реализована через ваш дивизион, — у Торопова есть какие-то связи с акцизными, что ли, — а спирт решено было поделить пополам. А теперь на запрос об этом спирте Торопов сообщает, что привезенный десять дней назад спирт в количестве трех ведер

«по случаю жаркой погоды усох». Так и написано. «усох». Вы понимаете, конечно, как вспылил его превосходительство. Все надежды были на эти полтора ведра. У нас есть долги... внутриштабные. Словом, вышло нехорошо. Нехорошо и чрезвычайно неуважительно.

«Так это я из-за спирта получил такую головомойку?—подумал Андрей.—Сволочи, штабные крысы!»—перебирал он в уме нелестные эпитеты, и внезапно лицо Сокольницкого стало противным. Опухлые губы, которые распирала толстая сигара, показались слизкой дырой.

— Имею честь кланяться,—поднялся он и, не подавая руки, вышел из комнаты.

В офицерской обеденной палатке рассказ об усохшем спирте и инспекторском гневе вызвал восторг. Кандидат и доктор, захлебываясь от удовольствия, повторяли отдельные места, и даже Иванов и Кулагин отпускали злые словечки по адресу Торопова и генерала.

В тот же день к вечеру приехал поручик Хазарин. Окруженный офицерами, он сидел в столовой и жадно ел подогретый борщ. Выпивая рюмку за рюмкой, как пьют на вокзале, он громко чавкал, и его опущенные книзу двумя черными клинками монгольские усы подрагивали на бритом подбородке. Желтоватая кожа и выдающиеся скулы обнаруживали в нем кровь татар или других кочевников-тюрков, прошедших по Руси не только с огнем и мечом, но и с человеческими страстями.

В Курской губернии Хазарину принадлежало средней руки имение. Он сам управлял имением и считал себя знатоком сельского хозяйства.

Он любил говорить, что агрономы, петровско-разумовцы,—это развратники, которые хотят вековое российское хозяйство поставить по-западному, а на это, по его, Хазарина, компетентному мнению, данных нет. Новаторы не понимают русского мужика. Он никак не может и не хочет стать фермером. Да и никому это не

нужно. Хазарин так никому и не сообщал, какие методы он предлагает для ведения и развития национального сельского хозяйства, но по рассказам его денщика, запуганного и кроткого солдата Макария Мишкина, который дважды ездил с ним под Курск, был он прижимистым хозяином, скупым по отношению к семье и жестоким к батракам и зависящим от него окрестным крестьянам.

— Придется дежурный взвод держать там, в Мигелинах, — говорил Хазарин, отламывая пальцами толстые куски хлеба. — Я приискал избу, ну, и буду там проживать. Милости просим ко мне. Соточка и закусон всегда найдутся. А напротив стоит госпиталишка походный. Маленький. Но сестрицы — первый сорт.

— Ой, приеду, приеду, — завопил кандидат. — Позовите, Константин Сергеевич.

— Зову, кандидат, зову, всех зову. И вас, — обратился он к Андрею. — Надо нам познакомиться. Не знаю, всерьез у нас зашевелились или так только. На фронте тихо. Ночью попукивают да ракеты жгут, а то тихо. Но чего это парк выдвинули? В штабе тридцать восьмой говорят, что есть признаки оживления.

— Признаки оживления, — бурчал себе в бороду Иванов, — Брусиловское наступление прохлопали, а теперь признаки оживления. Бить некому!..

— Да, — подхватил Хазарин, — бить некому, а вот кого бить, так это есть. Чорт знает, до чего довели! Ведь вы поверите, вот я здесь сижу, ни чорта не делаю, а мыслью все там, у себя... — Быстрые глаза его вдруг остановились. Ведь все хозяйство помещичье рушится, а на нем страна стоит. Рабочих рук нет, скота половина осталась. Распорядиться некому. Бабы пашут, бабы и командуют. Письма получаю, — он даже отложил ложку, не окончив еду, — так это!.. — Хазарин махнул рукой, налил до краев большую рюмку, выпил, крякнул и похабно выругался. — А тут, — продолжал он, — водка да девки... А сестер этих... вот пошло — отбою нет. А хозяйство рушится. Надо бы закон такой, чтоб помещиков всех по домам пустили...

тех, которые хозяйством занимаются, как фабрикантов, что на оборону работают. Вот кому, я вам скажу, лафа — какие деньги за поставки гонят. Ай-я-яй!

Последние слова Андрей услышал, уже переступив порог палатки.

— Не нравятся молодому ваши речи, — донесся вслед сдержанный шопот Кельчевского...

Знакомиться с командой управления, которая была подчинена ему непосредственно, Андрей пошел в одиночестве. Навстречу из палатки поднялся фельдфебель-великан. С фельдфебелем поздоровался за руку, зачем-то сказал, что сам несколько дней назад был нижним чином, и сразу понял, что уважения фельдфебельского этим не заслужил, хотя улыбка по лицу старого служаки бродила самая преданная.

В команде было много «стариков», бородатых оренбуржцев и кустанайцев, среди них были мастера и ремесленники, владельцы мастерских и домовладельцы. Они выстроились перед Андреем двумя рядами и молча, без большого интереса, выслушали его короткое приветствие. Уже не впервые было им встречать офицеров из студентов, которые все начинали с приветливых взглядов и даже вежливых слов, намеков на то, что они-де не как все офицеры, а потом втягивались в атмосферу власти и гнули ту же линию, что и кадровые.

Андрей почувствовал, что пути к этим людям для него трудны и извилисты, и решил про себя, что только постепенно, работая с солдатами, занимаясь грамотой, разговаривая с ними по вечерам у костров, он может притти к настоящим человеческим отношениям. В этот момент он не сомневался в том, что никто не помешает ему в этой работе. Раз он прямой начальник, никто не будет вмешиваться в его отношения с подчиненными.

На другой день после официального знакомства с командой он спросил своего вестового Мигулина, не слыхал ли он каких-либо отзывов солдат из команды о новом начальнике.

— Хорошо говорят, — ответил Мигулин, и по его тону Андрей понял, что далеко не все говорят хорошо.

Мигулин пошел к нему в вестовые добровольно. Он сразу сознался Андрею, что в холуи идет только с тем, чтобы избавиться от работы в конюшнях. Всю жизнь с малых лет он проработал на мельнице в Оренбурге, считал себя рабочим, и грязная работа на конюшне ему не улыбалась. В строй тоже не тянуло. Нрава он был смиренного, ценил всякое доброе слово и даже переоценивал. За Андреем ходил, как нянька.

Через неделю Андрей знал уже, что если в дивизионе у него есть друг, то это только Мигулин.

Однажды он принес Андрею кабинетную карточку, тщательно обернутую в папиросную бумагу. В кресле с резными ручками сидела женщина с гладко зачесанными волосами, кружевным воротником и простым приятным лицом. Рядом с нею стояли мальчик и девочка — подростки. Позади из фотографического тумана возникали аравийские пальмы, и у ступеней дорической колоннады пенной волной остановилось озеро.

— Вера Андревна... Супруга моя и детки, — с дрожью в голосе произнес Мигулин, — бедуют там наверное... В Оренбурге.

Андрей сказал Мигулину, что будет посылать его жене двадцать пять рублей в месяц. На серые глаза Мигулина накатилась слеза, но рассыпаться в благодарностях он не стал, вздохнул глубоко, бережно обернул карточку и пошел готовить прапорщику постель.

Вечером у входа в столовую палатку Андрей встретил Кельчевского. Андрей почувствовал, что Кельчевский ждал его. На этот раз улыбался он особенно приветливо. Но передний золотой зуб в сумерках казался щелью и придавал лицу поручика оттенок хищности. Мелкие черты лица и мягкая курчавость бородки плохо вязались с сухим ртом, и Андрею казалось, будто Кельчевский надел на нижнюю часть лица картонную маску. Он взял Андрея под руку и настойчиво повел к

дороге. Андрей повиновался. Он шел, смутно сознавая, что если Кельчевский и скажет ему сейчас что-нибудь, то, разумеется, неприятное.

— Я обещал вам помогать кое в чем, — начал вкрадчивым тоном Кельчевский, — и вот мне хочется дать вам совет... самый дружеский. Он, правда, не относится к адъютантским обязанностям. Но, я думаю, вы поймете мотивы... Видите ли, вы говорили с командой, и вот уже пошли слухи... и, конечно, преувеличенные. Говорят даже, будто бы вы фельдфебелю при солдатах руку подали.

— Правду говорят, — сразу насторожился и зачерствел в неожиданном упорстве Андрей. — И буду подавать.

— Минутку, минутку, не надо горячиться, — успокоительно сдавил его руку Кельчевский. — Ведь мы с вами — интеллигентные люди. Вот вы пожали руку фельдфебелю, а вы знаете, что именно он меньше всего заслуживает уважения.

— Но ведь у него на лбу не написано. Мы жмем руку тысячам проходимцев ежедневно, не зная, кто они такие, а нередко жмем руки и заведомым подлецам. Ведь жмут же все офицеры дивизиона руку кандидату...

— Вот видите, вот видите, очевидно нельзя применять такой критерий: не знаю, значит, уважаю. Нужен другой критерий. Вот на этот раз военный закон об отношениях между офицерами и нижними чинами может быть как раз удобен. Он избавляет порядочных людей от недоразумений.

— Казимир Станиславович, во-первых, я пожал руку не фельдфебелю Игнатюку, а человеку просто, — он первый вышел мне навстречу; во-вторых, вы же сами сказали, мы — интеллигентные люди. Уже в дни французской революции все интеллигентные люди договорились о том, что люди равны. За полтораста лет пора бы пойти и дальше...

— Военную машину вы не переделаете.

— Почему, Казимир Станиславович? Ведь нас, ин-

теллигентов, сейчас в армии миллион. Студенты, медики, молодежь. Мы — сила. Давайте переделаем!

— Ну, — на этот раз сухо возразил Кельчевский, — разные интеллигенты на этот счет мыслят по-разному.

— Очень жаль.

— Жаль или не жаль, но это факт. Я все-таки считаю своим долгом предупредить вас, — лучше всего, если в отношениях с нижними чинами вы будете, как все. Ведь называя их на вы и пожимая им руку, вы ставите всех нас в неудобное положение. Вот кстати идет еще слух, что своему вестовому собираетесь платить по тридцати рублей в месяц. Заметьте, что в пехоте офицеры, как правило, вестовым не платят. Мы, артиллеристы, не желая пользоваться бесплатным трудом, платим все по пяти рублей. Полагаю, вполне достаточно. Может быть вам, как одинокому человеку, деньги не нужны, но в каком же положении оказываемся все мы? Наши вестовые уже ходят с постными физиономиями. Думаю, что и здесь вы переборщили.

«Так вот где собака зарыта!» — понял Андрей.

В тот же вечер Торопов заявил Андрею:

— Слушайте, прапорщик, говорят, вы студенческий дух хотите привить в армии? Так вот, философствовать я не буду, не мастер, и говорю с вами пока приватно, — прошу вас называть всех нижних чинов, в том числе и вашего вестового, на ты, как полагается по уставу. Руку можете подавать кому угодно, но не в строю и не в присутствии нижних чинов. Надеюсь, мне не придется говорить с вами официально.

«Хорошо хоть так» — подумал Андрей.

— Максим Васильевич, — заявил он Мигулину, — отныне я буду при всех называть вас на ты. Прошу считать, что это переводится с китайского и означает вы. А о помощи вашей семье раззвонили вы зря, и теперь прошу вас рассказать всем, что я раз послал деньги, а потом забыл и больше не посылал...

II

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ДОЧЬ

Летнее утро прямыми лучами солнца настойчиво бьется в давно немытые окна избы. Оно пульсирует столбами освещенной пыли, оно ползет яркими пятнами по земляному полу, по толстым доскам скамей, по серому одеялу походной кровати.

Но Андрей не хочет вставать. Он до четырех часов читал при свече, потом завернулся в одеяло, думал о Петербурге, о Катерине. Все те же образы в тысячах вариантов. Иногда, точно живые, они протягивают к нему руки, иногда проплывают в тумане, и приблизить их нет сил, и тогда нервы напряжены, а сон бежит.

Потому утро не в силах сорвать с Андрея нагретое телом одеяло.

Но на помощь утру спешит Мигулин. Он подходит на цыпочках, словно боится разбудить офицера, и, подойдя, начинает его тормошить за плечо.

Он наполовину стягивает с него одеяло и говорит зачем-то шопотом:

— Ваше благородие, вставайте! На доклад надо итти.

Торопов, в сущности, не занимался никакими дивизионными делами, но от адъютанта требовал приходить с докладом ровно в девять часов утра. Тридцать лет военной лямки создали свои привычки. Эти доклады по большей части откладывались, перекладывались, но в девять часов утра адъютант должен был итти в дом, где помещался полковник, и там от денщика Василия узнавать, что командир нездоров и просит его притти в три часа.

Андрей натянул сапоги, умылся, взял папку, заготовленную старшим писарем, даже не потрудившись посмотреть, что в ней лежит, и двинулся через пыльную улицу к высокой чистой, стоявшей под тенью деревьев избе командира.

Высоко в небе прямо на восток шли два черных крестика. Где-то недалеко ухали выстрелы зенитных ору-

дий, осколки разорвавшихся бризантов, тяжелые стаканы шрапнелей, отдельные пули и рваные клочки стали хрипло винтили воздух во всех направлениях.

Это была обычная утренняя порция стрельбы по аэропланам, единственное боевое действие, которое можно каждодневно наблюдать в этом глубоком тылу.

Василий, командирский вестовой, начищал большой медный самовар.

— Полковник встал?

— Никак нет, вашбродь, — без особой почтительности и не вставая заявил командирский денщик, — лежать

— Спит или так лежит?

— А вы, вашбродь, поглядите. Там их благородие казначей.

Андрей открыл дверь и перешагнул порог большой темной комнаты. Все окна в командирском помещении были завешены занавесками или затянуты газетными листами. Солнце ползло по полу только прямыми копьеобразными полосками. В помещении стоял запах лекарств и плесени. Такие запахи застаиваются в непроветриваемых комнатах больных и особенно нечистоплотных людей.

Полковник лежал на кровати, облокотившись на сползавшую смятую подушку. Даже в полумраке можно было различить, что наволочка на подушке несвежая. Перед ним на одеяле лежало несколько игральных карт. На столике у изголовья стоял недопитый стакан с вином.

У противоположной стены на брезентовой походной койке без белья и подушки лежал на спине казначей. Его лысая яйцевидная голова была закинута далеко назад, и в руках высоко над собою он держал две карты.

Между ними по середине комнаты, поставленный на попа, стоял чемодан, и на нем, должно быть, для настроения, горела стеариновая свеча. У чемодана на полу — недопитые и опустошенные бутылки. Ни полковник, ни казначей не обратили никакого внимания на Андрея.

— Василий! — угрюмо глядя куда-то вниз на дощатый пол, заорал командир.

Василий вошел не сразу и лениво, словно отмахиваясь от надоевших собеседников, сказал:

— Ну чё еще? Слушаю...

«Вот нахал!» — подумал Андрей.

— Посмотри у казначея: дамбле или врет?

— Смотри, сука, чтоб тебе повылазило! — пьяным голосом пробурчал казначей, протягивая солдату карты. — Валет и девять крестей.

— Так точно, у их девять, — подтвердил Василий.

— Ну, ладно, — согласился Торопов, бросая карты на пол. — Припиши! Василий, подбери, — указал он пальцем с желтым ногтем на пол. Василий принялся подбирать разбросанные карты.

Андрей молча стоял у порога.

Подобрав карты, Василий бросил их в глубокую тарелку с синим обводом, в которой уже была гора карт. Затем он взял с лежавшей у свечи на чемодане колоды верхнюю карту и отнес ее полковнику. Следующую он отдал казначею. Затем он роздал партнерам еще по одной карте. Казначей и Торопов внимательно следили за всеми его действиями. Раздав карты, Василий ушел.

— Ну, потянем, — тонким дьячковским голоском пропел казначей.

— Потянем, — прохрипел полковник. Наложив одну карту на другую, оба медленно сдвигали верхнюю. Они проделывали это так медлительно и с таким вниманием, словно игра шла на крупные суммы, потеря и выигрыш которых действительно волнуют и тревожат.

Полковник, увидев из-под десятки червей край пикового валета, перестал тянуть.

— Ну, не тяни кота... за... — злобно сказал он казначею. — Даешь?

Казначей, у которого к пятерке шла какая-то мелкая карта, не то двойка, не то тройка, все еще тянул, переворачивал карты в руках, оглядывал открытый край нижней карты со всех сторон, как ювелир, изучающий возможности еще неотшлифованного алмаза.

— Терпи, старик, на том свете будешь, — сказал он, почесав переносицу. — Тут дело сурьезное!

— Ну, чорт с тобой! — сказал полковник и безнадежно откинулся седой головой на подушку.

Казначей, причмокивая языком, продолжал вертеть в руках две карты. Наконец, убедившись в том, что идет не тройка, а двойка, и дамбле не получится, он разочарованно сказал:

— Ну, одна дала...

— Ну, давай... Василий!

Василий быстро вошел в комнату, посмотрел на Андрея, словно хотел ему сказать: «вот, полюбуйся на свое начальство», заглянул в карты командира, подошел к чемодану и отдал полковнику верхнюю карту.

Полковник вновь подложил карту, не глядя, под две другие и стал медленно тянуть. Василий вышел, хлопнув дверью.

Третья карта оказалась дамой бубен.

— Жиры, одни жиры! — разочарованно протянул полковник. — Ну, ладно, подвернется талия, я тебе пропишу ижицу.

— Василий! — закричал он: — Василий! — Но Василий не шел.

Тогда казначей заплетающимся языком попросил:

— Ты, Федотыч, дай мне папироску, а я тебе три миллиона счеркну.

«До миллионов дошли, сволочи», — с отвращением подумал Андрей и вышел из комнаты.

— Будете спать еще? — спросил его Мигулин.

— Кой чорт спать, позвони, чтобы дали коня без ординарца и спроси поручика Герста, поедет ли он гулять...

Рыжий муц с тупым упорством ни за что не хотел выйти из густо разросшейся на вершине холма рощи молодых, гибких берез. Белые, частые стволы терли его бока, а сучья царапали седло и ноги молодой девушки. Девушка в кожаной куртке и желтых перчатках бессильно размахивала коротким стэком, беспо-

мощно тянула поводья, но упрямое животное брыкалось, закусив удила, и, казалось, вот-вот выбросит девушку из седла.

Андрей и поручик Герст наблюдали эту сцену с пролегавшей у подножья холма дороги.

— Это сестра из Лужков, — сказал Герст. — Она, всегда ездит мимо нашей стоянки. — И, помолчав, он прибавил: — Не знаю, можно ли предложить ей помощь после той истории.

Андрей с досадой припомнил неприятную сцену. Пшютоватый щеголь, поручик Аскинази, Хазарин, Кельчевский и кандидат решили свести знакомство с сестрами из отряда княжны К., который стоял в Лужках. Андрей дал себя уговорить и отправился вместе со скучающими офицерами. В комнаты зашли только поручик Аскинази, Хазарин и кандидат. Андрей, Кельчевский и Герст остались у ворот помещичьего дома.

Уже стоя у подъезда, Андрей решил было повернуть коня и ускакать. Но в это время со смехом, за которым явно скрывались раздражение и обида, на крыльце показались послы. Офицеры быстро вскочили в седло, и вся кавалькада, не сговариваясь, понеслась прочь от фольварка. Андрей заметил, что из окна дома следили за отъезжающими веселые женские лица...

— Кривляки, строят из себя аристократок, — бранился Хазарин, — подумаешь, мимозы какие...

Но и он и другие чувствовали себя неловко.

— Ну, а помочь ей все же надо, — сказал Андрей, видя, что девушка готова впасть в отчаяние.

Он пустил коня рысью по борту зеленого холма и, с трудом пробившись сквозь заросли, взял под уздцы муца, со словами:

— Разрешите помочь вам, сестра. Эти муцы бывают так упрямы...

— Мне было стыдно просить вас о помощи... Но я уже сама... — Она не кончила и еще раз ударила по седлу желтым стэком, стараясь справиться со смущением. — Обычно он всегда слушается. Но сейчас я не

могу с ним справиться. — И другим, капризным тоном: — А вы стоите и стоите...

— Мы не знали, захотите ли вы принять нашу помощь, — откровенно сказал Андрей. Герст в знак согласия с его словами приложил руку к козырьку.

— А, это вы насчет этого... визита... — расхохоталась девушка. — Да, неудачно, неудачно. Хорошо, впрочем, что вы сами не заходили в отряд. Вас никогда бы больше не приняли в Лужках. Княжна рассвирепела. Ваши товарищи не рассказывали вам, как она их приняла? Впрочем, и ваша роль тоже была незавидна...

Андрей понял, что этими атаками она хочет замаскировать собственное смущение.

— Простите, вы, вероятно, в первый раз в седле? — спросил он девушку, сам переходя в наступление — Разрешите сопровождать вас. Иначе муц может опять закапризничать...

— Нет, благодарю вас, — сказала уже холодно сестра. — Я поеду одна. — Она стегнула муца стэком.

— Нет, нет, теперь мы не пустим вас... Мы не смеем, — сказал Герст, и рыжий муц пошел по пыльной дороге между гнедым жеребцом Андрея и длинной рыжей кобылой Герста.

Разговор не складывался. Девушка хотела казаться обиженной. Ей это плохо удавалось, она сурово хлестала муца, пытаясь отделиться от группы и вылететь вперед, но упрямый муц не хотел отходить от кобылы Герста и упорно шел ровным шагом, слегка брыкаясь при каждом ударе стэка.

— Ваш муц не хочет уходить от нас, и сами вы не хотите, — говорил Герст. — Вы сейчас просто капризничаете. Но мы не хотим, чтобы вы уезжали и чтобы думали о нас плохо...

Андрей молча рассматривал девушку. Ее наружность была своеобразна. Лицо свежее, розовое, волосы цвета осенней соломы, но брови черные, круглый, всегда полуоткрытый рот, а глаза такого густого зеленого цвета, какие Андрею не приходилось видеть никогда.

Эта разноцветность придавала ей схожесть с куклой, попавшей на витрину за яркие и неожиданные колеры. Она была среднего роста, плотно и аккуратно сложена. Маленькие полные руки были затянуты в лайковые перчатки, плечи обтягивала шелковая блузка.

Таких женщин на фронте провожают откровенно жадными глазами. Андрей вслух не раз высказывал по этому поводу свое возмущение, но теперь его тянуло смотреть на круглые колени и покатые плечи девушки. Вероятно, Герст думает о том же. Девушка чувствовала на себе тяжелые, ищущие взоры.

— Я к зубному врачу, — сказала вдруг она резко. — До свиданья, спасибо!

— Завтра поедете этой же дорогой?

— Может быть... не знаю. Вероятно, буду ездить иною...

— Боитесь запутаться в березовой роще? — сорвалось опять у Андрея.

— Нет, боюсь невежливых людей.

— Нет, зачем же вы так? — пожурил Герст. — Право, не надо на нас сердиться. Мы были рады встрече с вами и просим вас не менять путь.

— Ну, ладно, посмотрим, — сказала девушка уже весело, махнула стэком и скрылась в одной из изб, над которой на белом полотнище колыхался знак Красного креста.

— Будем ждать, — крикнул ей вслед Герст.

— И не подумаю, — сказал Андрей, — к чорту кривляк!

— Ну, и не надо. Пожалуй, так и лучше, — согласился вдруг и Герст.

На другой день Андрей забыл о том, что назвал девушку кривлякой, а девушка поехала прежней дорогой.

Она опять, словно так и должно было случиться, поехала на рыжем муце между Андреем и Герстом по дороге к Красному кресту. Уже через несколько минут было условлено, что вечером, когда кончится ее работа в отряде, они оба приедут к Лужкам и будут

ждать ее у выхода из парка. А потом они поедут при луне по этим перелескам, по полям, где бродят стада овец,—ведь теперь стоят такие прекрасные лунные ночи.

Отряд княжны К. среди офицерства корпуса имел репутацию высокоинтеллигентной и даже, пожалуй, аристократической организации, служившей в вечерние часы чем-то вроде походного салона для офицеров корпусного штаба. Дамы и девушки аристократических фамилий отсиживались в этих отрядах, где им удавалось не смешиваться с презираемой армейской чернью и вместе с тем делать вид, будто они, как все, выполняют «долг перед родиной». Черную работу несли здесь наемные сиделки и санитары. Штаты были раздуты. Раненых посылали в отряд с разбором. Сестры после работы принимали знакомых офицеров по строгому выбору Иногда в праздники в отряде устраивались собственными силами концерты, — до поздней ночи пели, читали, музицировали, флиртовали. Попасть в этот избранный круг прифронтовой аристократии считалось лестным, и для рядового армейского офицера было нелегко «Армейская чернь» платила той же монетой этим малополезным, служившим только помехой организациям и густо сплетничала на их счет.

Строитель Лужков умело выбрал место для усадьбы. На крутом берегу небольшой, быстрой на заворотах речушки, высоко над всей окружающей местностью, был поставлен большой господский дом. Река прыгала по камням, и, казалось, если смотреть с низкого берега, нет к дому ни прихода, ни проезда. Высокий, многооконный, он стоял затерявшимся в перелесках разбойничьим гнездом. Большое деревянное здание напоминало доекатерининские усадьбы. Ни справа, ни слева не было ни заборов, ни стен, ни ограды Буйными космами, зеленой волной подходили к зданию беспорядочно растущие рощи и кустарники. У крыльца не было дороги, и только пешеходная тропа желтым ковриком легла между запущенных клумб, на которых все еще пестрели пробивающиеся сквозь траву и бурьян цветы.

Позади дома через парк шла проезжая дорога в поле, в соседние деревни и к железнодорожной станции. У самой дороги, под сенью вечно шумевших на ветру старых дерев парка приютились крохотные домики помещичьих служб и поодаль от них сараи, в которых размещался скот.

За парком три длинные липовые аллеи веером рассекали зеленое поле. Далеко на пригорках синими пятнами виднелся густой хвойный лес.

Офицеры оставили ординарца с лошадьми у конца одной из аллей и прошли по парку, стараясь, чтобы не звенели шпоры, не стучали шашки.

В глубине парка острым мерцающим пятнышком светилось окно. Луна даже не пыталась забросить свои лучи под эту черную лиственную крышу.

Герст шагал рядом ровной походкой, почти не сгибая колен.

— Какого чорта мы приехали сюда! — сказал с раздражением Андрей.

— А о чем вы раньше думали? — не без ехидства спросил Герст. — Даже карты бросили. Вероятно, знали, зачем едете.

Андрей подумал про себя: «Скорее всего просто в надежде, авось случится что-нибудь особенное или просто приятное. Знакомство с женщиной всегда приоткрывает дверь каких-то необычайных возможностей».

Это был вечер перекрестных вопросов. Полное незнакомство друг с другом оживляет первые беседы. Ее зовут Лидия. Она не сестра — фельдшерица. Она—студентка третьего курса московских высших курсов Герье. Ее фамилия Трояновская. Ее отец живет в Нижнем. Он — губернатор в отставке. На фронт она убежала тайком от своих.

Она ловко, по-мужски сидела в седле. На ней теперь была темносиняя, хорошо сшитая амазонка и синий берет. При луне ее глаза теряли остроту зеленого блеска и были мягче и обыкновеннее. Тон недоверия и обиды был оставлен. Она шаловливо кокетничала с

обоими, иногда пускала лошадь вскачь, и тогда все трое, вздымая пыль, неслись куда-то вперед в лунные глуби. Иногда ехали медленно рядом, близко друг к другу, и только ординарец, попыхивая папироской, маячил где-то позади, занятый своим собственным раздумьем.

Поле дышало свежестью и росистой влагой. Придорожные кусты то справа, то слева купами выходили навстречу из лунных туманов, и трава казалась пушистым одноцветным ковром, наброшенным ночью на уснувшую землю.

Герст говорил мало. Он часто смотрел в сторону и курил папиросу за папиросой.

Несмотря на старания, Андрею не удавалось завязать оживленный разговор, и он со следовательской настойчивостью выспрашивал девушку, зачем она бежала на фронт, что ей пишут родители, о вкусах в литературе, музыке, театре. Односложные ответы ее обезоруживали и не позволяли продолжать разговор и узнать, что же по-настоящему интересует эту девушку.

Когда Лидия заговорила с Герстом, Андрей замолчал. Высокий жеребец шел, покачивая ровно и мягко, и мысли Андрея сами собой ушли куда-то по лунным дорогам. Вдруг стало легко оттого, что осозналось, — безразлично, как отнесется к нему эта девушка, она случайна, не надо искать ее, не надо напрягаться... Но Лидия опять склонилась к нему и спросила:

— Вы так задумались... Можно подумать, что мыслью вы сейчас далеко-далеко...

И он просто ответил:

— Вы правы.

Теперь Герст смотрел в сторону, будто стараясь что-то различить в лунном тумане.

Андрей и Лидия ехали близко друг к другу. Он чувствовал ее теплое колено и старался не шевелиться. Луна светила в глаза девушке. Неловкость ушла, вслед за нею уходили тревога и напряженность, зарождалась простая, долго сдерживаемая радостная дерзость, и слова находились сами.

Теперь Андрей не заходил больше вечерами в палатку, где все с той же нудной медлительностью вертелось колесо армейской фортуны, хотя за ним нередко приходил вестовой, который напоминал:

— Ваше благородие, их благородие прапорщик Кулагин приказали вам доложить, что уже играют.

Напрасно кандидат упрашивал с ужимками:

— По рублику, по рублику!

Андрей был рад этому равнодушию к игре, которое пришло на смену короткому лихорадочному увлечению картами. Он уходил после обеда домой, а в палатку приходил к вечернему чаю и читал здесь газеты, пока Мигулин не докладывал на ухо:

— Ваше благородие, лошади поданы.

Тогда Андрей заходил за Герстом, и они отправлялись в лунные затихшие поля, туда, к трем аллеям, к бурной речушке, и опять зеленоглазая девушка вела небольшую кавалькаду по полям, по лесам, вдалеке от деревень, наполненных шумом солдатских постоев.

Лидия все чаще и чаще высказывала Андрею свое расположение. Но она старалась делать это так, чтобы быстрые пожатия рук, взгляды, ласковый шопот, не то наивные, не то продуманные и обещающие прикосновения не были замечены Герстом. По правде сказать, Андрей не был уверен в том, что она не расточает те же признаки внимания и его товарищу.

Однажды, когда они все трое лежали на траве в густой тьме ночного леса и Герст отошел к ординарцу за спичками, Андрей, неожиданно для самого себя, обнял склонившуюся к нему Лидию и поцеловал ее в полуоткрытое крепкое плечо. Лидия резко откинулась назад, и зеленые глаза ее стали острыми и злыми. Но зеленые искры сейчас же угасли, и все лицо, освещенное луной, показалось бледным и безжизненным.

«Однако, — подумал Андрей, — повидимому, она искренно недовольна!»

Подошел Герст. Лидия не сказала ни слова.

Андрей поднялся и тоже пошел к ординарцу.

Чаще всего с ними ездил Трофимов, спокойный, при-

ветливый солдат. Андрей дарил ему деньги, привозил из корпусной лавки папиросы, и между ними установились доверительные отношения.

— Ну, как дела, Трофимов?

— Да так себе, вашбродь... Жена пишет, — работы много, не справляется. Землю не запахали в это лето и наполовину, с кормами плохо. Скотину продала. Все спрашивает, когда конец... А мы разве знаем?

— Я думаю, теперь никто не знает, — раздумчиво сказал Андрей.

— Так точно, вашбродь, кто ж знает?

— Скажи, Трофимов, по правде, солдаты о том, что мы ездим по ночам, плохо говорят?

— Говорят, так точно... Больше смеются. По бабам всякий рад побегать. Ну, каждый по-своему. Теперь по деревням чужих ребят пойдет сила! Приедешь домой, не разберешь, где сын, а где байстрюк. А что говорят — пустое, греха в этом мало.

Андрею всегда хотелось знать, как относятся к нему солдаты. Его не боялись, ему верили. Охотно шли к нему за справкой, за помощью. Но нетрудно было заметить, что своим его не считают. Точно так же, как не считали в те месяцы, когда он тянул трудную солдатскую лямку и носил погоны с одним лычком и пестрым жгутиком. Белоручка, панич! Но разве не судьба ему всю жизнь провести интеллигентом, барином? Что ж тогда поделаешь? Но и это соображение не успокаивало до конца...

Фыркали кони, ища среди сухой пыльной хвои тонкие стебли летних трав. Удила клацали в ночной тишине, где-то кричала и шелестела ветвями ночная птица. Разговор с Трофимовым не вязался. Солдат сосредоточенно крутил толстые козьи ножки из махорки и сухого кленового листа, а Андрей больше всего думал, как бы не смотреть в ту сторону, где во тьме леса и ночи потонули Лидия и Герст.

Затем он встал и пошел к поляне, на которую щедро лился лунный свет. Здесь весь воздух, казалось, состоял из танцующих кристаллов и влажных капель,

прозрачных, как струи лесного ключа. Андрей прислушивался к звукам ночи, к биению собственного сердца.

«Нет любви без внутренней близости, — думал он. — Нет чувства без общности переживаний. Лидия — чужая. Это просто охота за женщиной, единственной встреченной на фронте женщиной, которая не заразит какой-нибудь дрянью... А биение сердца — это от физической страсти, и тоска — от неудовлетворенного самолюбия. Нет, завтра же начну вести себя по-новому. А Герст пусть делает, как знает».

Андрей круто повернулся на месте, решив, что сейчас же твердым шагом двинется к Лидии и Герсту, бодрым голосом человека, освободившегося от мучительных противоречий, заговорит с обоими, и всем сразу станет легко и весело.

Но он не успел повернуться. На плечи его легли чьи-то руки.

— О чем так долго думал? Зачем ушел? — шептала девушка, приблизив лицо. Андрей, неподготовленный к такой встрече и сбитый с толку, все же машинально положил руку на талию Лидии. Тогда она сама закинула обе руки на плечи офицера и, потянувшись кверху, прижалась сначала щекой, потом губами к его губам.

— Как же ты ушла от него? — с трудом оторвался от нее Андрей.

— А зачем ты ушел?

— Я не хотел мешать...

— Ревнуешь, глупый. Боже мой, какой же ты глупый!

— Лида, ты любишь меня?

— Я этого не сказала... — Она вдруг рассмеялась, показала Андрею язык и со смехом побежала в глубь леса.

Андрей пошел за нею. Он опять был смущен и взволнован. Но думать об этой новой своей взволнованности, о ее причинах, о ее последствиях он больше не желал.

Лидия скрылась в темноте парка, а Герст сразу по-

ехал крупной рысью, так что Андрей должен был подгонять коня, чтобы не отстать от товарища. Хорошо, что на таком аллюре можно было не разговаривать.

На бивуаке Герст сухо попрощался с Андреем и немедленно скрылся в своей палатке.

III

МАТЬ-КОМАНДИРША

Штабс-капитан Петин, уходя на батарею, оставил в парке рыцарскую память, солдатское подневольное уважение и командирского коня «Чая». Наследников у Петина не было: никого по-кадровому не боялись солдаты, никто из офицеров не слыл в дивизионе рыцарем, и никто не мог сесть на Чая.

Чай был длинный пятивершковый жеребец со шпатом на правой задней ноге. Он всегда неспокойно косил глазами, прядал ушами, как птица крыльями, и бил копытом, как будто не мог его буйный характер вынести тяжелой, упрямой неподвижности земли.

Уже несколько месяцев он стоял в конюшне, вечерами его водили по бивуаку, но никто, ни из ездовых, ни из офицеров, не решался проездить жеребца по дороге.

Он спокойно впускал к себе в стойло уборщика, позволял себя седлать, широким, припадающим от шпата шагом выступал по дороге и вообще вел себя четвероногим джентльменом, но только до момента, когда другому коню, человеку, мотоциклету или даже птице вздумалось бы обойти его хоть на полголовы.

Тут Чай закусывал удила и несся, стервенея, не разбирая дороги, как будто к хвосту его привязали зажженный смоляной факел.

Такой полет кончался только тогда, когда золотая шерсть на его боках склеивалась в мокрый от пота войлок, пена розовыми клочьями убирала повод и удила, а мундштуки на два дюйма врезались в окровавленные щеки.

Кулагин еще в первые дни по приезде Андрея убеждал его взять Чая:

— Лучший ведь конь в дивизионе, мягкий ход, быстр как ласточка, красив! Шпат? Ну, это пустяки, об этом не стоит говорить.

Кельчевский отговорил Андрея.

— Берите, — не жаль, — но имейте в виду, что приезжать будете не туда, куда хотите, а куда Чай захочет, и не тогда, когда нужно, а когда Чаю вздумается.

Чай остался на конюшне выжидать хозяина, а Андрей получил высокого и тяжелого на ходу донца. Конем он был недоволен и подумывал: не взять ли все-таки Чая. Самое страшное было — не выдержать марку, сдрейфить и сдаться.

Однажды за ужином тяжеловатый, безбровый поручик Бондаренко, ленивый и сонный украинец, заявил:

— Кажется, возьму Чая я.

Столовая огласилась хохотом.

— Это подходит, — сказал, поблескивая карими глазами, Кельчевский. — Вам падать удобно, — не разобьетесь.

— Мешечком, пузыриком, — подхватил кандидат. — Скок, скок!

— Шутки, шутки, а я вот завтра поеду... Что ж, никто не хочет такого коня?.. А еще артиллеристы!

— Чая надо сосватать адъютанту. Командирская как-никак лошадь, — орел! — заявил Кулагин.

— Я и не отказывался, — сказал Андрей. — Напугали меня, что на нем ездить нельзя.

— Петин же ездил.

— Не боги горшки обжигают! — убежденно воскликнул кандидат.

— Так вы бы попробовали.

— Ну, что вы, что вы? — замахал руками кандидат. — Я и на тарантасе еду — боюсь. Морской болезнью страдаю. На беде всегда за хвост коня придерживаюсь.

— Оттого и рыжий, — тяжело сострил Иванов.

— Я завтра попробую Чая, — решительно сказал Андрей.

— А как же Бондаренко? — спросил Кельчевский.

— А я подожду, пока адъютанту летать надоест, — тогда я его возьму.

— Вижу я, двое офицеров выйдут к барьеру из-за лошади. Надо доложить командиру дивизиона, — бурчал Иванов.

— Вот Василиса Климентьевна приедет, она Чая не любит, — сказал Кулагин. — При ней солдат с Чая слетел, разбился. Она запретит адъютанту садиться на Чая.

— Что вы говорите? — вскричал Кельчевский. — Неужели приезжает?

— И опять с Вавочкой.

— С-с-с! — засвистал дурашливо кандидат. — Кончилось тихое житие. К инспекторскому смотру готовсь!

— Кто это Василиса Климентьева? — спросил Андрей.

— Мать-командирша. Держись, адъютант. Хвост вам накрутит.

— Это что же, жена Торопова?

— Всякие бывают жены, — смеялся Кельчевский. — А это, я вам говорю, мать-командирша. Она вас так к рукам приберет, что и не вздохнете. По-настоящему почувствуете, что такое адъютант.

— Я ведь военную карьеру не делаю и в благоволении отцов-командиров не нуждаюсь...

— Зануждаетесь... Словом, что говорить. Поживем — увидим! Одно для вас есть спасение, одна лазейка — становитесь женихом Вавочки.

— А она кстати недурненький кусочек! — заерзал на скамье кандидат.

— Кандидат прицеливался — отшили, — буркнул Иванов.

— Отшили, миленький, отшили, — покачал жалостливо головой кандидат. — И будущим домиком в Оренбурге не соблазнились.

— Кандидат чуть горькую не запил.

— Как же их на фронт пустят? — удивился Андрей.

— Пустят. Василиса Климентьевна уже была раз. Едва выпроводили. Поход начался...

— В четверг приезжают, — сообщил Кулагин.

— Ну, что ж, всем дивизионом поедем встречать, — с лукавинкой посмеивался Иванов.

Чая подали утром к столовой палатке. Из передков, где стоял теперь Чай, пришли фельдфебель и каптенармус Клычков. Пришли явно из любопытства. Клычков был широкоплечий, чудовищной силы парень с загорелым, почти черным лицом. Казалось, рука его, толстая, жилистая, как суковатая ветка кедра, способна была посадить на круп лошадь на всем скаку или переломить ей шею. На Чая он сел, не взнуздав его мундштуком, и Чай, поносив его по полям, сбросил у самого бивуака. Клычков вернулся в обоз с половиной штанины и разодранной шеей.

— Ой, зря, ваше благородие, связываетесь! — сказал он. — Скаженный конь, одно можно сказать.

Чая держали трое. Андрей сел в седло спокойно, и Чай, как ладья, отъехал в сторону, потянув за собой всех троих. Андрей сжал, как мог, шенкеля, ожидая бури, но Чай двинулся ровным размашистым шагом на дорогу.

— Я за вами сейчас! — крикнул Клычков. — А то как бы чего не случилось. — Он бегом помчался к конюшне.

Но Чай шел по дороге, как в манеже, и Андрей даже отпустил трензеля и мундштук и, знакомясь, похлопывал коня по золотистой гладко вычесанной шее. Позади затрусила фурманка и, боясь, как бы она не вздумала опередить его, Андрей перевел Чая на рысь. С проселка въезжали на дорогу двое ординарцев, — пришлось увеличить рысь до полного аллюра. При первой возможности Андрей свернул в сторону с большой дороги. На повороте видел, что позади на черном коне, поднимая облако пыли, скачет Клычков.

Чай нес всадника бодро и мягко, шаг у него был широк и ровен. Андрей проверил, слушает ли он повод. Лошадь была чутка и к шенкелям и к шпорам, и Андрею уже начинало казаться, что он зря так долго поддавался запугиванию и отказывался от превосход-

ного коня. Осмелев, он повернул Чая обратно и поехал навстречу Клычкову. Чай, нервно прядая ушами, прошел мимо каких-то всадников и бросился, храпя, в сторону от остановившегося на скаку Клычкова, но тут же выровнял шаг и пошел к дому еще быстрее.

Андрей сдерживал его, но жеребец, почуяв приближение конюшни, шел, задирая голову назад и выкинув в напряжении грудь.

Андрей жестко взял повод. Чай забрал голову еще больше и бросил передними ногами. Андрей еще круче взял мундштук, но Чай, сломав его усилие, изогнул теперь шею книзу, закусил удила и понес. Лошадь тянула, как отпущенная стальная пружина. Руки немели от напряжения, но голова Чая попрежнему лежала на груди и сверху был виден налитой красным звериный глаз.

Чай проскочил бивуак. Люди выбегали из палаток. Чей-то знакомый голос крикнул:

— Голову!

И нагнувшийся Андрей вскакал в конюшню. Шенкеля не выдержали, и он тяжелым ядром полетел в ясли...

— Хорошо, не было гвоздей в стенке, — говорил Кельчевский, снимая соринки с Андреевского френча. — Могли бы повиснуть, как картина. Не разбились?

Андрей отплевывал сухую труху и с раздражением смотрел на вздрагивающие бока жеребца.

— Это все-таки удачно. Могло быть хуже, — утешал Кельчевский.

На другой день Чай взлетел от мотоцикла. Он сразу перемахнул канаву, и Андрей пустил его по полю. Мимо пролетали леса и рощи, пни грозили падением, ямы и окопы западнями залегли во всех направлениях. Хрипя, взлетал конь на крутые холмы, за которыми могли притаиться разработанные песчаные карьеры и рытвины, слетал в травянистые долины, и Андрей заботился только о том, чтобы не вскакать в мелкие колючие поросли ельника и не дать Чаю повернуть к конюшне с полным повторением вчерашнего спектакля.

Когда Чай выдохся от бешеной скачки, Андрей был в полутора часах езды от лагеря. Он пустил вспотевшего коня рысью, и Чай, мокрый до бабок, остановился на бивуаке.

— Да вы как в бане побывали, ваше благородие, — улыбался подвернувшийся и принявший лошадь ординарец.

Андрея поздравляли, как будто он одержал настоящую победу.

«Теперь уже нельзя сдаваться» — решил Андрей.

Мигунин принес толстое письмо, и, утирая пот мокрым платком, Андрей читал в палатке Татьянин, насыщенный горечью рассказ о лазаретной жизни, о том, что она подготовляет свой перевод на фронт и просит его намекнуть в письме, где стоит дивизион. Теперь, когда его перевели в обычную корпусную артиллерию, можно надеяться на постоянную или по крайней мере длительную стоянку, и для нее есть смысл устроиться в госпитале или отряде его корпуса. Так они смогут встречаться хоть изредка.

Торопову поехали встречать полковник, Герст и Иванов. У кандидата болели зубы. Кельчевский, расстроенный, сидел в палатке, — он получил известие из Кустаная, что жена его уже давно была больна, но не писала ему об этом, а теперь предстоит операция, и уже все равно... Муж должен знать.

— Вы понимаете, — хмуро жаловался он Андрею, — операция в Кустанае. Даже в Оренбург нельзя ее свезти. Вот страна! Австралия какая-то!

— Отчего же вы забрались туда?

— Как чего?.. В переселенческом управлении я. Условия хорошие. Оклад... На западе нам, полякам, нет хода — затирают.

Андрей не поехал на станцию. Неловко было брать донца вместо Чая. На Чае же ехать с кавалькадой, да еще к станции, где сутолока, — рискованно.

Вечером на донце поехал к Лужкам.

В эту ночь над полями стояли холодные туманы. Леса, как осенью, были одеты поясами синеватой

дымки. Лидия молчала и казалась необычно грустной. Солдаты стояли на часах у мостов и заснувших лагерей. Низко пролетали, всхлопывая крыльями, большие черные птицы, изгнанные войной из гнезд. Луна на мгновение поднимала тусклый рог над сединой облака и опять тонула в непроницаемой мгле.

Когда Андрей вернулся в деревню, огни уже были погашены. Мигулин сообщил, что приехали со станции поздно, женщины устали, и все разошлись рано...

— Слушайте, соня! — опять будил Андрея Кельчевский: — неудобно все-таки. Пока вы офицер, надо соблюдать, так сказать, кастовые обычаи. Пойдемте, я представлю вас командирше. Вчера вами интересовались, а вы пропали.

Торопова сидела лицом к двери, заложив ногу за ногу, и курила папиросу. Седеющие волосы ее были расчесаны на пробор и спускались на уши двумя жесткими приплюснутыми подушками. Серая глухая кофта, черная юбка и широконосые полуботинки придавали ей мужской вид. В углу в кремовой креп-де-шин кофточке сидела миловидная девушка лет двадцати и тоже с папироской.

Командирша при входе Андрея поправила на носу пенсне с разболтавшейся золотой оправой и оглядела прапорщика так, как полковые барыни оглядывают нового денщика или пришедшую наниматься горничную.

— Как поздно встаете. И ведь совсем еще молодой человек, — вместо приветствия, в ответ на щелканье шпор, сказала Василиса Климентьевна. — Ну, знакомьтесь, дочь моя Варвара Михайловна.

— Адъютант здесь курортный отдых отбывает, — сказал, не оборачиваясь, набивавший папиросы у стола Торопов.

— Беру пример со старших, — дерзко сказал Андрей.

Торопов крякнул от изумления и порвал гильзу.

Кельчевский, закручивая ус, спешно двинулся к окну. У окна, в случае чего, можно было остаться нейтральным.

— Я вижу, распустил я вас всех, — пробурчал Торопов. — Встают офицеры в девять часов, ученья не производят, лошадей не смотрят. Так и солдат распустить недолго.

— Я вижу, ты опять благодушничаешь, — покачала головой Василиса Климентьевна.— Доиграешься, что по службе на вид поставят. На вакансии отразится. И на фронте... Ведь стыд-то какой!

— Ну, пошла, мать моя! — переменил вдруг тон Торопов. — А в других частях что? Ты бы посмотрела. На фронте все части распустились. Воздух тут такой.

Кельчевский улыбался в окно.

Девушка рассматривала офицера с нескрываемым любопытством.

Она сидела на тяжелой, словно вросшей в пол хозяйской скамье, подостлав синий с бахромой плед.

Андрей выдержал ее прямой долгий взгляд, как будто его вызывали на это, и отошел к Кельчевскому.

— Нравится? — спросил поручик шопотом.

— Кто, мать?

— Нет, девушка.

— Ничего. Как у такого алкоголика может быть такая дочь?

— Не беспокойтесь, позже скажется.

— Что же вы то сватаете, то отговариваете.

— Сватать сама мать будет Да, да. Я не шучу. И еще как настойчиво. Вот когда она вам начнет рассказывать, что дают за Вавочкой, тут и начнется. Так и знайте. А если об этом вам не сообщат, значит не подошли.

— Ведь я здесь не один...

— Ну, мы все старики. Герста уже обходили. Он не поддается. Кряжистый немец. На лютеранке хочет жениться. Ведь они обе были здесь в прошлом году, когда еще жен к фронту близко не подпускали. Без разрешения пробрались.

Утром опять подали Чая.

На перекрестке Андрей задумывал, где можно найти

дорогу спокойнее, и в это время рыжий муц на бодром аллюре вынес из-за кустов девушку в кожанке.

Андрей двинулся в ту же сторону, рассчитывая, что длинный Чай всегда будет впереди короткого маленького муца.

— Лида! Ради бога сдерживайте вашего муца и не допускайте его выйти вперед ни на вершок, иначе — только меня и видели.

— В чем дело? Почему столько темперамента? Не могу понять, — говорила Лидия, изо всех сил сдерживая капризившего по обыкновению муца.

— Мой конь привык ходить под командиром, всегда впе...

Договорить фразу не удалось, — муц заупрямился, девушка неосторожно стегнула его стэком, муц лягнул задними ногами, задел жеребца, и Чай понес...

Теряя такт, сжав зубы, Андрей делал величайшие усилия, чтобы остановить коня, но Чай летел карьером, не слушая больше мундштука.

Тогда взбешенный Андрей дал ему шпоры и изо всех сил ударил плеткой между ушами.

Вероятно, никогда еще не испытывал такого оскорбления благородный жеребец. Он взвился на дыбы, рванул в сторону и поскакал по полю, на лету распластываясь в струну.

Андрей решил загнать Чая. Он хлестал его и рвал рот коня мундштуком. Чай вскакал в холмистую местность и теперь на скаку так швырял Андрея, что тот едва держался в седле. Слетев с изрытого пнистого холма в долину, Чай понесся вперед с удвоенной быстротой. Андрей еще раз хлестнул его изо всей силы и тут же заметил, что все поле впереди широкой дугой обегают проволочные заграждения.

Он потянул повод вправо, но жеребец глядел назад ненавидящим оком и мчался вперед в самую гущу проволоки.

«Спрыгнуть... перескочить... упасть раньше...» — мелькало в голове Андрея.

Резнул память забытый случай, когда кавалерист-

ординарец в Холмщине наскакал ночью на тугой телефонный провод и срезал себе голову.

Еще одна спасительная мысль: «Лошадь увидит и остановится... Только тверже шенкеля, чтобы не сорваться... Шишка бы остановилась».

Чай летел уже с отпущенным поводом.

Жеребец взлетел птицей над рыжими шестами. Андрей увидел: не перескочить!..

Он отпустил и повод и шенкеля, и каким-то необычайным образом отделился от лошади. По инерции он летел еще в воздухе и со рвущей, тянущей болью в ладонях и запястьях упал на руки уже за проволочной плетенкой, и только ноги остались где-то позади, высоко, на весу...

Конь хрипя бился рядом в путах проволоки и подпруг, вскочил и с седлом на боку, хромая, умчался в сторону дороги.

«Лопнула подпруга,—не будучи еще в силах дышать, думал Андрей. — Это, пожалуй, и спасло. Иначе бы подмяло...»

Долго нельзя было снять с проволоки ноги. Отдышавшись, Андрей с трудом принялся освобождаться. Сквозь боль и досаду пробивалось чувство довольства тем, что никто не видит его в этом унизительном положении.

Галифе напоминало теперь ленточные штанишки кордебалетных актеров. Пальцы Андрея ощутили на теле теплую кровь. Встал на ноги и долго еще не мог итти — ныло правое колено.

Опершись на подгнивший березовый кол, он пересчитал семь рядов проволоки, густо переплетенной.

Шел, опираясь на поднятую в поле палку. Шел стороною, избегая даже проселков и в особенности людных воинских бивуаков.

У дороги таился в кустах, выжидая, пока не будет на ней пусто.

Мигулин суетился, ахал, причитал, качал рыжей головой. Он бегом принес таз горячей воды и вызвал фельдшера.

Неглубокие рваные раны тянулись вздутыми бороздами от бедра к колену. Голенище сапога было разрезано, как ножом.

«В боях ни одной раны, а в парке — пожалуйста! — думал Андрей. — А что было бы, если бы я не перелетел за проволоку туловищем?!»

Фельдшер промыл царапины и вылил на них пузырек иода. Андрей, перетерпев острую боль, хотел было встать, как вдруг в избу ввалился Мигулин.

— Вашбродь, командирша с дочерью к вам идут. Просили предупредить.

— Что же, одеваться мне или раздеваться? — недоумевал Андрей, суетливо убирая рваные галифе и френч.

— А вы бы лучше под одеяло. А то брюки я еще не гладил, да сапог к мастеру в передки снести надо. Других-то у вас нету.

— Вот чорт принес, — злился Андрей, укладываясь под одеяло.

— Что с вами? — налетела на него, не задерживаясь на пороге, Василиса Климентьевна. — Неужели сломали что-нибудь?

— Пустяки... Чай понес. Царапины.

— Пристрелить эту лошадь! Покажите что с вами.

Девушка в белом картинкой стояла на высоком бревенчатом пороге.

— У меня на ногах... — смущался Андрей и смотрел на девушку.

— Ничего, не смущайтесь. Она курсы сестер кончила, — и Василиса Климентьевна сорвала одеяло с ног Андрея.

— Ай-ай-ай, всего изорвало! Кость, вы говорите, не повредило?

— Я ведь сам дошел. Пустяки все это. — Он отнял из рук командирши одеяло и плотно закутал ноги.

— Ну, вы не ломайтесь, — поправила пенсне командирша и присела на скамью. — В госпитале, если ранят, тоже будете стесняться?

— У меня был фельдшер, все сделал.

Комната наполнялась народом. Пришли Кельчевский, кандидат, Бондаренко, Иванов.

— Уступаю вам Чая, — сказал Андрей Бондаренко.— Это конь на любителя. Меня больше устраивает лошадь, которая идет туда, куда мне нужно.

— Чай адъютанту свидание сорвал, — хихикнул кандидат.

Андрей посмотрел на него с удивлением.

— Пате-журнал все видит, все знает, — дурашливо прищурился кандидат.

— Какое свидание? — деловито спросила командирша. — С кем?

— Женщин на фронте мало, — буркнул Иванов, — зато успех за ними обеспечен.

Вавочка чуть-чуть покраснела.

Командирша смотрела на Иванова неодобрительно.

— Удивительно все-таки встречать на фронте легкомыслие.

— Иначе тут со скуки подохнешь, — оправдывался Иванов.

— А вы знаете, как тыл относится к армии, с каким благоговением?

— Зря, народишко тут все нестоящий...

— Есть и герои, — безапелляционно уронила Василиса Клементьевна.

— Вот один перед нами, — указал на Андрея Кельчевский.

— Пойдемте, господа, — поднялась полковница, — надо ему отдохнуть.

— Я сейчас встану, — сказал Андрей и увидел Мигулина, который показывал ему из угла рваный сапог.

— Ах, да, — опустился он на подушку. — Придется полежать. Книжку кто-нибудь пришлите.

— Лежите, лежите. Дня три обязательно надо полежать. Вавочка к вам придет посидеть. Пусть приучается.

Офицеры зашевелились. Иванов ухмыльнулся и, должно быть, чтобы скрыть смущение, громко затру-

бил в платок. Кельчевский дернул усом. Кандидат стал нелепо серьезным.

— Она ведь в сестры хочет итти, — перехватила общее движение Василиса Климентьевна и обвела всех строгим взглядом.

Командирша поднялась и вышла. За нею потянулись офицеры.

Вавочка пришла через час. Она была беленькая и прозрачная.

— Вам действительно нельзя вставать? — спросила она.

Андрей вспомнил о сапогах и сказал:

— Да... не выходит...

— А жаль. Погода хорошая. Пока еще летние дни стоят. Осень скоро.

— Осенью здесь ужасно, болото...

— Все-таки здесь теплее. В Оренбурге уже холодно. Не люблю я Оренбурга.

— А куда бы вы хотели?

Вавочка стала рассматривать блестящие острые ногти.

— А я нигде не была, — мне все интересно.

— Вы заставьте мать поехать с вами в столицу, ведь у вас сейчас пропасть денег.

— Ну, вы моих родителей, кажется, успели рассмотреть, — сказала вдруг сухо Вавочка.

В прозрачной девушке, как в созревшей куколке мотылька, почувствовалось вдруг другое существо.

— Выходите замуж, — засмеялся Андрей: ему сразу вдруг стало легче с ней.

— Благодарю вас, — церемонно наклонила голову Вавочка. — В этом пункте вы трогательно совпадаете с моими родителями. Не за вас ли?

— Ого! — подскочил под одеялом Андрей.

— По матушкиному счету вы у меня сотый жених. Я уже привыкла. Все равно не подойдете.

— А сами вы об этом как думаете?

— Ничего не думаю, — замкнулась девушка. — Что вы читаете?

— Чирикова.

— Юность? Хорошая книжка... Все хорошие книжки о том, как не бывает.

— А вы бы хотели, чтобы все было так, как у Чирикова?

— У вас невеста есть, — сказала вместо ответа девушка.

— Почему вы думаете?

— Две карточки у вас стоят рядом... И не похожие... Значит, если одна сестра, то другая кто ж?

— Да вы Шерлок Холмс! — наивничая, восхитился Андрей.

— Зато вы не гениальный преступник — весь в уликах.

— А что еще?

— А вон тетрадка... Вся буквами «Е» разрисована. Даже на клеенке вырезано.

— Ей-богу, вы великолепны. Вот это наблюдательность!

— Я всегда за людьми все замечаю.

— И за мною?

— Иначе я бы с вами так не разговаривала.

— Это, пожалуй, комплимент.

— Если хотите... Знаете, я бы вас просила не ссориться с мамой. Мы скоро уедем. Потерпите немного.

— Я не собираюсь...

— У мамы странные обычаи...

— Если они не коснутся...

— И если коснутся...

— Не обещаю.

— Жаль. Я так и знала... Ну, я пойду... Я еще зайду к вам.

— Я буду очень рад. Вечером я встану.

— Значит, вам можно?

— Разумеется, можно. Сапог у меня порван. О проволоку...

— У вас одна пара?.. Не говорите маме.

— А что? Невесту потеряю?

— С вами не стоит быть откровенной.

— Да, это я зря, — согласился Андрей. — Дайте руку, я прошу прощенья.

— Прощаю, — улыбнулась девушка.

Андрей натягивал наскоро зашитый сапог, когда в избу вошел Кашин, младший писарь.

— Ваше благородие, там в канцелярии жена их высокоблагородия командира дивизиона бумаги смотрят.

Красивые глаза Кашина оскорбительно светились издевкой.

— Зачем же вы даете?

Кашин пожал плечами.

— Они всегда так. Я только докладываю...

Андрей наскоро затянул пояс и пошел в дом, занятый канцелярией. Кашин исчез где-то в темноте.

В канцелярии при свече сидела за столом Василиса Климентьевна. Перед нею в не совсем свободной позе стоял старший писарь Фролов.

Василиса Климентьевна подняла голову и кивком приветствовала Андрея.

Андрей долго собирался с духом, чтобы сдержать клокотавшее в нем раздражение.

Увидев адъютанта, Фролов сделал руки по швам.

— Что вас интересует в нашей канцелярии, Василиса Климентьевна? — спросил Андрей.

— Так, вообще, все... У казначея я уже просмотрела. А теперь с приказами знакомлюсь. Дела мужа и его части меня всегда интересовали. А что?

— По уставу, никто, кроме лиц командного состава, не может быть допущен к делам воинской части.

— Я не посторонняя.

— Но вы и не лицо командного состава.

— Ну, ладно, я посмотрю кое-что, и все.

— Я очень прошу вас, Василиса Климентьевна, сейчас же, немедленно вернуть мне все дела.

— Вы что, боитесь? Непорядки, вероятно?

— Прошу вас не оскорблять меня. А вам, Фролов, я ставлю на вид невыполнение устава.

Фролов вытянулся, постоял минуту и отошел в сторону.

— Я смотрю дела с разрешения командира дивизиона.

— Этого мало. Будьте любезны в таком случае принести мне письменное приказание. Предупреждаю только, что этот замечательный документ будет доложен в штабе корпуса и... отправлен в столичную печать.

— Как вы смеете? Вы — офицер и лишены уважения к командиру части. Вы ведь сами когда-нибудь будете командиром.

— Никогда не буду.

— Да ведь вы студент... Мальчишка! В этом все дело. Вы далеки от духа армии. Мне вы показались приличным человеком...

Андрей молча собирал дела и папки.

— Прошу вас, — сказал он, спрятав бумаги в стол.

Василиса Климентьевна сидела недвижно.

Андрей задул свечу.

— Вежливо. Дайте по крайней мере руку!

Андрей взял командиршу под руку, и старуха, всхлипнув в темноте, очень больно ущипнула его выше локтя.

IV

КОЛЕСО СЧАСТЬЯ

Торопов разъяренный стоял перед Андреем. Сжатые руки его чернели на поясе как неживые. Выцветшие глаза и хриплый голос от многолетнего пьянства атрофированной гортани делали его гнев скорее смешным, чем страшным, но Андрей чувствовал, как в этом расхлябанном теле на минуту встает «аршин» — костяк старого кадровика.

— Вы, кажется, позволили себе быть непочтительным по отношению к моей жене? — прошипел он, разбрасывая фонтаны слюны и закинув при этом голову назад.

Андрей вынул платок, с нарочитой гримасой вытер щеку, на которую капнуло, и, воспользовавшись паузой, заметил:

— Может быть, господин полковник, мне будет позволено узнать, в чем выразилась моя непочтительность?

Полковничьи пальцы дернулись и зачастили по желтому ремню мелкой дрожью.

— Прапорщик, вы мне не устраивайте здесь дипломатический салон. Мы здесь все солдаты.

— За исключением вашей супруги, господин полковник, — сказал Андрей, но тут же почувствовал, что, раз он дразнит старика, значит и его спокойствие уходит.

— Вот видишь, видишь? — послышался голос за занавеской. — Он позволяет себе слишком много.

«Значит полковница подслушивала!» — Андрей сразу перешел в то состояние, когда течение ссоры владеет человеком.

— Что с вами можно позволить? — бросил он со злобной презрительностью.

Полковница взвизгнула и бросилась вперед. Полковник одной рукой удержал супругу, но сам еще ближе придвинулся к Андрею.

Его всегда маленькие, мутные, а теперь навыкате глаза, стали вдруг страшными, как у эпилептика.

— Это оскорбление старшего в чине... прямого начальника. Под суд! — задыхался Торопов.

— В чем моя вина? Я не допустил постороннюю женщину к бумагам и приказам, согласно уставу...

— Молча-а-а... —взвизгнул внезапно приобревший гибкость голос Торопова. Но старик захлебнулся в выкрике на букве «а», замахал перед собой руками и в два-три приема, как деревянная кукла, у которой развинтились шарниры, свалился назад на пол...

В комнату вбежал Василий и, непочтительно подхватив командира под руки, поволок его к кровати.

Прохладным ветром в разгоряченное лицо встретила Андрея светлая ночь. В палатке Герста качающимся пламенем горела свеча. Герст неохотно, но все же стал собирать в порт-табак папиросы. Его аккуратная, словно накрахмаленная фуражка была надвинута еще

глубже, отчего прямой германский нос его и крутой упрямый подбородок казались еще длиннее и резче.

Андрей шел позади Герста по тропинке и смотрел на прямые плечи и узкую талию поручика. Андрею было жаль Герста. Он чувствовал, что под спокойствием этого аккуратного, выдержанного человека кроется разлад, своеобразная драма. Андрей вспомнил таинственное самоубийство Фукса у Болимова. Но то был простой, едва грамотный солдат, оторванный от плуга, колонист-землепашец, а это интеллигент, офицер, с детства воспитанный в духе любви к великому и процветающему народу, его победам и растущей воинственной силе. Теперь он брошен в ряды армии, которая грозит гибелью всем национальным мечтам этой далекой родины.

Конечно, Герст не покончит с собою. Герст — не герой. Это интеллигент-обыватель, высшей мечтой которого являлось участие в большом деле, принадлежавшем дяде по матери, крупному судовладельцу, в руках которого были почти все пассажирские линии между Либавой и восточно-прусскими портами. Любопытно, что было у Фукса. Вероятно, ничего, кроме клочка земли... Война принесла семейству Герста одни неприятности. В германской армии сражались его двоюродные братья. Доходы его дяди, с прекращением рейсов по Балтийскому морю, исчезли. Все складывалось неудачно, ненужно и несправедливо, а погоны русского офицера жгли... Он, разумеется, никогда, не делился с Андреем своими сокровенными мыслями, но Андрей, как и другие, ясно видел, что Герст сознательно ищет способов отсидеться в парке, пока пройдет эта заваруха и настанут дни, когда оживет Либава и застучат винты дядиных судов, которые, может быть, пойдут под германским флагом.

По дороге ехали молча. У начала аллеи оставили коней и пошли к парку. В лунном свете поле лежало туманным озером, кусты казались скалами и островками. В туманах бродили овцы с серебристыми колокольчиками и громко лаяли собаки-овчарки. Одна из

них бросилась к офицерам с громким лаем. За нею издали серебристыми комочками мчались другие.

Герст не выносил собак, боялся и нервничал. Он сам бросился на переднюю собаку и выругался по-немецки. Собака отскочила, но сейчас же прянула вперед с новой силой. Герст не выдержал и выхватил шашку, готовый вступить в бой с громко лающей стаей.

Луна блеснула на лезвии. Где-то далеко, надрываясь, кричал пастух:

— Белка, Шарик, сюда!

Андрей, неожиданно для самого себя, сказал, вкладывая в слова злую насмешку:

— Офицер русской армии с обнаженной шашкой против собак!

Герст повернулся к Андрею:

— Неуместная острота, прапорщик. — Он тут же вложил шашку в ножны и теперь, стараясь не обращать внимания на наседавших собак, зашагал к парку.

Лидия сейчас же выбежала из темноты парка в белом платье и белых туфлях. В руках у нее был сверток с сапожками. Она была весела, и зеленые глаза ее искрились смехом.

Теперь, если Андрей ехал рядом с Лидией, Герст отъезжал в сторону, рысил вперед или плелся далеко позади. Когда Лидия говорила с Герстом, Андрей старался держаться поодаль

— Да что с вами сегодня такое? — не выдержала наконец девушка. — Что вы, повздорили?

Андрей, взбешенный желанием Герста углубить ссору, рассказал Лидии о собаках и шашке и повторил дословно свою фразу и ответ Герста.

— Ай, как нехорошо, друзья! Нехорошо, — с искренним огорчением начала было Лидия, но вдруг сбилась с тона и сама фыркнула, как школьница, которой подруга сделала удачную гримасу из-за спины учителя. Ясно было, что она вообразила Герста, воюющего с псами.

Андрей хотел было заговорить о чем-то постороннем, но Герст приложил руку к козырьку:

— Простите, не буду мешать вам, — и, дав шпоры коню, умчался в серебристый туман ночи.

— Ну вот, и рассорились, — сказала Лидия. — А из-за чего? Ведь он славный. Я привыкла к вам обоим.

Андрей молчал.

— Вы были неправы, Андрей. Вы его все-таки обидели.

— Я был невежлив, с этим я согласен. Но я боюсь только одного: может быть уехать следовало мне?

Лидия подъехала ближе и пальцами, затянутыми в перчатку, стала играть поводьями Андрея.

— Все-таки можно было обойтись без ссоры, но если уж случилось, то хорошо, что случилось именно так. — Она стегнула коня стэком и помчалась вперед карьером. Белое платье вырывалось на скаку из-под плаща. Кусты вставали и тотчас же исчезали. Воздух свистел в ушах. Лошади были в мыле, когда кончилась эта бешеная скачка по лунным дорогам. Перед ними встал темный бор, где они были накануне втроем.

Лидия сошла с коня. Андрей привязал лошадей к дереву и бросил плащ на землю.

Теперь они были вдвоем. Зачем она так неслась, скакала в темноте, рискуя налететь на окоп или проволоку? Ясно, она была возбуждена не меньше, чем он...

В голове шумело. Было то возбужденное состояние, которое облегчает самые необузданные поступки...

Белое платье волновалось на плаще в лунном свете. Но руки ее уперлись ему в грудь, хотя губы, раскрывшись, отвечали на поцелуй. Он шептал что-то невнятное, настойчивое...

— Ни за что... ни за что...

— Не любишь?

— Так... нет... никогда...

Андрей резко отодвинулся, сел на траву, но сейчас же вскочил и стал отвязывать лошадей. Нужно было итти против себя, иначе можно было броситься и задушить эту девушку. Это мстили за себя сотни однообразных ночей, когда жгла подушка и хрустели пальцы...

Лидия медленно поднималась. Андрей почти вырвал из-под нее плащ и накинул ей на плечи. Поднимаясь в седло, она была тяжела и неловка.

— Сердишься? — сказала она уже у фольварка.

— Не то... Впрочем, злюсь, конечно... Но на себя.

— Мне хорошо с тобою... Но ведь мы... чужие.

— Ну, давай станем... не чужие.

Девушка подалась в седле в сторону Андрея.

— Но только тут, на фронте... и завтра же. Здесь есть полковой священник. — Андрей никогда впоследствии не мог вспомнить и понять, как вырвались эти слова. Злая шутка или зыбь еще не утихшей бури в крови.

— Ой, нет, нет, милый! Без отца?.. Убьет... лишит наследства... С сестрой так было... А без денег я жить не могу. Уж я такая. — Она каялась без всякого раскаяния, дерзко смотрела в глаза. — Ведь у тебя ничего нет, милый?

— Уже светает. Идите, Лидия.

На этот раз Андрей ускакал, а девушка все еще стояла у гнилой упавшей ограды.

Рано утром Андрей вошел в палатку Герста.

Поручик что-то искал под койкой. Он поднял налившееся кровью и удивленное лицо.

— Я пришел просить у вас прощенья, Ганс Карлович. Все это было очень глупо. И эта женщина... Я тоже не поеду больше туда.

Герст повел узкими бровями. Он с трудом приискивал русские слова для своих мыслей.

— Нет, зачем же? Я постараюсь забыть ваши слова. Но это никак не может быть связано с вашими встречами с госпожей... Лидией Николаевной...

Неделю Андрей выходил из избы только на обед и в канцелярию. Солдат-санитар принес ему однажды письмо. Розалия Семеновна от имени княжны и сестер просила его прибыть в отряд в ближайшее воскресенье к восьми часам вечера. К приглашению была приложена записка Лидии: «Не хорошо забывать друзей. Жду с нетерпением».

— А, все равно! — махнул рукой Андрей. — Скажи — приеду и благодарю...

V

КНЯЖНА

Княжна вышла не сразу. Офицеры стояли у окон, картинно опираясь на шашки. Сестры сидели на уцелевших от военных разгромов протертых креслах. Говорили полушопотом. Это делалось для новичков, которые должны были сразу почувствовать, куда они попали. Сестра Недзельская, при спущенном модераторе, одним пальцем подбирала какой-то мотив. Тень от пальмы падала на ее строгое лицо, на клавиши рояля. Рядом с нею стоял тонкий, как стебель подсолнечника, молодой сапер и глядел на нее влюбленными глазами.

В углу у двери, слегка развалясь в кресле, сидела Розалия Семеновна — старшая врач пункта, еврейка, о которой офицеры говорили: «красива, как библейская Юдифь».

В этом кругу, где слово «жид» произносилось с той серьезностью и с тем же барским презрением, как и в литовских и мазовецких замках два столетия назад, ее терпели из уважения к ее познаниям, такту и необыкновенной красоте.

Розалия Семеновна, в свою очередь, по каким-то непонятным причинам терпела это окружение чванных бар и не стремилась перейти в другой, более демократический лазарет. Но зато во всей ее фигуре, в положении рук, в чертах лица, в нарочитых медлительных интонациях голоса чувствовалось постоянное, утомительное напряжение.

На вечерах вокруг нее всегда собирался кружок молодых офицеров, которым легко и приятно было беседовать с этой развитой, находчивой женщиной, пока они еще не почувствовали, что слишком большое внимание, оказанное красавице-еврейке, будет принято остальными женщинами, во главе с княжной, как признак дурного тона.

Когда вошла княжна, все встали. Мужчины так, как встают при входе офицера в высшем чине, сестры сделали вид, что им уже давно пора было приняться за хлопоты по хозяйству, а Розалия Семеновна пошла навстречу княжне.

Княжна поцеловала врачиху и, держа ее за руку, остановилась посередине большой, плохо освещенной комнаты с голыми стенами. Вскинув с легким щелканьем золотой с перламутром лорнет, она обвела взглядом всех присутствующих. Головы офицеров склонились одновременно, как колосья на ветру.

Трудно было решить, осталась ли довольна княжна составом приглашенных. Ее полное, почти округлое лицо, с разливом яркого, но уже не девичьего румянца, было невозмутимо. Глаза улыбались, но улыбались отдельно от всего лица, потому что рот был крепко сжат, обнаруживая только узкие, острые на концах полоски розовых губ.

— Я очень рада, — произнесла она не то с французским, не то с итальянским акцентом. — А, и вы здесь мусье Бутусов? — обратилась она к поклоннику Недзельской. — Очень рада буду еще раз слушать ваше пение. — Ее плохой русский язык казался офицерам признаком аристократизма.

Офицеры по-очереди подходили к княжне, некоторые называли фамилии, щелкали шпорами и отходили.

Андрей вышел из угла, где оставила его Лидия, и тоже пошел к княжне.

Подняв лорнет, княжна оглядела его с ног до головы.

— Ах, Костров? Помню. О вас говорила мне Лидия. Буду очень рада, если вам у нас понравится.

Андрей опять ушел в свой угол, продолжая наблюдать за присутствующими.

Лидия выбежала из маленькой боковой двери, возбужденная, с пылающими щеками.

— Прости, пожалуйста, — шепнула она, на одну сотую часть секунды приникая телом к Андрею. — Мы сейчас из Минска получили торты. Ты уже предста-

вился княжне? А мое платье тебе нравится? Это парижское.

На белом тончайшем шелку были нарисованы огромные тусклые бабочки, опускавшиеся на яркие вишни и сливы. Из-под пышных оборок чуть выглядывали острые кончики белых атласных туфель. На декольтированной шее теплыми фиолетовыми огоньками поблескивал жемчуг. Андрея коробила эта неуместная, нелепая роскошь. Даже княжна была в костюме сестры. Она прошлась лорнетом по Лидии и отвернулась.

— У вас здесь можно совсем забыть, что мы на фронте.

— Так ведь это же хорошо, милый!

Андрей молчал, пристально осматривая наряд девушки.

— Ты недоволен? — поняла Лидия. — Вот странно! И сестры некоторые... Но те больше из зависти. Ну, я сниму. Только платье оставлю. Хорошо? — заискивающе заглянула она в глаза. — Зачем же я все это добро везла сюда?

— Как хочешь, — сказал он девушке.

Лидия вернулась без жемчугов и в черных туфлях. Теперь пестрое платье казалось надетым случайно, как на примерке...

Музыкальный вечер начался.

Сапер плохим, любительским тенором пел избитые романсы и в антрактах, беззвучно кашляя, жаловался на простуду, полученную на постройке моста. Он держал в руке большой остро надушенный платок и то и дело вытирал сухие губы и мокрый лоб.

Сестра Бородина сыграла «Весной» Грига и фантазию F-moll Шопена.

Лидия читала стихи.

Она читала рассудочные вещи Апухтина и Мельшина с подчеркнутой резонерской сухостью, от чего окончательно терялась и без того бедная музыка стиха, и иссушенные, примитивно философские фразы казались убогими в своей обнаженности.

«У нее нет вкуса» — подумал Андрей.

Недзельская пела грациозные английские песенки, которые походили на звон хрусталиков, падающих струйкой на фарфоровое блюдо.

Она почти примирила Андрея с концертной частью вечера.

Перед ужином в комнату вольно, как в свой кабинет, вошел среднего роста офицер с адъютантскими аксельбантами и, не оглядываясь, прошел к княжне.

— Si tard, mon ami! — с ласковым укором сказала княжна. — Я уже не ждала вас. Мы собираемся итти ужинать.

— Я виноват, но заслуживаю снисхождения, — по-русски ответил офицер. — Комкор гонял меня в Молодечно. Я едва успел почиститься. — На нем сапоги были лаковые, бутылками, каких не носят на фронте, а френч и бриджи кричали о высокой марке портного. Столичный шик прочно гнездился в нарочитых складках, в ловком сочетании вольности и аккуратности английского военного покроя.

Барон повел княжну к столу в соседней комнате. Лидия и Андрей оказались рядом.

Кусты сирени делали стол похожим на клумбу, закуски были поданы со всем возможным на фронте искусством. Окна были затянуты полотнищами от палаток, чтобы не проник сюда чей-нибудь нежелательный взор.

— Во всем этом есть какая-то очаровательная тайна, — тоном провинциального декламатора произнес сапер.

— Она не замедлит разъясниться, — засмеялась Недзельская.

— За первым бокалом! — весело крикнула Бородина.

— Я где-то вас встречал, — обратился барон к Андрею, светски улыбаясь.

— Я здесь недавно, — ответил Андрей. — Я был, правда, в этом же корпусе и раньше, но солдатом... вольноопределяющимся...

Барон великодушно продлил любезность:

— Тогда, может быть, раньше, в Петербурге?

— Едва ли... У меня мало знакомых в столице. Разве только в своей среде... Студенты...

Барон, все так же улыбаясь, развел руками. Жест должен был означать: «Ну, значит, ничего не поделаешь» — и заговорил с княжной.

— Почему вы открещиваетесь от знакомства с бароном? — спросила Лида.

— Он мне не нравится. Как его фамилия?

— Липпенбах.

— Это не родственник того, двинского, который проворовался? Скандал был...

— А я хотела вас с ним познакомить. У них бывает весело. Его брат — артиллерист. Тоже адъютант штаба артиллерийской бригады. Мы к ним ездим. Они часто устраивают вечера, танцуют...

— Господа, — по-мужски постучала вилкой по тарелке Недзельская. — Минуту внимания!

— Занавес приподнимается. Госпожа тайна выходит на авансцену, — балагурил сапер.

— Тише, тише!

— Господа!—начала Недзельская.—Все наши друзья знают и любят нашу начальницу и нашего лучшего друга, нашу дорогую княжну. Все наши друзья знают, что княжна с самого начала войны оставила светскую жизнь, чтобы предаться святому делу служения раненым героям. Здесь она живет, как простая сестра, ведя самую скромную жизнь, без всякой роскоши. Сегодня день рождения княжны...

— О-о-о! — раздались крики. Все глаза были обращены на княжну, которая смотрела теперь на Недзельскую с кроткой улыбкой, как будто это была ее любимая дочь.

— Тише, тише! — закричала Лидия.

— Сегодня день рождения нашей дорогой княжны. Поэтому он стал праздником для всех нас... Позвольте мне поднять тост за нашу дорогую начальницу и друга.

— Вы настоящий тулумбаш, Ирма — крикнул барон.

Недзельская, отодвинув стул, покачивающейся походкой пошла к княжне. Княжна ждала, откинувшись к

спинке кресла. Они долго целовались. Потом к княжне потянулись сестры и офицеры с бокалами.

— Зачем же вы не шепнули мне в прошлый раз? — громко выговаривал барон Лидии. — Приехал бы командир корпуса. Да весь штаб примчался бы!

— И весь наш батальон в полном составе! — подхватил сапер.

— И наши, — неуверенно буркнул пехотный штабс-капитан.

— Кто же тогда остался бы на позициях? — подняла брови княжна. — Нет, такие фестивали едва ли уместны на фронте. И я вообще была против... Но девочки...— она посмотрела на сестер, — они устали и соскучились.

— Да, да, княжна не хотела и слышать о торжестве. Был целый бой. Мы уж тайком от нее все сделали, — заявила Бородина.

— Княжна согласилась только для нас. Она сама выше таких пустяков, — крикнула Лидия.

— Вы слишком экспансивны, ma petite, — холодно заметила княжна.

— Лидия, сядьте, — сказал Андрей. — Вы выдали секрет. Значит, княжна все-таки знала о вечере... И вообще никогда не следует участвовать в комедиях.

Появилось шампанское. Два санитара внесли в комнату большой сладкий пирог и башню из мороженого со свечкой на вершине.

Все эти редкости гости встречали шумом и криками, а когда был разрезан огромный арбуз и оказалось, что он начинен, несмотря на осень, свежими ягодами, цукатами и марципаном, гости пришли в неистовый восторг.

— Где же Татьяна Николаевна? — спросила княжна.

— Ей нездоровится, — ответила Лидия. — Она дежурила ночь.

— Кто это Татьяна Николаевна? — полюбопытствовал Андрей, вспомнив вдруг о Татьяне.

— Новая сестра. Замечательно интересная. Блондинка. Высокая. Ты любишь блондинок? — Лидия под столом пожала руку Андрея.

— А вы знаете, кто устроил все эти сюрпризы? — спросила вдруг Андрея сестра Бородина.

— Сестра Недзельская? — постарался догадаться Андрей.

— Ирма Владимировна? О, нет. Я думаю, что она не рассердится, если я скажу, что из нее никогда не выйдет хорошей хозяйки. Она мечтает стать композитором...

— Кто же тогда?

— Лидия.

— Да что вы?

Лидия сияла.

— Прекрасно, Лидия Николаевна! Исполать! — встал барон. — Предлагаю тост за организатора этого вечера.

Все бокалы потянулись к Лидии.

— Доволен? — шепнула она Андрею.

— Мне не нравится, как смотрит на тебя этот хлыщ.

— Он очень воспитан, всегда вежлив...

— У него наглый взгляд. Он целует руку подчеркнуто, как будто хочет показать, что имеет на тебя какие-то права.

— Хочешь, поедем кататься после ужина? — шептала Лидия. — Отправь ординарца и вызови пару.

Трофимов сидел на кухне. Санитары кормили его и еще нескольких ординарцев и кучеров остатками.

— Трофимов, дорогой, не сможешь ли отвести верховых лошадей в парк и приехать на паре?

— Кататься изволите? Холодновато, а луна... Слушаюсь, в один миг.

Парень улыбался приветливо, а Андрей глушил в себе чувство стесненности и неудобства.

Барон уехал в коляске. Он поцеловал на крыльце обе руки Лидии, и девушка с тревогою, краями глаз, посматривала на Андрея.

Барон был пьян. Он пошатывался и, запахивая накинутую на плечи шинель, говорил Лидии:

— Мы ждем вас. Мы всегда вам рады. Вы — наш ангел...

Розалия Семеновна увела Лидию.

— Идите, идите, вы простудитесь. Вы разгорячены, а ночью здесь тянет свежестью от болот...

Луна светила скупо и часто пряталась в черные гнезда туч. По дорогам стояли почему-то долго не просыхавшие лужи. Леса уже шелестели на ветру жестяным шелестом, кучились, отступя от дороги, темными придорожными валами. Кони летели во мрак, как будто это было похищение и уже нагоняла погоня... Лидия возбужденно приникла к Андрею, и ее волнение передавалось ему, хотя в этот вечер еще какие-то нити порвались между ними...

— Куда? — спросил Трофимов.

— Куда-нибудь далеко-далеко! — капризно сказала Лидия.

Кони понеслись.

Солдаты у мостов спрашивали пропуска и сразу сдавались на резкий окрик Трофимова. По деревянной гати пронеслись вихрем, и плохо связанные бревнышки, как клавиши потерявшего голос рояля, часто стучали под железом колес. Луна глядела теперь в болото, и тростники казались большим грязным мхом, вздувшимся на ветру. Тусклые прорези воды серели за перилами длинного настила хлюпкой западней.

На безлунных дорогах приходилось крепко держаться и держать девушку. Высокий тарантас бросало во все стороны. Губы неожиданно и остро встречались с пересохшими от вина губами. Свежий ночной ветер трепал локоны Лидии и холодил горячий лоб Андрея. Ночное небо поворачивалось медленно. Навстречу все тем же звездам быстро неслись кони.

— Неужели это Мигелины? — спросил Андрей, оглядывая притаившиеся во тьме домики и ветлы над заводью.

— Так точно.

— Как же мы далеко уехали.

— Кони стояли долго. Как звери... — весело крикнул Трофимов.

— А где стоит поручик Хазарин? Ты знаешь?

— Так точно. Они на хуторе, полверсты от деревни. Изволите заехать?

— Заедем, Лида?

— Куда хочешь, куда хочешь, — устало сказала девушка.

Хутор обозначился одиноким огоньком.

— Не спят еще, — сказал Трофимов.

— Давай подъедем. Мы сами пойдем, посмотрим.

На хуторе надрывно и зло залаяли собаки.

— Я боюсь, — сказала Лидия.

— Пустое. Трофимов, дай кнут. Пойдем, Лида.

— А может быть неудобно, ночью...

— А я посмотрю в окно.

Через запыленное, с потеками, стекло был виден угол большого стола. Спиной к окну сидели на скамье офицер и женщина в косынке. Рука офицера лежала на талии сестры. Слышались пьяные крики. Кто-то пел, поминутно сбиваясь с тона. Кто-то колотил ножом по тарелке.

— Ну, мы, кажется, с бала на бал. Здесь кутят.

Андрей ввел девушку в сени. Налево в каморе надрывно кашляла женщина, укачивая хныкающего ребенка. Андрей распахнул дверь направо. Горячий воздух прокуренной волной вышел из комнаты, и в ту же минуту Лидия крикнула:

— Ай! — и рванулась обратно, увлекая за собою Андрея.

На столе, разухабисто разбрасывая ноги, плясала голая женщина в белой косынке. Хазарин тянулся к ней через весь стол. Он кричал и старался схватить ее за ногу. Другой офицер отводил его руки. В это время, когда распахнулась дверь, несколько бутылок упали на пол.

Лидия дрожала, всхлипывая, противно хныкала в темноте и не могла взобраться в тарантас.

— Ты нарочно, нарочно...

Хмель видимо проходил.

— Сиди, — резко сказал Андрей. — В Лужки, Трофимов!

Трофимов удивленно посмотрел на всхлипывающую Лидию, ничего не спросил, взобрался на козлы и быстро погнал лошадей.

Лидия успокоилась не скоро, но Андрей только тогда и сказал ей:

— Ты ведь сама предложила ехать и сама сказала Трофимову: далеко, далеко. А теперь говоришь: нарочно.

Лидия, словно извиняясь, прижалась к Андрею. Потом, глупо хихикнув, сказала:

— На фронте мужчины все, как звери.

Тарантас катился с холма в глубокую низкую долину. Тянуло болотом. Трофимов сдерживал лошадей. Густой туман клубился внизу и тяжело полз куда-то налево. В луне приникшее к земле облако казалось серебристым маревом, скрывающим за собою берег реки или пруд.

Лошади на малой рыси вошли в туман...

Внезапно острой спазмой перехватило горло и на глазах выступили быстрые, частые слезы.

— Что это? — встрепенулась Лидия.

Андрей вскочил на ноги.

— Гони карьером! — крикнул он Трофимову и крепко зажал нос и рот девушке ладонью.

Тот самый запах, которым отдавало на вышке под Болимовым, тот, который стоит над всеми складами газовых снарядов.

Кони рванулись, и облако через несколько секунд осталось позади.

— Это газ, — сказал, утирая глаза, Андрей, — но откуда?

— А тут, ваше благородие, рядом склад, — сообразил Трофимов.

— Ты чувствуешь что-нибудь? — спросил Андрей Лидию.

— Першит в горле...

— Утром обязательно обратись к доктору. Плохие шутки. А ты, Трофимов, тоже. Всегда со складов сочится газ, но не в такой мере. Правда, низкое место...

Теперь быстро неслись к Лужкам. Уже седым поздним утром Андрей смотрел, как нырнула в парк Лидия...

У себя на столе нашел телеграмму.

Кирилл, кузен, друг детства, звал на свадьбу в имение невесты. Долго вертел в руках бумажку. Всего три-четыре дня. Кому он здесь нужен? Конечно, отпустят. Неудобно, что в первые же месяцы, но вся речь идет о каких-нибудь четырех днях. Тут же заготовил телеграмму Кириллу, чтобы выслали лошадей на станцию...

VI

ГОСТЕПРИИМНЫЙ МИНСК

Перевестись на фронт в какой-нибудь корпусной отряд Татьяна решила твердо. Но ей казалось, что для этого нужно будет проявить необычайную энергию, преодолеть бесчисленные препятствия. Она про себя лихорадочно убеждала каких-то непоколебимых генералов и главврачей, во сне получала совсем особенные разрешения и даже убегала, как в американском фильме, от преследователей, отчего металась и не давала спать Зое.

— Что ты мечешься? Что ты нервничаешь! — успокаивала ее Зоя. — Ну, хочешь к своему Андрею, — поедем. Как сделать? Вот тоже дела! Раз, раз и поехали, — дружески брюзжала она, укрывая Татьяну куцым лазаретным одеялом. — Пойду к папашке, напою ему с три короба, и отпустит. А потом мы полетим на ковре-самолете к твоему добру-молодцу.

Энергичная, всегда веселая девушка одна поддерживала теперь растерявшуюся от неудач Татьяну.

— Разве и ты поедешь? — спрашивала Татьяна подругу.

— Конечно, поеду. Мне вся земля, как мухе арбуз. Куда хочешь, туда и ползи, — все прямо выходит. А без меня ты на вокзале потеряешься. Придется тебя через полицию искать.

Все оказалось гораздо проще, чем предполагала Татьяна. Старший врач сразу согласился отпустить обеих в распоряжение санчасти штаба западного фронта.

— Незаконное делаю, — сказал он, подняв глаза над оправой очков. — За такую бумажку взгреть могут. Начальник захудалого госпиталишки пишет отношение начальнику санчасти фронта... не по инстанции! Р-р-революция! Но мне наплевать. Несет вас ветер туда, ну и пусть. Только зря все-таки не фигуряйте этим документом, — он пренебрежительно пошелестел четвертушкой бумаги. — Это так, на случай. А вообще старайтесь в обход, женскими путями. Война вас всякому научит. Ну, а влипнете — тоже не беда. Под ранец вас не поставят, в крайности нелестный эпитет заработаете. Стерпите и ищите более вежливых.

— Деловой старикан, — уже в коридоре сказала Зоя. — Философ. А ручки целовать, когда никого нет, любит...

До Минска доехали благополучно. В санчасти, не заходя ни в чей кабинет, они сели на скамье в коридоре, и Зоя стала бессовестно стрелять глазами, осчастливливая своим вниманием главным образом тех военных врачей, которые, суетливо пробегая из двери в дверь, обнаруживали свою принадлежность к фронтовому управлению.

— До каких же пор мы будем здесь сидеть? — нервничала Татьяна. — Люди уже замечают, что мы сидим без дела. Еще подумают...

— Думать никому не воспрещено. А что же, прикажешь пойти в кабинет к начальнику, чтобы тот послал обратно или загнал в Томск или Бийск! Благодарю покорно! Погоди, вот опять он. Кажется, дело верное. — Она встала и пошла навстречу невысокому молодому врачу с близорукими прищуренными глазами, который уже несколько раз проходил мимо с пачками бумаг в руке.

— Простите. Вы не знаете, к кому нам надо обратиться, чтобы получить направление в какой-нибудь фронтовой отряд?

Доктор остановился. Теперь он близко видел большие черные, откровенно лукавые и притягивающие глаза Зои. Значит, он не ошибся, — девушки обе хороши, и черненькая и блондинка. Он выставил ногу вперед, как будто раздумывая, а затем лениво двинулся с Зоей к скамье, на которой сидела Татьяна.

— А вы откуда же к нам пожаловали? — спросил он Зою.

— Мы из тыла.

— Кто же вас направил?

— Сами мы направились, — попробовала пошутить Зоя.

— Сами? — покачал головою доктор. — Напрасно. Теперь у нас строго. А куда бы вы хотели? Где-нибудь в Минске?

— Нет, поближе к фронту.

— Сложнее, — сказал доктор и сел рядом с Татьяной.

— Моя подруга, — поторопилась Зоя.

— Я очень рад. Знаете, вы лучше ни к кому пока не ходите. Все это надо обсудить. Если пойдете прямо к начальству, боюсь, все выйдет не по-вашему. В лучшем случае пошлют вас в большой госпиталь в Молодечно или Полочаны.

— Вот и хорошо! — встрепенулась Татьяна.

— Я думаю, что нехорошо... — Доктор многозначительно приподнял голосом «не». — Это не то, что вам нужно.

— А вы уже знаете, что нам нужно? — спросила Зоя, положив на рукав доктора два пальца.

Доктор поглядел оценивающим взором на руку девушки и сказал:

— Оставайтесь пока в Минске. Устрою.

— Нет, нет, — поспешила Татьяна.

— А куда бы вы хотели, мадмуазель? — спросил доктор, обращаясь к Татьяне.

— Я бы хотела в двадцать четвертый корпус. Там есть отряд или госпиталь?

— Вероятно. Вот что, — сказал он, беря дружески

за руку Зою. — Давайте поговорим не здесь. Может быть, я вам все устрою. Против собора есть кафе. Собор знаете, на главной улице? Заходите через полчаса туда. Я покончу с делами и приду тоже. Что-нибудь придумаем, — весело сказал он вставая.—Значит, идет?

— Дело в шляпе, — сказала Зоя. — Только надо это все проверить.

Она отправилась к вахтеру, сидевшему у выходной двери, и через несколько минут вернулась с хорошими вестями. Доктор был начальником отдела и, следовательно, «мог все устроить».

В кафе доктор учинил девушкам основательный допрос и, со своей стороны, сообщал, что по наведенным справкам при двадцать четвертом корпусе состоит отряд княжны К. Отряд во всех отношениях замечательный, привилегированный, но попасть туда не легко. С княжной в штабе считаются и без ее согласия в отряд никого не посылают. Направление, то есть бумажку, устроить он может, но как быть дальше — не знает. Есть два пути: можно запросить княжну и можно поехать прямо к ней и хлопотать на месте.

— Ой, ждать, дорогой, нам никак невозможно, — сказала Зоя. — Где же мы жить будем?

— Вы что, прямо с вокзала? А где же вы переночуете сегодня?

— А мы хотели с поезда на поезд, — не мигнув глазом, отвечала Зоя. Но Татьяна смотрела встревоженно. Доктор понял.

— Хотели... С поезда на поезд никак не выйдет. Ведь сегодня уже не собрать подписи. Да и печать у начальника канцелярии. Он уже ушел.

— Но неужели здесь нет гостиницы?

— Захотели! — засвистал доктор. — Генералу не достать номера, не то что простому смертному.

Татьяну начало лихорадить.

— Н-да, — промычал себе под нос доктор. — Придется вас приютить.

— Мы как-нибудь устроимся. Пожалуйста, не беспокойтесь...

— Интересно, как это вы устроитесь, — сказал доктор. Он даже откинулся в кресле, сознавая всю силу своей позиции.

— Напрасно думаете, что мы так уж беззащитны, — на этот раз презрительно заметила Зоя, и ее уверенность несколько успокоила Татьяну. — Наверное в городе есть общежитие сестер милосердия.

— Конечно! — вспыхнула радостно Татьяна.

— Есть и не одно. И во всех — как сельдей в бочке, — не сдавался доктор.

— Все равно. Не выгонят же нас на улицу. А потом на вокзале есть пункт Пуришкевича.

Татьяне уже казалось, что возможностям нет конца.

Доктор, прищурив глаза, покачивался на стуле.

— Бросьте вы все эти затеи. Я живу вдвоем с товарищем. Мы оба уйдем, а вы у нас переночуете.

— А где же вы сами будете ночевать? — спросила Татьяна.

— Найдем. Здесь приятелей много.

— Мы поищем общежитие и зайдем на пункт. А если уж нигде ничего, то придем к вам, — решила Зоя.

— Ну и прекрасно. Я ведь убежден, что вернетесь. Жаль ваши ножки. — Он посмотрел под стол. Обе девушки подобрали под стул пыльные туфли. — Видимо, без испытания не заснуть вам на докторских кроватях. А живем мы здесь рядом в переулке.—Он вынул записную книжку и карандаш. — Вот вам адрес и фамилия.

Общежитий оказалось несколько в разных концах города. Все были перенаселены и всюду принимали только «своих». На пункте функционировали две большие палатки. На койки уже установилась очередь. За столами, рядом с кроватями, на которых храпели проезжие, поили чаем, кормили сухой колбасой. Отдельной палатки для женщин не было. На койках одеяла дыбились над мертвецки усталыми телами. Стоял сырой дух от снятых сапог.

Сестры устало посматривали на койки. Офицеры отходили, отворачивались, чтобы не пришлось уступить койку или место за столом.

Докторская комната с кушеткой и кроватью становилась все привлекательнее в сравнении с гомерической теснотой этого прифронтового города

К переулку шли быстро, пробегали по-воскресному людные улицы, на которых фланирующие офицеры нестеснительно, как в побежденной стране, заглядывали под шляпки женщин, заговаривали с гуляющими сестрами. В переулке же шли медленно, оглядываясь, и, если бы не Зоя, Татьяна так и не постучалась бы в дверь одноэтажного домика.

В окно, рядом с парадной, мгновенно выглянул доктор, и крикнув: — Я сейчас, — сбежал открывать дверь.

Комната была темная от спущенных соломенных штор, пыльная и запущенная. Только что поднявшийся с кушетки человек наскоро убирал в шкаф подушку и одновременно левой рукой приводил в порядок взволнованную и непокорную шевелюру.

Татьяна застыла на пороге. Они согнали с постели отдыхающего человека. Нет, лучше было бы заночевать на бульваре или пересидеть ночь на вокзале. Боже мой, вокзал! Как она не подумала об этом.

— Пожалуйте, пожалуйте! — размахивал руками посреди комнаты доктор. — Очень вам рады. Ждали. Удивлялись, как много времени вам понадобилось, чтобы убедиться в негостеприимности нашего Минска.

— Мы могли бы на вокзале, — робко вставила Татьяна.

Высокий черноволосый запер шкаф и подошел к ней.

— Дайте ваш чемоданчик, — сказал он как-то необыкновенно просто и тихо. — Какой там вокзал. Там не повернуться. И грязь, насекомые... Я иду сегодня на ночное дежурство, а Сергея устроим у соседей. Хозяев мы предупредили. Они даже предлагают вам свое белье. У нас как-то сейчас все в стирке... Да и вообще не густо. А сейчас будем пить чай.

Он отвел Татьяну к кушетке и скрылся в коридоре. Доктор последовал за ним. В комнату вошла рыхлая женщина в капоте, сама представилась сестрам, посо-

чувствовала и показала умывальник. От женской приветливой распорядительности стало уютно и просто.

Доктор прибежал с пачкой печенья, из чемодана достал бутылку вина. Он кружился вокруг стола, как бабочка у застекленного фонаря, и нельзя было не видеть, что он рад гостям и собственному радушию.

Татьяна рассматривала «Аргус», а Зоя, покончив с туалетом, который проделала тут же перед тусклым зеркальцем в прозаической черной рамке, стала помогать доктору.

Чай пили дружно и весело. За стеной низко рокотала и плакала бандура. За потемневшим окном кто-то проносил томительные вздохи, раздавалось ленивое шарканье праздных подошв по кирпичам тротуаров. Керосиновая лампа в комнате была охвачена раскрывающимся кверху тюльпаном розового абажура. А высокий черный сидел на кушетке рядом с Татьяной, глядел на нее внимательно, изредка вмешиваясь в разговор спокойными, округленными фразами. Татьяне казалось, что этому простому уравновешенному человеку все кругом так ясно, как никогда не будет ясно ей самой. Вдруг захотелось проникнуть в его мысли и настроения. Пользуясь тем, что Зоя вела шутливый, чуть-чуть скользкий разговор с Сергеем Владимировичем, Татьяна незаметно для себя стала рассказывать черному о себе, о Горбатове, о Липовском госпитале, об аресте Тарасия Мироновича.

— Страшная у нас страна, Татьяна Николаевна. Грубая, бесправная. Раздавить человека — это в два счета... Как таракана...

— А ведь это правда, — сказала девушка и подумала: «Как я этого до сих пор не замечала?»

— Вот у англичан даже в поговорку вошло: «мой дом — моя крепость», а у нас любой пристав может в дом ворваться, обыск учинить, нахамить... Им что лазарет, что казарма...

Собеседник ее оживился и тоже стал рассказывать Татьяне о Минске, о Казани, откуда он был родом, где кончил университет и, когда ему нужно было ухо-

дить на дежурство, Татьяна уже чувствовала себя с ним просто, и ей жаль было, что он уходит. Она не в силах была поддерживать веселый щебет-разговор Зои и врача и едва не вздремнула, прикинувшись щекой к ковровой подушке.

— Ну, надо вас укладывать, — с сожалением сказал Сергей Владимирович.

— Я только на полчаса прилягу. А вы разговаривайте, — сказала Татьяна.

Она легла на койку, сняв туфли. Сергей Владимирович закрыл лампу газетой, и Татьяна сейчас же заснула в тени.

Она не видела, как доктор, пройдя на цыпочках, совсем погасил лампу, как уже совсем утром, стараясь не шуметь, уходил он, оставив Зою усталую, измученную и дорогой, и докторской ненасытной любовью.

На утро Татьяна прикрыла разбросавшуюся в тяжелом сне подругу и села у окна, дожидаясь, когда проснется весь дом.

По камням улицы прогрохотала лихая солдатская телега, и Зоя подняла голову, кого-то отыскивая около себя полузакрытыми, сонными глазами.

— А где же Сергей? — сказала она, сначала не замечая Татьяну. — Ты разве уже встала?

Она приподнялась над подушкой.

— Неужели поздно? Не выспалась я...

— Ты поздно легла?

— Светло было. — Она подумала и спросила: — А тебе черноволосый понравился?

— Да, он славный.

— Он так к тебе пристроился. Я уж думала — и он останется... Я бы на твоем месте его не пустила. Пусть лучше бы Сергей шел дежурить.

Татьяна недоуменно смотрела на подругу.

— Как ты можешь так?

— А вот такая и есть. Другой не буду! — Она сердито, не сходя с кушетки, принялась расчесывать гребнем волосы.

К вечеру у девушек на руках было направление и

частное письмо к Розалии Семеновне, старшему врачу стряда.

— Не сказано, что все это подействует, — размышлял вслух Сергей Владимирович, — но больше я не в силах ничего сделать. Как княжне взглянется.

Черноволосый — Татьяна так никогда не узнала его имени — принес на вокзал цветы и смотрел долго вслед уходящему, переполненному солдатами составу. Сергей Владимирович лихо крутил ус и поглядывал на девушек с высоты своей легкой победы.

— Боюсь я этой княжны, — твердила в вагоне Зоя.— Разгадает, шельма. Ты уж в отряде веди дело одна. Я молчу.

Розалия Семеновна усадила девушек в кресла и в разговоре по пустякам ловко выспрашивала о том, откуда они, кто их родители, какое образование получили.

Татьяна едва скрыла свое удивление, услышав, что Зоя — дочь полтавского помещика из-под Лубен, что она пробыла два года на высших женских курсах в Киеве...

Розалия Семеновна куда-то удалилась. Через комнату проходили высокие, необыкновенно строгие, красивые на подбор сестры, быстрыми взорами пробегали по лицам девушек и исчезали. Вернувшись, Розалия Семеновна сказала, что вакансия в отряде имеется только одна, но, чтобы не разлучить подруг, она оставит обеих. Вскоре уедет сестра Недзельская, и тогда, если не будет препятствий, можно будет зачислить обеих.

— Вас мы зачислим сейчас, — сказала она Татьяне.— А вас, — повернулась она к Зое, — через несколько дней. Княжна уже дала свое согласие, — добавила она, когда девушки встали и принялись благодарить ее.

Еще чемоданы не были развязаны, когда Зоя уже обежала парк, побывала на берегу реки, определила температуру бурлившей воды и успела познакомиться с поваром и кастеляншей. Сестер она избегала. При слове «княжна» у нее билось сердце.

Татьяна вышла из комнаты только к вечеру. Княжна

одобрительно осмотрела ее, опустила лорнет, и сестры все сразу заулыбались Татьяне.

Зоя притихла, и только блестящие глаза выдавали ее истинный темперамент.

Была суббота, и вечером все собирались в гостиной. Приезжали какие-то штабные офицеры, в одиннадцать разошлись, и в комнате Зоя заявила торжественно:

— Ну, теперь нас не выгонят!..

— Блондинка очаровательна, — сказала Розалия Семеновна княжне.

— Я знаю, вашему вкусу можно довериться всегда,— любезно улыбнулась княжна. — А эта другая мне еще не ясна. В общем я думаю, мы не сделали ошибки, приняв обеих. Я ведь так боюсь, чтоб к нам не попала какая-нибудь... — Она хотела сказать — мещанка, но раздумала. — Какая-нибудь неподходящая особа.

VII

ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА АДЪЮТАНТ

Татьяна второй раз в жизни меняла место и обстановку.

Как и в Липове, первые дни в Лужках она жила в какой-то легкой дремоте. Люди и вещи, расположение комнат и даже обязанности только постепенно принимали для нее ощутимую, осязаемую форму. Так чувствует себя сухопутный человек, вышедший впервые в океан на большом паруснике.

В сущности Татьяна не была слишком склонной к задумчивости или запуганной девушкой. Она всегда умела беззаботно и радостно смеяться, была хорошей подругой, веселой и общительной, в последних классах гимназии научилась флиртовать, писала гимназистам невинные записочки с четверостишьями и цитатами из Гоголя, Некрасова и Надсона. Их передавали братьям сестры из первых классов, козочки с куцыми косичками. Уже в пятом классе она назначала свидания. Семиклассницей целовала Андрея тайком в аллеях сада, в беседках, в комнате наедине. Прекрасно пом-

нила, что нужно не только дождаться такого момента, когда кругом никого не будет, но и убедиться в том, что ни одно зеркало, обладающее предательскими свойствами углов падения и углов отражения (по Краевичу), не может выдать ее девичью, страшно, страшно острую тайну.

В Липовский лазарет она не поверила. Он остался на ее пути нерасшифрованной легендой, и никак не хотела Татьяна внести его простую, но неожиданную правду в свое собственное представление о настоящей жизни.

Лужки должны были сблизить ее с Андреем. В этом был смысл ее пребывания здесь. Весь день она работала самоотверженно, забывая все на свете, даже думы о Костроме, но вечерами принималась мучительно рассуждать сама с собою о том, что должна она сделать еще, чтобы встретиться с тем, из-за кого она приехала сюда на фронт.

Кругом были чужие люди. Никто не мог помочь. Всякий легко мог выдать, поставить в неловкое положение. Даже с Зоей не хотела она советоваться по этому поводу. Стыдно было признаться в своей беспомощности, страшили порывистые, иногда даже неосмотрительные поступки подруги. Татьяна не имела ни малейшего представления о том, как далеко мог быть Андрей, какой участок фронта занимает вообще корпус, где стоят артиллерия и парки. За ужином и обедом сестры часто упоминали названия различных частей и штабов, но о части Андрея никто никогда не говорил. Чаще всего бывали в гостях штабные. Татьяна знакомилась с ними, вела сдержанные беседы в присутствии княжны или Розалии Семеновны и всегда раньше всех уходила в свою комнату.

Зоя ложилась спать последней. Она восхищенно рассказывала Татьяне, какие комплименты говорил ей сапер Бутусов, как любезен был барон Липпенбах. — Ведь она никогда еще в жизни не говорила с настоящим бароном!

Княжна была в восторге от Татьяны и находила Зою слегка vulgaire.

Зоя застывала, чувствуя на себе взор княжны, но, ободренная взглядом какого-нибудь штабс-капитана, сейчас же оживала и принималась без умолку щебетать своим мягким украинским говорком.

— Она провинциальна, — сказал княжне барон, — но зато непосредственна.

— Из какого-нибудь помещичьего медвежьего угла.

Татьяну барон оценил вполне. Он провел с ней однажды весь вечер. Это было невиданно. Даже Недзельская, высоко подняв дуги бровей, выразила удивление в беседе с княжной.

Оставаясь наедине с Татьяной, барон принимал задумчивый вид. Он как бы снимал с себя парадный френч с аксельбантами и всей своей фигурой выражал уют и доверие к собеседнице.

Он мало говорил, хорошо слушал. Во всем почти соглашался. Делал вид, что совпадение мыслей с Татьяной для него — редкая ценная находка. Несогласие выражал в неуверенной, уклончивой форме.

Татьяна не заметила, как прошел первый вечер, проведенный с бароном, и на этот раз ушла к себе вместе с Зоей, за которой ухаживал сапер, товарищ Бутусова.

Барон не показывался несколько дней. Явившись через три-четыре дня, провел только часть вечера с Татьяной, просидев остальное время с княжной.

В тот же вечер, проходя стеклянную галлерею, он встретил Зою. В галлерее было темно. В окнах комнат, освещенных керосином, неясно мелькали тени. Барон взял Зою за руки.

Девушка остановилась, тяжело дыша. Она только что пробежала двор и взлетела по лестнице. Барон принял трепет ее высокой груди за иное. Не размышляя, он охватил ее плечи и поцеловал неловко в кончик уха и шею.

Это было слишком неожиданно даже для Зои. Она вырвалась, тихо вскрикнув:

— Ах, что вы! — и убежала.

Татьяна ночью сказала подруге, что с бароном она чувствует себя легко. В сущности, он такой простой...

Зоя посмотрела на подругу, как смотрят на человека, встреченного ночью в густых зарослях ельника — не поймешь, кто такой — и ничего не сказала.

— Сейчас я видела, — сказала Зоя помолчав, — как Лида Трояновская в белом платье, накинув пальто, бежала через парк. Бежала и оглядывалась. Тут, я тебе скажу, все тихони. А в тихих омутах черти водятся. Я за ней пробежала, а ее, оказывается, два офицера ждут. И, кажется, артиллеристы.

— Артиллеристы? — забилось сердце у Татьяны.

— Я с ней поговорю, — угадала причину волнения Татьяны Зоя. — Она наверное знает, где тут стоит часть Андрея. А то я смотрю — ты все маешься.

Лидия вернулась из поездки с Андреем и Герстом под утро. Был праздник, она спала до одиннадцати. Зоя постучала пальчиком и вошла, хотя нельзя было разобрать, что ответили изнутри.

— Я к вам на минутку. Я не думала, что вы еще отдыхаете. Вчера ведь так рано разошлись.

— Я долго читала, — покраснела Лида.

— А я к вам как раз насчет книг. У нас с Татьяной совершенно нечего читать.

— Какая прелесть ваша Татьяна! Мы все ужасно привязались к ней.

— Она чудесная. Я вам о ней кое-что расскажу, и вы еще больше ее полюбите.

Лидия одевалась, ахала, взглядывая на часы, причесывала спустившиеся до колен золотые волосы, забрав в рот шпильки.

— Зачем только она все прячется?

— Еще не привыкла... стесняется. Знакомых у нас почти нет. Вот надо устроить прогулку. Она прекрасно ездит верхом.

— Отлично. У меня есть знакомые артиллеристы. Я соберу компанию, — предложила Лидия.

— Вы не знаете случайно, где стоит гаубичный дивизион нашего корпуса?

— Здесь недалеко парк, а батареи на фронте у Крево. — Лидия внимательно посмотрела на Зою.

— Мы познакомились в поезде с одним артиллеристом из этого дивизиона. Милый и вежливый такой... — Зоя легко выбрасывала слова, как барабанные палочки дробь. — Он даже помог нам в Минске сесть в поезд.

— Как его фамилия? Я многих знаю...

— Костров, кажется.

— Костров? Это мой хороший знакомый, — удивилась Лида. — Но он, кажется, никуда не ездил последнее время.

— А может быть я перепутала фамилию, — спохватилась Зоя и быстро заговорила о красивых ночах и о лесах, которые совсем, совсем дикие и совсем близко от усадьбы.

— Андрей здесь рядом! — вбежала Зоя к Татьяне.

Глаза Татьяны смотрели испуганно.

— Здесь близко, в пяти километрах.

Теперь Татьяна подошла близко к Зое и спросила:

— Ты кому-нибудь здесь говорила о нем?

— Нет, это Лидия случайно проговорилась. Она с ним, оказывается, знакома.

Теперь Татьяна присматривалась к Лидии. Она слушала каждое ее слово. На эту девушку падала тень Андрея А для увлекающейся, пожалуй, легкомысленной Татьяны ее чувство к Кострову в эти дни испытаний стало тем тайным уголком, с которым без боли, без надрыва нельзя расстаться. Ей приятно было думать, что она преодолевает все эти препятствия ради любви. Это походило на романы. А романы слишком долго были для нее единственным окном в жизнь, в широкую жизнь, которая шла мимо Горбатова и мимо отцовского тихого дома. Она вынашивала в себе это первое чувство женщины, и оно вырастало тем больше, чем нужнее было его прибежище в этих новых условиях.

На трех колясках и линейке ездили всем отрядом в штаб корпуса.

Организовал поездку барон.

В штабе были выметены комнаты, намыты полы, над

окнами повешены еловые ветви. В столовой было шумно и пьяно. В парке гуляли до полуночи, устраивали игры, бродили парами над прудом и к дымящимся предосенними туманами болотистым лугам.

И здесь был разбитый, с двумя лопнувшими струнами, рояль. Старик-полковник, начальник полкового обоза, к удивлению, оказался прекрасным тапером. Вальсировали, носились в мазурке. Здесь на щеки Татьяны набежал румянец, а Зоя, забыв о княжне, летала с незнакомыми офицерами по залу, по темным коридорам.

Вестовые и ординарцы, примчавшиеся с пакетами из окопов и нашедшие вместо делового бодрствующего штаба танцульку, шарахались в сторону от возбужденных офицеров.

Барон перехватил Зою у какого-то подпоручика и увлек ее наверх в мезонин, где были расположены комнаты адъютантов и штабных офицеров. Он деловито запер дверь своей комнаты на крючок и поднял девушку на руки...

Зоя появилась в зале только перед отъездом.

На обратном пути барон опять не обращал внимания на Зою и говорил только с Татьяной. Его рука несколько раз находила пальцы Татьяны. Татьяна медленно уводила руку, стараясь не оскорбить собеседника. На ухабах он поддерживал ее за талию, и его рука вздрагивала...

В Лужках, еще перед крыльцом, Лидия подошла к Зое и Татьяне и сказала:

— На-днях у нас будут гости. Много народа. Мы чествуем княжну. Только это секрет. Приедут мои приятели-артиллеристы, они приведут лошадей, и мы устроим верховую поездку... на всю ночь... Скоро будет осень, а теперь еще хорошо ночами в лесу. Надо пользоваться.

— Какие артиллеристы? — спросила вдруг Татьяна.

— Здесь близко стоит парк... Адъютант дивизиона и его друг бывают у нас.

Татьяна пошла по скрипучим замшелым ступеням.

Зоя застала ее в слезах.

— Ты что?

— Андрей... Он ведь адъютант.

— Ну так радуйся. Увидишь его, и без хлопот. Он тебя узнает. Будет так интересно. Прямо как в романе. Все будут страшно рады, — Зоя отодвинулась от Татьяны и вдруг сообразила: — ты боишься, что он связан с Лидией?

Татьяна отвернулась.

— Ты не бойся, моя девочка, — сказала Зоя ласково, привлекая к себе Татьяну. — Я это мигом выясню. Только я тебе скажу, я бы на нее и не посмотрела. Ну, какое же сравнение: ты и Лидка. Я бы на твоем месте в одну секунду отбила!

— Отбить? — уронила Татьяна. Ей стало очень жаль себя. А навстречу жалости из глубины поднималась оскорбленная гордость.

Весь день именин княжны госпиталь суетился, как перед большим сражением. Солдаты-санитары, позабыв раненых в палатах, проветривали парадные комнаты, скребли полы в коридорах, намывали окна, посыпали песком дорожки перед крыльцом.

Татьяна не покидала комнаты и не находила места в ней. Она несколько раз брала книгу и сейчас же закрывала ее. Она трижды перечесывалась перед зеркалом и, совсем потеряв волю над собой, пошла по палатам, которые большей частью размещались в пристройках и даже в больших шатровых палатках, бок-о-бок с барским домом.

Зоя напевала украинские песни. Это свидетельствовало о том, что она занята какой-то неотвязной мыслью.

Гости начали собираться, когда уже было темно. Верховые вброд пересекали бурливую речонку и подъезжали прямо к крыльцу. Коляски подходили со стороны поля.

Татьяна, погасив огонь, смотрела в окно.

В темноте двора копошились какие-то фигуры. Шпоры взбегали на крыльцо. Вспыхивали огоньки папирос. Ординарцы рысью уводили лошадей.

Зоя ворвалась свежим душистым ветерком. Во тьме не было видно ее лица.

— Идем, идем, Таня. С Лидой какой-то артиллерист с аксельбантами. Посмотри, он или нет...

— Не выйду, — окаменела Татьяна. — Не надо, Зоечка!

— Чудачка, что же мучиться? С веранды через окно все видно. Взглянешь и убежишь.

Татьяна, борясь с собой, вышла в коридор.

Спиной к окну, опершись ладонью на подоконник, стоял офицер-артиллерист. Рядом, подняв лицо к нему, что-то говорила Лидия. Большая пальма скрывала их от взоров других гостей и сестер, и Лидия незаметно гладила руку офицера.

Да это был он, Андрей... Он обернулся к Лидии. Это его серые, всегда бегающие мягкие глаза. Волосы уже отросли и вьются, его широкие плечи, его привычка кривить губы, и рука за поясом...

Зоя ждала...

— Он... — просто, с неожиданным для себя внешним спокойствием сказала Татьяна и, опустив голову, пошла обратно в темный коридор и дальше к своей комнате.

Затихшая Зоя шла позади.

— Не стоит он тебя, Таничка, — сказала она уже в комнате.

— Нет, что же. Он никогда в сущности и не любил меня, — устало сказала Татьяна. — Все это так просто. Она интересная... — Татьяна зажгла свет, сняла косынку и села в рваное низкое кресло, развернув книгу в руках.

— Ты что же, не выйдешь? — в нерешительности остановилась перед ней Зоя.

— Нет, я не выйду. Никто не заметит. А если кто спросит, скажи — разболелась голова.

Оставшись одна, Татьяна закрыла книгу, опять погасила огонь и осталась в темноте. Лужки теперь казались ей ловушкой, в которую она попала нечаянно, как птичка, никогда не видевшая силка. Лучше было бы

быть далеко, далеко. Кто-то мог послать ее в Сибирь. Это было бы самое лучшее. Раненые всюду те же. А Андрея не было бы, и мысль о нем была бы такою же, как в гимназии, когда думалось обо всем легко, а детская любовь была похожа на ожидание чего-то хорошего, неизвестного, неожиданно яркого.

В коридоре было тихо, только где-то далеко гудели голоса и звенела посуда.

Ночью отъезжали верховые и коляски. Зоя свалилась от усталости и сразу заснула. Небо уже серело над парком. Совсем на рассвете, осматриваясь и обеими руками подбирая длинное платье, пробежала вдоль стены к заднему крыльцу Лидия.

«Она ездила с ним, — подумала Татьяна. — Как все это не похоже на войну, на фронт, каким я себе представляла...» — Она разделась и долго еще лежала с открытыми глазами. Никакие решения не зрели в ее усталом мозгу. Никакие страсти не волновали. Было неожиданно пусто. Казалось, вся она, и голова и грудь ее, сделаны из звонкой глины, как те урны и кувшины, которые она видела в детстве на раскопках степного кургана.

С этого дня Татьяна не выходила до ночи из палат, оставалась дежурить за других. Больные и раненые менялись здесь часто, приходили и выходили безликие, отличные только нравом и ранами. Они любили сестер веселых, умевших балагурить и разговаривать по-простецки. Высокая сдержанная девушка была услужлива, но от нее не веяло тем, что открывает солдатское сердце. К ней, как и в Липове, шли писать письма, за справками, а в сумерки кучились больше около Зои и Лидии. Но Татьяна теперь не замечала этой отчужденности солдат. Работа нужна была ей, чтобы хоть на время забывать обиды и огорчения, рассеивать это крепнущее удрученное состояние.

Даже Зоя не пыталась теперь развеселить подругу. Она сказала себе, что время исправит все, и старалась поближе сойтись с Лидией, чтобы выведать у нее, что можно, об Андрее. Но Лидия говорила о своих про-

гулках и о своих знакомых в ничего не значащих фразах, по которым нельзя было ни о чем догадаться.

Барон заглянул однажды в отряд с двумя товарищами. Он встретил в коридоре Зою, и сам прошел в комнату подруг Татьяна встретила его приветливо, так что Зоя даже покачала головой, хотела было шутливо погрозить офицеру пальцем, но во-время остановилась.

Барон просидел у сестер весь вечер. Огня не зажигали. В комнату медленно заползали тени подступившего к дому парка. Барон говорил тихим голосом. Он рассказывал какие-то страшно легко забывающиеся, пустые великосветские истории, но для Татьяны, никогда не видевшей столицы, за его словами вставали нарядные, созданные ею самой при чтении книг картины балов, парадов, колонных зал, ковровых и шелковых гостиных. Она готова была слушать его, сохраняя печальное лицо и неподвижность позы.

Барон, прощаясь с Татьяной, долгим поцелуем припал к ее руке. Зоя проводила его по коридору, и там в темноте он обнял девушку по-мужски, как обнимают любовницу, засмеялся в ответ на ее попытки протеста и ушел довольными, позванивающими шагами.

На следующий день барон увез девушек в штабной коляске. Он сидел на маленькой скамеечке против сестер, незаметно щипал Зою за икры и изредка касался рукой затянутых в перчатку пальцев Татьяны. Барон был психологом. Зоя была польщена вниманием блестящего офицера и ничего не сказала Татьяне о его двойной игре. И Татьяна приехала домой посвежевшая, почти веселая. Прогулки участились. Андрей не появлялся в Лужках. Татьяна быстро и успешно училась не думать об Андрее. Она вспоминала гимназические годы, когда «переменить симпатию» было так же легко, как получить пять по геометрии...

Однажды барон застал Зою в комнате одну. Он молча запер за собою дверь на задвижку и упорный, со сжатыми скулами, как ходят на медведя, тяжелея и наливаясь кровью, пошел на девушку. Зоя уступила его порыву без сопротивления.

Она давно ждала этого порыва... С тех пор все ее встречи с бароном кончались объятиями в самых случайных и неподходящих местах: в парке в коридоре, в коляске, но за Татьяной барон не переставал ухаживать галантно и тонко, учитывая состояние девушки, о котором кое-что выболтала ему Зоя.

Он был вежлив, подкупал тем, что из всех сестер госпиталя отличал очевидно ее одну. Очень со всеми был сдержан, иногда даже презрителен. С нею был тих, доверчив, никогда не утомлял рассказами о войне, о трудном положении страны, никогда не говорил о политике, словно нарочно отводил от девушки все то, что напоминало бы ее работу и могло навеять тяжкое раздумье.

Часто по нескольку дней его не было. Иногда он приезжал измученный, зеленый, со злыми огоньками в глазах. В такие приезды он едва взглядывал на Зою, не задерживал, здороваясь, ее руку, и девушка отходила от него, испуганно свертывалась и исчезала в палатах или в парке. Барон сидел в таких случаях недолго, никогда не говорил о своих настроениях и уезжал, заглянув на минуту к княжне.

В отряде не было принято принимать гостей по комнатам. Вечерами большая столовая превращалась в гостиную. Исключение делалось только для давних знакомых, к числу которых принадлежал и барон. Но в столовой он всегда держался около княжны и даже к Татьяне никогда не подсаживался надолго.

Татьяна находила и в этом проявление высшей корректности.

Однажды они углубились вдвоем в парк. В парке было мглисто и сыро. Барон вел под руку Татьяну. Его пальцы чувствовались горячо и крепко на руке.

Неожиданно он заговорил о скуке и неудовлетворительности офицерского общества.

— Только с вами, Татьяна Николаевна, я отдыхаю... — Это было шаблонно даже для такой провинциалки, как Татьяна.

— Мы все в отряде... — начала было она и вдруг

почувствовала, как барон притянул ее к себе. Она отстранилась.

— Меня влечет к вам неудержимо, — сказал офицер взволнованно, все же отпуская ее руку.

Это было похоже на объяснение в любви. Но любовь на фронте в ее глазах была скомпрометирована. Ей стало жаль прежних хороших отношений, но она чувствовала, что нельзя было позволить барону продолжать.

— Не надо, не надо! — сказала девушка. — Так было хорошо...

— Но так не может же быть всегда, — раздался в темноте напряженный шопот.

— Почему?

Он охватил ее плечи. Девушка вырвалась.

— Я не хочу, — крикнула она и побежала туда, где серел просвет двора.

Барон немедленно ускакал в штаб, а на следующий день приехал, прикинулся смущенным и раскаявшимся. О случившемся в парке не говорили.

Барон вел себя так, как будто примирился с поражением, но чувствовал себя все время перед прыжком. Казалось, только одна Татьяна могла бы ему заменить здесь, на фронте, всех женщин, с которыми он был близок в Петербурге. Всех этих дам, умевших вносить в адюльтер остроту светского обмана, всех хористок, демимонденок, которые прощали ему тощий кошелек ради гвардейского лоска, лихости и бесшабашной щедрости в редкие моменты просветления на его узком финансовом горизонте. Теперь Татьяна стала для него еще желанней. А барон вообще не умел сдерживаться...

За окном уже по-осеннему кружились высыхающие листья, и ветер швырял их в бурные потемневшие воды речонки. Ветер рвал кусты и продувал двор, парк и поляну, словно со всех сторон усадьбы были поставлены воздуходувные трубы.

Недзельская уехала в Петербург. Говорили, что истинной причиной ее отъезда было требование же-

ниха, с которым она обручилась во время поездки в отпуск. Лидия злилась на всех и готова была сцепиться по любому поводу.

Палаты отряда часто пустовали. Иногда прибывали партии больных, их немедленно купали и пичкали касторкой, хиной и микстурами и отправляли дальше...

Это было в сумерки хмурого дня, когда серое тусклое небо близко подходит к земле.

Зоя вошла в кабинет Розалии Семеновны.

Врачиха сидела за столом и, о чем-то раздумывая, ловила концами острых ногтей волосок, застрявший в пере.

— Вы ко мне?

— Розалия Семеновна, — сказала, опускаясь на стул, девушка. — Я плохо себя чувствую. Со мной что-то неладное. — Пальцы, которыми она царапала край стола, вдруг сорвались, и глаза девушки опустились.

— Что с вами?

Розалия Семеновна отложила перо, обошла стол и взяла голову девушки в руки.

— Что-то нехорошее, — сказала, глядя ей прямо в лицо, Зоя.

Тогда Розалия Семеновна подошла к двери и, заглянув в коридор, закинула в петлю длинный тонкий крючок.

— Разденьтесь, — тихо сказала она Зое.

Врачиха смотрела долго, внимательно. Казалось, она хотела найти доказательства ошибки.

— Плохо... Неужели только сегодня заметили?

— Боюсь я! — крикнула Зоя и заплакала тихо в крошечный платочек.

— С кем вы у нас... встречались?

— С бароном.

— Мерзавец! — сквозь зубы выбросила Розалия Семеновна. — Впрочем, что я? Семь-восемь недель, по крайней мере: А до него?

— В Минске доктор... приютил нас. И еще в поезде поручик...

— Ну, — махнула рукой Розалия Семеновна, — бог с ними. Значит, и барон... Давно с ним?

— Нет, только последний месяц.

— Барон знает?

Зоя молчала.

— Я сегодня доложу княжне. Вам придется покинуть отряд. Надо ехать в тыл лечиться... серьезно и долго.

— А разве можно вылечиться? — всхлипывая, подняла тусклые глаза Зоя.

— Можно, но нужно лечиться упорно. Где Татьяна? Пошлите ее ко мне.

Татьяны в комнате не было. Не было и ее пальто на узкой, как в провинциальных гостиницах, вешалочке о двух крючках.

Зоя присела у окна, совсем как Татьяна, которая способна была в раздумьи часами смотреть в темноту стекол.

Татьяна вернулась взволнованная. Лицо ее горело. Она хлопнула дверью. В коридоре звякнули и угасли шпоры. Кто-то долго стоял у двери, легко постучал пальцем и, не дождавшись ответа, тихо двинулся к выходу.

Татьяна раздевалась в темноте.

Она словно не замечала подруги.

— Розалия Семеновна просила тебя зайти, как только вернешься.

— Что-нибудь случилось? — спросила Татьяна. — Лучше бы утром. Я устала. — Голос дрожал.

— Сегодня зайди, — не оборачиваясь, сказала Зоя.

— Не пойду! — почти крикнула Татьяна.

Зоя обернулась. Татьяна в темноте поправляла платье и косынку.

— Зажечь огонь?

— Пожалуйста, не надо... — Слова захлебнулись в слезах. Зоя встала.

— Где ты была? — спросила она испуганно. — Неужели с ним?

— Да, — тихо прошептала Татьяна.

— Где?

— У него...

Зоя схватила за руку подругу.

— Расскажи...

— Он увез меня кататься. По дороге сказал, что Лидия выходит замуж за Андрея. Будто она сама ему рассказала... И так смотрел на меня, как будто бы он знал Андрея и кто он для меня...

— Ну и что же?

— А потом у себя в комнате набросился на меня... Порвал платье... исцарапал плечи...

— Ну и что же, и что же? — тревожно требовала Зоя.

— Я вырвалась...

— Слава богу! Стой, он... целовал тебя?

— Д-да... Я не сразу вырвалась...

— Иди, Таня, к Розалии Семеновне, иди скорее. Все расскажи ей. Он ведь больной. Он мог заразить тебя.

— Что? — вскрикнула Татьяна. — Как же он смел?

— Он может быть не знает... Но он болен... Я заразила его.

— О-о, — прошептала, опускаясь Татьяна. — Боже мой, как же можно жить?.. Какие люди!..

VIII

ЧЕРНИГОВСКАЯ АМЕРИКА

— Ты понимаешь, друг, — пьяными губами шелестел у уха Андрея Иван Терентьевич. — Отец — капиталист, дети в инженеры смотрят. Дочки с высшим образованием. Вот они Трегубенки! Ты понимаешь, какой букет получится. Мы у нас, тут, в Черниговщине, такую Америку разведем... На поле — машину. Молочные фермы. Заводики...

В голове Андрея гудело от выпитого коньяка. Широко раскинувший густые ветви орех шелестел над головой неисчислимыми армиями листьев. Южная ночь протянулась перед ним черным полотном, и в нем аккуратно были вырезаны четырехугольники освещенных окон большого помещичьего дома. Силуэты и тени, мелькавшие в золотых четырехугольниках, придавали ему вид необыкновенно удачной декорации.

Постукивая шпорами в такт вальса и слушая пьяную речь старика, Андрей следил за Еленой. Она то приближалась к окнам, то исчезала в кулисах этой расставленной в саду сцены.

Кто может запретить ему, Андрею, мечтать сейчас об этой девушке, с такими густыми пушистыми ресницами, с таким ярко и строго выписанным лицом? Проклятая тоска прифронтовых лачуг, грязь окопов, эти будни войны, — разве не засияет на таком фоне Джиокондой самая скромная сестра в туго наглаженной косынке? А тут для фронтовика настоящее видение — девушка, вальсирующая в освещенном доме, брошенном в ночной украинский сад.

Андрей больше не слушал лепета хозяина, неловко хватавшего его за рукав, поднялся и вошел в зал. Шашка ударила кованым кольцом ножен по двери, и все оглянулись. Елена улыбнулась Андрею и сейчас же вновь закружилась с Владимиром, склонив голову на плечо. Андрей подошел к Серафиме.

— Пойдем танцовать, Андрюша, — сказала невеста, беря его за руку. — А я заметила, заметила, — с женской ловкостью проследила она его взор. — Правда, хороша? Хочешь — сосватаем...

— Серафима, дуреха. Знаешь — наши жены — пушки заряжены. Кому нужен солдат с фронта, которому не сегодня-завтра укоротят ногу или руку на пол-аршина. Кроме того она ведь занята. — Он собирался пошутить, но в голосе сверкнула плохо скрываемая тоска.

Серафима смотрела ему в глаза, откинув в танце голову назад.

— Ой, да ты не на шутку... А как же Татьяна, а Катя?

— Ну, Серафимушка, ведь это так... Ну, выпил, оторвался от будней... Будни... Помойная яма. И не знаешь, выберешься из нее когда-нибудь или нет.

— Андрюша, какой стиль! А я тебя любила за то, что ты не из унывающих.

— Сейчас, Серафимушка, не задумываются только прохвосты...

— Андрюша, хочешь танцовать с Еленой?— И, не дожидаясь ответа, повела его к Елене и Владимиру.

— Володя, довольно тебе кружиться с Еленой, уступи другим поклонникам.

— У меня нет поклонников, — сказала Елена и, словно готовясь к серьезному делу, положила руку на плечо Андрея.

Андрей кружился молча. Он был недоволен собою, часто не попадая в такт, не находил простых, легких слов, чтобы завязать разговор. Сделав несколько кругов по залу, Елена поблагодарила его и села опять возле Владимира.

Андрей вернулся к Серафиме. Теперь он был окончательно раздосадован.

Студенты, товарищи Кирилла, Ясинский и Барабаш, пили за столом с усатым, как Бульба, помещиком Костюшей. Батарея пустых бутылок строилась под столом. Посоловевшие глаза, заплетающиеся языки обнаруживали высокий градус. Мальчишки, братья Серафимы, будущие инженеры, клевали носом в углах покойных диванов. Рояль звучал все глуше, и ленивее бегали пальцы тапера. В окна уже глядела лимонная полоса, предшественница бледной поздней зари.

Елена и Владимир об руку ушли в сад и больше не появлялись...

«Ну вот, приехал на два дня — и раскис, — размышлял Андрей. — К чорту! Хорошо, что завтра конец этой сентиментальной интермедии, пойдем опять кружиться по тылам нашего бесславного фронта».

В сущности было бы остроумнее уехать сейчас же. Все эти дни здесь, кроме Серафимы, не с кем будет говорить. Этот болван, Кирилл, друг его детства, пьян, как сапожник. Стоило добиваться три года руки любимой девушки, чтобы уже накануне собственной свадьбы нализаться до потери чувств. Невеста ходит по комнатам с улыбкой стеснения и, кажется, молит взорами, чтобы никто не спрашивал, где пропадает ее муж...

В угловой — мертвецкая. На кроватях вдоль стен,

предводимые Кириллом, лежат тела упившихся, и несчастные девушки, вызванные в барский дом из деревни, один за другим уносят противные тазы... Нет, туда итти он не намерен, хотя, едучи на фронт, он хотел рассказать Кириллу многое.

Он ехал сюда отдохнуть, развлечься. Для того и существуют помещичьи свадьбы.

Сначала все так и шло.

Всю дорогу от станции его развлекал кучер. Когда Андрей подошел к его бричке, он увидел стоявшего за облучком детину, заросшего, косматого, настоящего лесовика. Он согласился везти Андрея к Трегубенкам. Но когда Андрей спросил у него цену, он вдруг на глазах провалился за облучок. Взамен лесовика в прорези брички смеялся крохотный человечек, широкие плечи которого прятались за сиденьем. Смотреть на него теперь надо было сверху вниз. Андрею захотелось даже протереть глаза.. Извозчик торговался и рос, ширился, опять превращаясь в лесовика. Андрей не выдержал и обошел бричку кругом. Тайна разъяснилась. У лесовика одна нога была здоровая, другая маленькая и согнутая Должно быть, ему нравилось смущать людей, и он сам долго смеялся в бороду, полыхая круглыми совиными глазами

Всю дорогу возница вел разговоры. Рассказывал об окрестных помещиках и их усадьбах, о графе, которому принадлежала, «почитай вся округа» и который «ходил у царя в министрах», о Трегубенке, отец которого пахал землю, — а у сына полторы тысячи десятин и два завода.

— Ганских господ в трубу скрутил. А какие господа были! И дом их забрал, и небель, и коней. А на улице у нас Трегубенке прозвище: Беспузый Потому много жрет, а сухой, господского жиру нету Пойди спроси на улице — Трегубенку не знают, а Беспузого враз укажут

Березовые леса стояли малорослые, густые, как заросли на старинном кладбище. В сторону от дороги не податься от сухого и перегнившего валежника.

Через те леса, через Брынские,
Через черные грязи Смоленские
У того креста, у Леванидова,
У той речки Смородиновки...—

читалось почему-то Андрею.

— А ночью тут не ходи, — краем рта ронял назад возница, склоняя шершавое лицо к самому уху Андрея.

— А что? Шалят? — машинально щупал застежку кобуры Андрей.

— Дизиртир ходит. Ажно до Десны лесом тут... И так, вольный народ бывает...

Потом он притаенным шопотом принялся рассказывать, как будто боялся, чтобы не подслушал кто в лесу, о том, как его родной брат, что в солдатах был, видел в этих самых лесах лешего. Он сидел на пне и чистил хвост острыми когтями. А на лбу — один белый рог.

Возница слез с облучка и с неожиданной ловкостью побежал у самой брички, держась за край сиденья и сильно припадая... Он бежал, как мальчик с шестом для прыжков, невероятно подскакивал, так что лицо его поднималось вплотную к лицу Андрея, — он пучил тогда глаза, — и сейчас же, уже где-то внизу, смеялся своей забаве.

— Я сильной! — говорил он, показывая могучие мужичьи ручищи. — Задавлю враз! — и опять смеялся. — Я бы на войне первой был. А парни говорят — тебе ногу спаситель послал, без самострела дома сидишь. А я бы его враз!.. — Он хватал воздух крепким загибом пальцев, как чью-то хрупкую шею...

У Трегубенков, когда приехал Андрей, спали. Деревянный дом многооконной глыбой стоял на голом дворе за высоким частоколом. За домом безуспешно пытался спрятаться старый, желтеющий парк. В кухне четыре бабы в такт месили тесто с такой силой, что качались, постукивая об пол, тяжкие дубовые скамьи.

— Ну, значит, свадьба здесь! — вслух сказал Андрей, и бабы засмеялись, утирая пот на лбу о голое плечо.

Хозяйка вышла на смех из комнаты, обняла, поцело-

вала сухими узкими губками и, почему-то извиняясь, повела в гостиную.

— А где Кирилл?

— Да тут, по соседству, а только...

— А Серафима?

— Она встает.

Серафиму Андрей знал по Киеву. Славная, густокосая девушка с серыми глазами и розовыми щеками. Они встречались редко, но Кирилл убедил обоих, что они должны сразу стать друзьями.

— Так Кирилл, значит, там один? Я пройду к нему...

Хозяйка хотела было воспрепятствовать, но махнула рукой.

Кирилл уже был готов. Он лежал на самой дальней кровати в компании Барабаша, Ясинского, Лубяка, и нельзя было понять, кто из них трезвее...

Потом жениха окатывали холодной водой в бане, пока дом принимал гостей. Гости, с картонками, саквояжами, сумками, размещались в гостиной, в зале, в угловых, в комнате сестры Серафимы, Варвары, в детских, в классной комнате мальчиков. Кто-то завел у открытого окна граммофон, и он трубил модные полковые марши в пустое поле до самого вечера, доводя до одурения...

Приезжие помещики с утра играли в карты, в преферанс, шестьдесят шест «с шубой», в подкидного...

За обедом все выпили. Серафима, Андрей, Владимир Тарновский, пехотный поручик, отбывавший здесь отдых после ранения, подруги Серафимы, студенты ходили по деревне, к церкви, к винному заводу Трегубенки. Барабаш, маленький, круглый, сначала доказывал компании, что он может пройти по одной доске, а потом, ободренный успехом, полез на крышу церкви, чтобы посмотреть, какой оттуда вид, но на полдороге сорвался с лестницы и шлепнулся в траву. Кирилла тоже заинтересовал вид, но его, как жениха, на крышу не пустили. Андрей взобрался по внутренней лестнице на колокольню и на пари, на бутылку коньяка,

которого он не терпел, под визг девушек обошел круг по подоконнику звонарни, держась за длинные створчатые ставни. Потом жгли факелы в парке, пускали у пруда отсырелые, безбожно трещавшие ракеты, катались верхом на свиньях, огромных иоркширах, вырвавшихся из свинарника, подпаивали петухов и гусей.

Все шло, как на всех помещичьих свадьбах. В церкви перед гостями ходили ходуном свечи, лики святых вытягивались и строили глазки, а лица знакомых плыли в жарком дыхании толпы.

А потом в доме, благословив молодых, Иван Терентьевич сказал студентам и Андрею:

— Приедет барыня Ганская с дочкой. Они хоть и рваненькие теперь, а все же настоящие господа. Хорошо бы, чтобы им тут скучно не стало... В этом доме все и родились. А барышенька образованная. Языки, и музыке, там, обучалась... Я за ними коляску послал, хоть и близко...

Серафима стояла в углу большой гостиной, взволнованная, принимала поздравления и шептала Андрею:

— Я очень люблю Елену. Ты обязательно познакомься.

— Кто же они такие?

— Местные помещики. Раньше все это их было. Отец промотал. Гусарский полковник... Братья у нее... один во флоте, другой в армии. Из гвардии ушел, когда папа это имение купил. А мать с дочерью живут на хуторе версты полторы отсюда. Там прежде пасечник жил. Не хутор даже, а так, домик и десятин пять земли. Живут на то, что братья от жалования уделяют...

Андрей увидел высокую девушку в черном, пошел к ней навстречу, пожал руку и быстро вышел из зала. Он еще не рассмотрел ее как следует, как волна острого любопытства уже лишила его спокойствия. Если бы эта девушка встретилась ему на улице города, он пошел бы за нею, если бы она прошла мимо него на вокзале, он взял бы билет на тот же поезд. Если бы она мелькнула в окне пробегающего вагона, неуловн-

мая и неизвестная, он испытал бы боль истинного несчастья. Не хотелось думать, — красива ли она, есть ли у нее недостатки. Ее хотелось безотчетно принять и закрепить память о ней для дней на фронте.

Больше в этот вечер он никого не смешил, не развлекал и за ужином, сидя рядом с Еленой, молчал, усиленно рассматривая кусок шитья на скатерти. Серафима через стол делала изумленное лицо. Лучше было уйти совсем, чтобы не бросалась в глаза внезапная перемена в настроении.

Старуха Ганская сидела с Иваном Терентьевичем. Табакерка прыгала в ее сухих пальцах. Она рассматривала гостей, по очереди и, видимо, с пристрастием провинциальной, скучающей дамы. Тарновский не отходил от Елены. Андрей ушел в кабинет к преферансистам и в открытую дверь наблюдал за залом. Он избегал теперь танцовать, старался не показываться на глаза. Долго ходил в парке с Варварой, малоприметной черненькой девушкой. Варвара ровно и обстоятельно рассказывала о Киеве, о своих подругах по курсам и время от времени удивлялась, почему не покидает ее собеседник. Она не была избалована вниманием.

Иван Терентьевич каждые полчаса бегал в погребок при кухне, где у него в углу под соломой аккуратным веером лежали бутылки отборного коньяка.

— Поставщик один военный привез. Я ему, правда, дело обстряпал. А он мне — ящичек. И где достал, бестия! Разодолжил, подлец. Пьешь, — оторваться трудно.

Он приносил по бутылочке, ловил кого-нибудь из гостей и усаживал в углу за лакированным шахматным столиком. Здесь уже стоял лимон в деревянной чашке и блюдечко с сахаром.

— Как кто любит, — приговаривал Иван Терентьевич, — кто с перцем, кто с инберцем, а кто с лимонной корочкой...

Старик был седой, но крепкий. Правый глаз его все время хитрил, а левый насквозь просвечивал собеседника прямым, немигающим лучом. Он был одет в длин-

ный сюртук, из заднего кармана висели концы красного с горошинами платка, которым могла бы окутать голову сидевшая рядом в кресле дебелая попадья. Когда не с кем было пить, Трегубенко пил с ее мужем, толстым, благодушным священником.

Старику понравился Андрей. Он повествовал офицеру, как завоевал свое богатство, как после войны он закупит часть графского леса на сруб — все строевая сосна — и спустит вниз по Днепру, как прижмет соседей-помещиков, которые до сих пор думают, что земля это несчастье, что капитал должен бежать в город.

— Я им покажу черниговскую Америку!

Америка было любимое его слово.

— Вы, повидимому, много читали об Америке? — спросил Андрей.

Старик повел Андрея в кабинет. На ковре посредине комнаты был расставлен ломберный стол. Здесь винтили при свечах. На стене, распластавшись под стеклом, летела кровная скаковая лошадь. Мясная корова с выменем до земли была разграфлена на части, напоминая карту штатов Северной Америки. В шведском шкафу Трегубенко нашел пачку брошюр, частью на русском, частью на английском языке.

— Вот, дочка переводит. Не зря деньги брошены!

Он показал Андрею брошюры по различным отраслям животноводства, об удобрении, о полевых машинах.

— Все по-американски. Заводик спиртовой видели? Тоже как в Америке. На гнилой картошке, на шелухе, на отбросах. Вот, ваше благородие, — из мусора деньги делаем! Ничего не пропадает.

— А почему у завода военная охрана?

— Ну, как же? Взят правительством на военные нужды. Мне самому две четверти спирта в неделю гонят. А так, ни-ни, ни мерзавчика! Плохо чистят, подлецы, — сивухой так и разит... Что ж, людей берут, лошадей берут на оборону. Ну, и заводы берут, все берут.

— Вы много теряете на этом?

— Теряю? С какой радости. Платят, конечно...

И без хлопот... И деньги хорошие. Сам бы таких не имел... и не спросил бы. Хороший интендант был. Ну, я ему закусон, шампанское, грибков... Дело в шляпе. Это, знаешь, что бога гневить. Грех, конечно, сказать, а война деньги делает. Бо-ольшие деньги!..

Андрею вспомнился земгусар под Барановичами.

— А откуда деньги? — сухо спросил он.

— То есть как откуда? — плохо соображал подвыпивший старик. — Деньги без пометки. Где побывали — книгу писать можно. Кажется, написал даже один... Господин Гребенка, что ли? В молодости читал, — занятно...

— Вы приобрели деньги, значит, кто-то их потерял. Кто же потерял эти миллиарды? Ведь и на других заводах очевидно те же порядки...

— А ты не думай, друг! Деньги на дело пойдут. После войны оживет страна. Сколько денег у народа будет. Вот вы, небось, какое жалованье загоняете. А полковники ваши: суточные да подкормочные, на лошадей да на фураж, все офицерские жены копят. Сколько капиталистов будет. А фабриканты. Эти ротами в миллионеры лезут. Вот кому лафа. Капитал теперь в такой оборот пущен, что даже страшно становится. А кто потеряет? Да никто, думаю... Ну, вот с этих немцев проклятущих контрибуцию возьмем, пусть, сволочи, жестокостями не занимаются. И вам перепадет, — подмигнул он глазом. — На оккупации-то небось пышных девочек пощупаешь!

Андрей выбежал из комнаты. «Фабриканты в миллионеры, солдаты в инвалиды. Что же это за чортова карусель!» Он промчался по аллее сада и сразу пошел спать. Твердо решил уехать утром.

Но в постели мысли вернулись к Елене. Еще ближе стала девушка из разоренной семьи.

Он повернулся на другой бок и зевнул в сладостном предчувствии встречи.

На другой день все встали к обеду. Опять долго ели, пили, строили под столами ряды пустых бутылок, рассказывали анекдоты, а вечером танцовали.

И опять сквозь освещенное окно видел Андрей меховую накидку и высокую прическу Елены. Владимира нет. Елена часто одна. Большинство гостей пьяны — им не до дам. Но когда девушка делает вид, что хочет уйти, — кто-либо из хозяев удерживает ее.

— Что вы, Елена Павловна, что вы, голубушка? Кто же со свадьбы вечером уходит? Сегодня уж последний день. Посидите с нами, голубушка.

Девушка, наклоняя голову, проплывала в вальсе мимо, грустные глаза, — как хорошо, что грустные, — глядели из дальних углов, но Андрей крепился. Только поздней ночью, когда никто, повидимому, не собирался проводить Елену, он подошел к ней и спросил:

— Может быть вы позволите мне проводить вас домой? — а сам думал: «А что если Владимир ждет ее где-нибудь на улице или же у ее дома».

— Пожалуйста. Правду сказать, я немного трушу. Тут в деревне собаки такие злые, да и парни иногда задевают. Я даже думала дождаться утра...

Андрей взял ее под руку, и они пошли в темноту деревенской ночи.

Андрей опять трудно молчал и думал о том, что завтра во что бы то ни стало нужно ехать на фронт. Опять Минск, переполненный сестрами, тыловыми офицерами. Больной и пьяный прифронтовый город. Огромная гостиница — кабак. Опять набитые серыми шинелями эшелоны пополнений. Дальше — открытое солнцу и вражеским аэропланам Молодечно, и опять надоевшие грязные халупы, палатки, в которых не выпрямиться, пьянство и картеж. Образы, мелькнувшие перед глазами за эти дни, будут остро ранить воображение, вспаивая ненависть к будням войны. А эта девушка, которая идет рядом, она вся из мирной, уютной и радостной жизни. Задумчивая, приветливая, с длинными пальцами, с копной мягких душистых волос.

Так шли молча, каждый занятый своей думой.

«А о чем думает она? — спохватился Андрей. И сам себе ответил: — конечно, о Владимире». А впрочем, может быть и о нем самом. Ведь она же вовсе не знает

его, Андрея, ни его недостатков, ни его достоинств. Но что может она думать? Случайный молодой офицер с фронта, каких немало в конце второго года войны бродит по всей России. Вчерашние студенты, техники, просто молодые оболтусы, маменькины сынки. Сегодня они надели хромовые сапоги, нацепили погоны, звездочки, кокарды. Сегодня они щелкают шпорами, рисуясь, звенят аксельбантами, завтра на фронте, в грязи, в окопах — квалифицированное пушечное мясо, послезавтра в лазарете или с развороченной головой во рву.

— Вы уезжаете завтра? — вдруг спросила Елена.

— Да. А откуда вы знаете?

— Мне сказала Серафима и Варвара. Вас здесь очень любят.

— И это они вам сказали?

— Да. И многое другое и все хорошее... Вы должны быть довольны.

Разговор явно не складывался.

— Но почему обо мне говорили с вами? Разве вас это интересовало? — И про себя: «Господи, как это неудачно! Уж лучше о погоде...»

— Говорили... вообще о знакомых. Как обычно... Мы живем так скучно, так одиноко и невзрачно... Ну, может быть не все, — я по крайней мере. Каждый новый человек здесь — событие. Ну, вот мы к каждому приезжему и приглядываемся. Вот отшумела свадьба, гости уедут, и тут станет очень скучно, пусто и холодно. — Ее плечи вздрогнули, и Андрею показалось, что она крепче прижалась к нему.

— А я почему-то убежден, что вы не будете одинокой. Такие, как вы, не бывают одинокими. — Восторг прорвался в словах, и говорить стало легче... Девушка благодарно улыбнулась. — К тому же вы, кажется, собираетесь переехать в Чернигов.

— А вы откуда знаете?

— У нас с вами один источник... Но, должен сознаться, я сам расспрашивал Серафиму о вас. — Девушка смотрела в сторону. — Вы даже представить

себе не можете, как тоскливо возвращаться на фронт, — продолжал Андрей.

Теперь уже энергично, с подъемом он стал рассказывать о прифронтовом быте, который давно уже был ненавистен ему. Он находил удачные слова, меткие образы. На расстоянии силуэты людей в зеленом и сером, с однообразными мыслями и желаниями, становились отчетливее, и холодом веяло от этих рассказов о мертвых душах, поставленных в ряды и одетых в одежду смерти.

— Знаете, Елена Павловна, ведь на всем фронте, вероятно, не больше двух-трех тысяч затрепанных, загрязненных, купленных на вокзалах книг. Эти книги переходят из рук в руки, и все это — Фонвизины, Нагродские, Лаппо-Данилевские. Их читают даже те из офицеров, которые знали лучшие дни, недавние студенты, молодые учителя. Чтобы забыться, чтобы обмануть себя... Все примирились, подравнялись под походную казарму, под правила барака или окопа, отпустили бороды, запустили мозги, произвели над собой кастрацию воли, — ибо воли нет сейчас у всей российской армии. Иные ждут, что совершится что-нибудь на фронте у союзников или же здесь внутри страны, иные все еще надеются, что армия каким-то чудом станет вооруженной и боеспособной и опять пойдет на Берлин. А до тех пор каждый предпочитает замкнуться в себе. Боевого товарищества нет. Все отошли друг от друга. Друг другу не доверяют. Самые способные и яркие становятся ничем не лучше тех, кто искренно увлекается игрой в карты и флиртом с сестрами...

Неровная, расшатанная бурями аллея привела к слюманной калитке, утонувшей в кустах боярышника. Они сели на крыльце. В двух покосившихся в одну сторону окнах домика чуть повыше, посветлее деревенских изб, было темно. Андрей сел на ступеньку ниже Елены. Она внимательно слушала возбужденную речь Андрея, опустив лицо на ладони.

Ее глаз не было видно, но Андрей внезапно понял, ощутил, что она вся присутствует здесь, с ним. Тогда

он взял ее руку, и она спокойно и безропотно легла в его широких ладонях.

— Когда вырываешься из этого ада, — шептал теперь Андрей, — здесь все кажется необыкновенным. Ваша скука — для нас уют. Ваша бедность — для нас ослепительная чистота. А такую, как вы, не забудешь месяцы и годы... хотя бы и чужую и непомнящую...

— Нет, я не забуду... — пальцы ее прижались к его ладоням. Они сидели молча, потому что слова уже были необязательны.

Кончалась ночь беззвучная, овеянная сентябрьской прохладой. Серело небо, выходили из тени растрескавшиеся колонны дощатого крыльца, низкая пристройка и даже отдельные кусты зеленой живой ограды.

— Ну, милый, надо итти мне. Скоро будет светло. И потом... увидят, бог знает, чего наговорят. Здесь у меня друзья — только малыши в школе, где я иногда помогаю учительнице.

Андрей, застигнутый врасплох, не нашедший в себе каких-то необходимых завершительных слов, так и не понявший, что же толкнуло к нему Елену, поднялся, еще раз поцеловал ее руки и ушел, громыхая саблей.

— Боже, какой идиот, какой безнадежный идиот! — говорил он сам себе уже на дороге.

Он был весь развинчен, и то хотелось ему броситься назад и постучать в окно Елены, где засветился огонек, то хотелось скорей бежать отсюда на фронт, где властвуют будни войны, чтобы выйти из-под очарования этого порыва, этой случайной встречи, в которой ему самому еще не удалось разобраться...

Рано на рассвете уехал Андрей на фронт, даже не успев переговорить об Елене с Серафимой. Подали лошадей, и кучер постучал кнутовищем в окно. Не было еще шести часов. Но поезд шел в десять, и когда Андрей и Ясинский, невыспавшиеся, все еще в послесвадебном угаре, проезжали через деревню, спал на холме помещичий дом, были темны окна Ганских.

Колеса вагона укачивали мысль об Елене. Как хорошо думалось Андрею среди чужих. Этой мыслью о

любимой девушке можно было защититься от всего мира. Любовь как электрическая волна в фантастическом романе, которая обегает границу страны, создавая непроницаемую зону.

Но от железнодорожных беспорядков не спасли даже мысли об Елене. Поезд почему-то шел только до Минска. Разумеется, поезд на Молодечно уже успел уйти. Нужно было искать место для ночлега в негостеприимной столице западного фронта.

Андрей шел по Соборной. Фланирующие толпы офицеров, врачей, сестер и санитаров. Писаря отдавали честь, подтягиваясь, как на параде. У городского сада нельзя было протолкнуться. Кто-то взял за рукав.

Малаховский глядел приветливо. Готов был обнять, оцарапать седой щетиной. Высокая женщина в синей жакетке и в шляпке с вуалью улыбалась навстречу. Подавая руку, не сказала ни слова, не назвала никакой фамилии.

В толпе оба взяли девушку под руки. Девушка шла, покачиваясь, крепко задевая крутыми бедрами Андрея, шуршала шелком белья. Она посматривала на него бегучими взглядами каждый раз, когда полковник глядел в сторону. Потом она прижала его руку к груди. Близость податливой женщины волновала. Но мысли об Елене делали теперь это естественное волнение неприятным, как будто кто-то посторонний затевал игру нарочно, чтобы уронить его чувство. Андрей отпустил руку девушки и перешел на сторону полковника. Теперь полковник исподтишка кивал ему глазами на девушку. В кафе он шепнул:

— Обратите внимание — родная племянница Сухомлинова. У нее родители — помещики из-под Вильно. А теперь имение фьють! и она осталась на бобах...

— А дядюшка что же?

— Они не в ладах. Даже, кажется, на политической почве... Правда, замечательно?

— Вы давно с ней знакомы?

— Сегодня вторая ночь... Вы где ночуете?

— Не знаю, кажется, на вокзале придется.

— Я вас устрою. Я ведь знаю Минск, как свой карман.

Гостиница имела вид странный. Дом был одноэтажный, низкий, под толем, с глиняными стенами. Он расползался по голому двору, как большой распластанный краб. Когда-то здесь жила разбухшая еврейская семья, и пристройки создавались по мере роста семейных образований, лепившихся десятилетиями вокруг основной дедовской семьи. Но война распорядилась домом по-своему. Она сделала его меблирашками, проходной гостиницей, и уже нельзя было разобрать, кто здесь пришлый, кто свой, старожил. Часть большой семьи выселила полиция, очищавшая прифронтовую полосу от «подозрительных элементов», часть ушла на восток сама, подальше от опасных мест и поближе к сытным поставщическим делам и оборотам. Здесь жили две сестры милосердия, интендант и штабной священник, а в крайних комнатах обитали женщины, сдававшие углы и обеды открыто, а любовь тайком всем желающим. Многие комнаты были проходными. Строители находили, повидимому, излишним расходовать материал на коридоры. Люди мешали друг другу. Старики-домоседы изливали накопленную за день сварливость на соседей, отчего дом с утра до вечера жил возбужденными голосами. Но молодежь, чувствуя себя на бивуаке, спокойно проходила в свой угол мимо внезапно оживающих ночью семейных кроватей и сравнительно сдержанно ругалась, когда на пути в кухню или уборную в темноте попадал под ноги сапог со шпорой или смятая женская туфля.

«Племянница Сухомлинова» жила в большой полутемной, в одно окно, комнате вдвоем с молоденькой еврейкой, которой можно было дать лет двадцать пять, а на самом деле было девятнадцать. Социальное неравенство било в глаза. Кровать племянницы министра стояла у окна за складной камышевой ширмой, сильно просвечивающей от ветхости шелковой обивки. Здесь же стояли развалистое, — должно быть часто сидели на его ручках, — кресло раковиной и жестяной умы-

вальник, а на стенах, под победным знаком алого китайского веера изящно группировались открытки в количестве, достойном витрины газетного киоска. Соседкина кровать стояла одиноко, на виду, у голой стены, и выполняла самые различные функции.

— Мы и вас устроим, — сказала, вводя офицера к себе, племянница министра, которую соседи фамильярно звали Маруськой.

Соседка Маруськи, Фанни, шла по пятам и скромно сказала:

— Я пока еще свободна. — И, смотря уже на Андрея, прибавила: — У меня чисто. — Она подошла к своей кровати и откинула угол одеяла, под которым в полумраке показалась полоса белой простыни.

— А нет ли отдельной комнаты? — спросил Андрей.

— У Зуктерши есть, — сказала равнодушно Фанни.— Она сама переселяется к дочке... Только тогда надо платить пять рублей.

Зуктерша, не говоря ни слова, взяла с кровати в охапку перину в пятнах, как будто ее часто поливали тараканьей жидкостью, и груду лоскутных одеял и, волоча одну ногу, с которой спадала туфля со сбитым в блин задником, немедленно перекочевала к дочери, а Андрей остался один в сравнительно чистой комнате, в которой стояли летняя соломенная мебель, стол, этажерка и диванчик, обитые линялым зеленым плюшем.

Андрей решил лечь и приняться за купленный на вокзале роман, но в комнату сейчас же вошел Малаховский.

— А вы лежите, лежите. Я посижу, пока Мария Павловна умывается и ставит самовар. Приходите чай пить с вареньем. Я всегда здесь останавливаюсь, то есть второй раз, — поправился он. — У нее, знаете... — он пригнулся к уху Андрея и сообщил несколько подробностей о своей приятельнице. — А эта Фанни, вот чудачка...

— А что нового в дивизионе? — перебил Андрей.

— У нас? Да ничего. Вы из-под Барановичей уехали? После этого нас несколько раз перебрасывали. И те-

перь мы опять под Сморгонью, недавно, около месяца... Да вот нашего Ивана Ивановича Дуба убили. Не слышали? Ну, как же. Он перевелся по личному желанию в легкую батарею на юго-западный фронт, и там ему на наблюдательном в Карпатах, под Надворной, пуля попала прямо в лоб. У нас под Барановичами ранило троих. У Скальского в первой батарее двоих солдат загнали на каторгу.

— За что?

— А за переписку. Армейская цензура перехватила письма. Они все писали, что войну надо кончать и итти миром по домам... с оружием. Вот ведь сволота! Кто бы подумал... и, говорят, тихие солдаты были. Ну, что еще? Командира в генералы до сих пор не производят. Да, Кольцов-то теперь — капитан. А я, вот видите, полковник. — Он потрогал пальцем широкий погон с двумя просветами.

— Поздравляю, — сказал Андрей.

— Да не с чем... Старшинство у меня огромное. Я и дивизион получу раньше Соловина. Брат обещал содействовать. Но на обещания даже денатурату не купишь, а напоминать не люблю. Знаете что, Мартыныч, пойдем к интенданту, там компашка собралась, должно быть, резаться будут.

Малаховский был настойчив. Андрей решил, что проще всего натянуть сапоги и сходить, а потом ретироваться во-свояси.

В проходной комнате у окна стояла Фанни, прилежно и раздумчиво расчищая нос пальцем. Она спросила Андрея, не отходя от окна:

— Мне что же, туда к вам притти? С вечера, или когда?

— Зачем? — спросил Андрей.

— А кто же придет?

— Я спать один люблю, — засмеялся Андрей и взял девушку за подбородок. — Я — монах.

Девушка равнодушно пожала плечами.

— Тогда сразу бы сказали. Ведь уже не рано... — Она торопливо принялась одеваться.

За дверью интендантской комнаты стройно бренчали гитары и балалайки. Комендант сделал приглашительный знак медиатором и указал Андрею на свободный угол кушетки, под начищенным корнет-а-пистоном, который висел на ковре рядом с перекрещенными клинками и охотничьим ружьем. Пять офицеров хором старательно гремели какой-то марш. А на зеленом ковре посредине комнаты носилась гибкая девичья фигурка, лишенная каких бы то ни было покровов, кроме белого гребня в стриженных волосах. На спинке стула лежал ватный халатик и рядом стояли пушистые туфельки. Девушка держала в руках турецкую саблю и ловко сверкала в воздухе кривым клинком. Потом она вдруг сразмаху села на ковер и, перехватив худыми руками ноги под коленями, с необыкновенной ловкостью закружилась юлой. Волосы ее развевались, глаза горели, как у мечущегося зверька. Офицеры, побросав балалайки, хлопали в ладоши. Тогда девушка подошла к кушетке и, не глядя, села на колени к полному лысеющему саперу, как если бы это был табурет. Сапер обнял девушку, пробираясь рукою к крошечной, совсем мальчишьей груди, но получил одновременно звонкую пощечину и удар по рукам. Девушка сейчас же перебралась на колени к соседу.

— Это что же такое? — спросил Андрей Малаховского.

— Нравится?

— Чему же тут нравиться? Ведь это ребенок.

— Это Галька Косинская. Ее весь Минск знает. Ей восемнадцатый год. Она в гости голой ходит. Ее всюду приглашают... И знаете, — зашептал он Андрею, — до сих пор девушка. Это все знают. За десять рублей можете удостовериться. А так — троньте — искусает и исцарапает. На пари пытались ее изнасиловать, — не вышло. Пьет она только нарзан. Ест — после того, как другие попробуют. Бережет свою... Говорят, ее родители еще в четырнадцатом году бежали из Кельц. Лошадь пала. А тут австрийские драгуны. Они вещи бросили — и бежать. Девушка успела перебежать через

мост, за которым залег наш пикет, а старики не успели. Девушка видела, как австриец хватил отца шашкой. Мать на дорогу повалилась. А девушку казаки увезли. Вот и болтается по тылам. Нашла себе специальность и зарабатывает. А, пожалуй, все же лучше, чем проституцией заниматься. Как вы думаете?

Андрей с тоской смотрел на девушку, которая, положив голову на плечо офицера, думала о чем-то своем.

Офицеры сели играть за столом, на котором был рассыпан табак и коробки гильз Катыка стояли рядом с машинкой для игры в железку.

— Я с тобой в половину, старичок! — сказала девушка Малаховскому.

Полковник не то обрадованно, не то смущенно засуетился.

— Так ты перебирайся ко мне. — Он похлопал себя по коленям.

— Только ты бородой не колись, — просила, усаживаясь, Галина.

— Прапорщик, уходить будете, в Галькину пользу пятерку не забудьте... — сказал интендант. — Такой уж у нас обычай.

В половине восьмого Фанни просунула лицо в дверь:

— Полковник просил вас к себе.

Андрей натягивал сапоги, зевая и досадуя.

— Я бы сам к вам зашел, — говорил, смущаясь, Малаховский, — но не в чем выйти. Кто-то ночью утащил мои галифе... с кошельком. Почти двести пятьдесят рублей.

— Может быть где-нибудь забыли?

— Кошелек еще туда-сюда... А штаны? Все утро искали и у интенданта и тут...

— А Маруська где?

— Ушла... рассердилась... Я ее спросил, не она ли куда-нибудь девала. Вежливо. Ничего такого... так она взъелась, — чуть китель на мне не разорвала... Так вот я хочу вас просить: пошлите своего ординарца с запиской, чтобы вестовой мой, Петр, выехал в Минск с костюмом и деньгами. Пусть у казначея возьмет.

Я вас очень прошу. Телеграфировать как-то неудобно...

Полковник невесело глядел в окно, сидя в кресле и укутав ноги одеялом.

Андрей отправился на вокзал.

IX

СУДЬБА-ЗЛОДЕЙКА

Андрей скакал с ординарцем от Молодечно к позициям. Армия широко разъездила дорогу. Колеи, переплетаясь и сливаясь, разбежались по желтому песку, как рельсы на узловой станции. Обозы, скрипя, тянули к фронту муку, фураж, патроны, снаряды.

В небе шли черные аэропланы. Зенитные пушки убирали небо кудряшками высоких, медленно тающих разрывов. Обозники осторожно посматривали в небо и дергали поводья, когда поблизости резал воздух падающий стакан или шрапнельная трубка.

Посредине дороги стоял воз. Лошадь опустила голову и не шевелилась. На возу широкозадая баба в голубом ситцевом платье и в бордовом платке шелушила семечки. Под возом на земле прямо под бабой сидел обозник, явно устрашенный зловещим воем стальных осколков и пуль.

— Скотина! — подскакал к возу казачий офицер. — Под бабу прячешься? Вылезай немедля!

Солдат выполз из-под воза, забыв перед новой опасностью старую.

— Встать, как следует! — заорал офицер.

Солдат вытянулся в верстовой столб.

— Трус, мерзавец! — свирепел офицер. — Мундир мараешь! — Он хлестнул солдата нагайкой через плечо.

Солдат взвыл.

— Ты еще воешь? Убью прохвоста!

Баба на возу перестала щелкать семечки и внезапно громко заголосила.

— Какого полка, скотина?

Солдат сказал.

— Доложи командиру, за что тебе влетело.

— Видали? — сказал он подъехавшему рысью Андрею.

— Вижу, — крикнул взбешенный Андрей. — Человека избиваете!

— А вы знаете, прапорщик, — повернулся в седле хорунжий, — что по уставу российской армии я мог не избить, а убить труса. А вас притянуть к ответу за вмешательство.

— Может быть вы не откажете сообщить вашу часть и фамилию, чтобы соответствующие инстанции...

— Плевать я хотел на ваши инстанции! — хлестнул коня казак.

— Трус! — крикнул Андрей.

Воз с солдатом и бабой катился рысью у самой обочины поля.

Аэропланы шли уже от Молодечно, должно быть, освободившись от запаса бомб. Надрываясь, лаяли кругом зенитки.

Нога Андрея продолжала вздрагивать в стремени. Он скакал, откинув голову назад, глядя, как мертвыми петлями выходят черные птички из готовых сомкнуться разрывов.

Таубе уходили быстро. Только один аэроплан кружил, снижаясь, словно присматривался к цели, для которой у него еще оставались бомбы.

Все батареи у Полочан переносили огонь с уходивших аэропланов на бесстрашного хищника. Барашки взрывов так близко подлетали к пилоту, что он вынужден был взвиться на значительную высоту. Разрывы последовали за ним. Кувыркнувшись мертвой петлей, таубе пошел на юго-запад, как будто оставлял район Полочан. Он вышел уже из того участка неба, который весь был разрисован дымками, но на его пути уже встал первый снаряд новой батареи, к району которой он приближался. Дымки разрывов один за другим мчались навстречу.

Андрей силился представить себе, что переживает летчик. Видит ли он разрывы? Как далеко они от

него на самом деле? Что, если снаряд оторвет ему крыло или хвост?!

— Ой, ваше благородие, — крикнул ординарец, — глядите!

Аэроплана не было... Белый клубок дыма раздвоился. Одно облачко таяло на месте, где только что был самолет, другое стремительно неслось в сторону.

— Попали! — крикнул какой-то конник и помчался по полю, словно твердо знал, куда упадет разбитая машина.

В воздухе взвизгнуло какое-то неуклюжее тело и прошло за ближний перелесок.

Люди с дороги мчались через поле, бросая возы и двуколки.

Все бежали, скакали так уверенно, что и Андрей помчался вместе с другими к роще, перескочив через дренаж.

Далеко, за полтора-два километра от дороги, у мелкой межи, покрытой щетиной давно скошенной ржи, лежал летчик в сплошном кожаном костюме. Кто-то, стоя на коленях, снимал с него шлем.

Летчик тихо, тихо стонал. Изо рта текла струйка черной крови.

— Глаза открывает, — сказал шопотом солдат, оборачиваясь к подбегавшим.

Из деревни бежали санитары в белых передниках.

Тело хрупко сломилось в руках, как ненастоящее.

— Мешок с костями, — сказал санитар, опуская голову немца. Кровь больше не текла. Глаза глядели круглыми мутными стекляшками.

Старый солдат снял шапку и перекрестился.

— Помер, — поднялся от покойника высокий унтер, с крестом на повязке, должно быть, фельдшер.

— Так кончают все, кто играет с воздушной стихией, — сказал офицер с погонами воздухоплавательной роты.

— Ну, на колбасе можно в карты играть, — презрительно заметил пехотный поручик.

— Много вы понимаете! — почернел от злости колбасник и отошел в сторону.

— Это вы зря, — сказал пехотный офицер постарше.

— Да ведь наши колбасы совсем теперь ушли в тыл. Километров за двенадцать болтаются. Что они там видят — одному Аллаху известно.

— А как их аэропланы жгут, вы слышали? Я на днях вот сам видел... еду мимо колбасы — вдруг рожок, такой тревожный, тревожный, и все солдаты к лебедке. Лебедка скрипит. А колбаса идет к земле так, что даже незаметно. Из корзины видно — двое руками машут. А он уже здесь. Шпарят по нем из винтовок. А он промелькнул над колбасой и — вверх. Так, я вам скажу, колбаса, как большой примус, вспыхнула. Только облако пыли пошло да дождь какой-то дряни посыпался... Жуткая штука! Ни людей, ни корзины, ничего. Плывет пламя в воздухе по ветру, потом дымом обернулось и рассеялось. Что ж, рассчитайте! Если такой истребитель идет двести сорок километров в час, — в минуту, значит, четыре километра. Если он поднимется за линией окопов в десяти километрах, и до колбасы еще десять километров. Ну, вот ему и нужно на весь полет пять минут. Идет он над самой землей — издали его и не видно. Зенитке и не приготовиться! Так он, подлец, наверняка идет. Нет, нашим, я считаю, надо снять все колбасы, как одну. Ни к чему! Против техники — надо технику. А с голым брюхом против машины не пойдешь.

— Потом мне говорили, парашют в корзине один, а людей двое: колбасник и артиллерист. Если что, так хоть дерись из-за парашюта, — сказал вдруг поручик.

— Ну, вот видите, а вы говорите...

— Потому говорю, что хуже пехоты все равно нигде нет...

В парке были новости. Приехал новый командир дивизиона, назначенный вместо Торопова, оконча-

тельно выбывшего за болезнью в отставку, — подполковник Лопатин.

Это был беловолосый, низко стриженный, плотный мужчина с розовым, по-английски бритым лицом. Он носил пенсне с круглыми стеклами без оправы, от чего его лицо и голова казались еще светлее и глаже. Осанка у него была кадровая, руки—белы по-барски, одевался он подчеркнуто аккуратно, слыл барином, хорошим товарищем и тонным артиллеристом.

Командуя мортирной батареей, он побывал в Галиции, едва унес ноги после корниловского вторжения в Венгрию, заработал Владимира, но не добился ни оружия, ни Георгия. На позиционной войне потерял надежду на вожделенные награды и решил, что полковника можно теперь выслужить и в парке.

Парк для него был чем-то вроде выгодного мезальянса, и он, сам того не замечая, каждому пытался объяснить сложную конъюнктуру, заставившую его решиться на такой сомнительный шаг.

В парке он ближе всех сошелся с Кулагиным. Говорили, что у обоих под Ялтой есть дачи и виноградники. Дачу и виноградники принесла Лопатину его жена, — судя по портрету, который всегда стоял у него на столе, сильная и высокомерная женщина.

Лопатин пил не меньше Торопова, но никогда не упивался. В этом отношении ему мог соответствовать только Кулагин. Они просиживали целые вечера вдвоем за бутылкой, лениво о чем-то беседуя. Беседа, повидимому, играла роль того гороха, который подают в пивных завсегдатаям. Должно быть, Кулагин настраивал Лопатина против Андрея, потому что адъютант все чаще ловил на себе недобрые взоры начальства. Он спросил Лопатина, не сделает ли он ему приятное, если подаст рапорт о переводе на должность младшего офицера в парк. Лопатин наотрез отказался принять такой рапорт.

Чтобы уходить от обстановки, от разговоров, Андрей стал ежедневно писать Елене письма-дневники. Он не знал ее точного адреса, он не знал, хочет ли

она переписываться с ним. Он никогда не рискнул бы написать первый, боясь получить нераспечатанный пакет обратно. Он беседовал сам с собою. Он создал себе во фронтовом безлюдьи призрак человека, который мог приходить по вызову и беседовать ночами....

Кирилл и Серафима вскоре написали Андрею. Письмо было переполнено едва сдерживаемой радостью людей, переживающих сладость победы. В постскриптуме Серафима сообщила, что Елена вспоминает об Андрее: «Я сказала ей, что фронтовики ужасно любят переписываться. Она ответила, что рада была бы получить от тебя письмо».

На полях был приписан адрес Елены.

Андрею всегда казалось, что письма переписывают и рвут только в романах. Но письмо Елене в одну страничку он складывал в лесу, проблуждав там целый вечер. Придя, он записал его, как записывают стихотворение. Оно должно было быть сдержанным, но сквозь строки должен был просвечивать его восторг. Оно должно было вызвать ответное письмо, возможно более откровенное, но вместе с тем ни одним словом не должно было показать, что он сам просит об этом.

Он свез письмо в полевую контору и тут же на переплете полевой книжки начертил десять ровных квадратиков. Он будет зачеркивать по одному в день до получения ответа.

Ответ пришел неожиданно быстро. Андрей не стал читать письмо за столом, ни даже дома при Мигулине. Незнакомый почерк и штамп станции говорили, что это от нее. Он ушел в лес и там осторожно стал вскрывать узкий сиреневый конверт.

В ответ на одну страницу Андрей получил восемь. Это было великолепно. С ощущением счастья он больно хлестнул по сапогу стэком и назвал себя болваном за свою одну страницу и стал читать.

Письмо начиналось без всякого обращения, как будто Елена не хотела поставить в первой строке официаль-

ные слова и вместе с тем не решилась употребить такие дружеские эпитеты, которые сообщили бы всему письму характер интимности.

«У нас нет ничего нового, — писала Елена. — Мама и соседи до сих пор толкуют о свадьбе Серафимы. Мне трудно поддерживать беседы на эту тему, так как я, к стыду своему, не заметила ничего из того, что заинтересовало других. Я и сейчас не помню, какое платье было на Серафиме, хотя у меня осталось впечатление, что она была трогательно мила и интересна. Я не заметила, что Иван Терентьич был сильно под мухой, что Костя и Лялик все время спорили и дрались... То, что запомнила я сама, — совсем иное, и говорить об этом мне не с кем...

«Несколько лет назад положение нашей семьи резко изменилось. Я не скажу, чтобы связанные с этой переменой переживания как-нибудь болезненно отразились на мне, но каждый раз, когда я бываю в нашем старом доме, мне становится не по себе. Я переношу лишения очень легко и спокойно. Иногда мне даже удается утешить других, главным образом маму, которая все время говорит о прежних, лучших временах, и старшего брата Котю, который тоскует в письмах по гвардии и гвардейской жизни. Другой мой брат — моряк — похож на меня, а оба мы похожи на отца, который был беспечным, но веселым и добродушным человеком. Михаил всегда пишет бодрые письма и поддерживает у нас с мамой радость жизни.

«Единственное, что мне дается тяжело, почти невыносимо, — это наше уединение. Деревня и в особенности одиночество — не мой удел. Я люблю книги, мой рояль — подарок отца, но ведь они не могут наполнить все двадцать четыре часа. Иногда я радуюсь, что железная дорога далеко проходит от наших мест. Иначе каждый гудок паровоза кричал бы мне, что, кроме нашего хутора, нашей грязной деревушки Носовки, существует широкий мир, что он весь опутан сетью стальных рельсов и рейсами пароходов, что в сущности каждый молодой человек легко мог

бы жадно поглощать впечатления, что для него могли бы стать доступными все старые и новые города, театры, музеи, библиотеки, концерты, если бы не деньги. Ах, дорогой мой, как я ненавижу деньги! Как глупы люди, создавшие себе из денег препятствия на каждом шагу!..

«А есть ведь люди, около которых струится ветер больших путей и океанов, с которыми хочется не присесть, а сейчас же помчаться куда-нибудь далеко, далеко... Редко встречаешь таких людей, но с ними всегда чувствуешь себя на вокзале в дорожном костюме или у кассы большого райзебюро. Таким ветерком пахнуло от вас... Я буду рада, если вы будете писать мне, хотя, признаюсь, строки вашего первого письма не принесли мне ни горьковатого запаха вокзалов, от которого слегка першит в горле, ни ветерка океана. Впрочем, на одной странице не разгуляешься... Пишите больше! Я жду».

Андрей прежде всего почувствовал, что письмо это было бы высмеяно всеми офицерами, если бы только попало хоть одному из них на глаза. От этого оно стало еще дороже.

Ответ едва уместился на шестнадцати страницах убористого почерка. Уже на двенадцатой странице можно было бы сознаться, что в чемодане лежит пачка написанных и неотправленных писем. Он послал бы сразу все эти письма, теперь же, может быть, даже они были написаны с тайным расчетом на то, что когда-нибудь их будут читать. Но любовь — это качели. Хорошо только на высоте, когда кружится голова... Елена, конечно, сама потребует эти письма. Он не согласится. Она повторит требование... и тогда, может быть, он сдастся...

Приказ грузиться в эшелоны привезли поздней ночью.

— Странно! — сказал Лопатин, развернув карту на одеяле. Свеча капала на зеленые завитки белорусских лесов. — Неужели решили нас повернуть на Галицию?

Офицеры заволновались.

— Маршрут — до Каменец-Подольска. По-моему, в Румынию — это на Окницу или Унгени. Ну, ладно, будет видно. Вероятно, повезут нас через Могилев.

Карта жила по-своему в представлении Андрея. Все места располагались вокруг нового Иерусалима — черниговской деревни Носовки. Через Могилев, Жлобин... Это в трех часах езды от той станции, где ждет проезжих извозчик-лесовик. Румыния — это далеко. Это надолго. Там какие-то международные пути и узлы. Куда дальше бросит дивизион боевое счастье или стратегическая неудача?! Проехать в каких-нибудь ста километрах!..

Спрашивал у полковника разрешения ехать отдельно от дивизиона, не имея никаких надежд на успех, — раньше никогда бы не посмел, — но видение на карте ширилось и крепло...

— Ну, теперь ясно, — буркнул Иванов, — адъютант женится. Невесту на чужой свадьбе подцепил.

Лопатин посмотрел на Андрея со снисходительностью, близкой к сожалению.

— Догонять будет сложно. Нас могут повернуть в пути. А если опоздаете к границе, то влипнем в историю оба: и вы и я.

— Я буду раньше вас в Каменце... Один день всего лишь... На скорых поездах. — С таким чувством еще в детстве отпрашивался у отца в гости к товарищу или на бал в общественное собрание.

Но никто больше из офицеров не мог воспользоваться подобным преимуществом. Молодежь собиралась переночевать в Минске. Дома прочих были далеко, не на путях. Бессмысленно было пускаться в такое неверное плаванье.

На рассвете Андрей высадился с небольшим чемоданчиком на маленькой станции. У телеграфиста лежал условленный ответ на депешу: «Очень рада, жду, приезжайте прямо к нам. Елена».

Обыкновенная поездка на извозчике по самой безрадостной, надоевшей с детства улице может превра-

титься в фантастическое путешествие, если впереди одиноко маячит лампа в комнате женщины, которая ждет друга издалека.

Даже сломанное в осенних грязях колесо и вынужденная остановка в разбросавшемся среди древних луж местечке не лишили Андрея той остроты внутренних содроганий, которые сопровождали все его мысли об этой прекрасной своею неясностью встрече. Он не остался в избе постоялого двора, куда заехал чиниться извозчик и где пахло вчерашним боршом и мытой клеенкой. Он ушел на мокрые поля, сидел в чьем-то пустом промокшем саду над речушкой, бродил у церковной ограды, пил пиво в местной пивнухе, которая была ему таверной, наблюдал каких-то разговорчивых проезжих, которые после третьего стакана почувствовали себя кругосветными путешественниками, все видевшими и все постигшими, и потому исполненными презрения к окружающим. Как много романтизма в самых обыкновенных людях! Но в равнинной России романтизм активной личности посажен на цепь, как собака, которая имеет право лаять только ночью и кусаться, когда науськают хозяева. Страна усыпляющих песен и унылого расслабленного терпения!..

Вместо утра подъезжал к деревушке вечером. Трегубовский дом не светил ни одним окном. В пристройке, где помещалась контора завода, горела керосиновая лампа.

— Ты где остановишься? — спросил возницу.

— Та там, край дэревни. — Кнут вошел в темноту, проткнутую двумя-тремя дальними огоньками. — У Клименки Макара. Постучить в окно, — я й выйду. Тико коням надо часа четыре, а нэ меньше.

— Ладно. Я сойду здесь у околицы, — сказал Андрей. — А ты хорошенько просмотри колеса. К утру нужно на поезд, во что бы то ни стало...

— Вы щось забулы, мабуть, якись бумаги? — спросил возница. Семьдесят километров по грязи из-за четырех часов в его представлении могло бы оправдать только дело жизненное, скорее всего бумаги...

— Ты прав, старик. Забыл... паспорт в страну счастья.

Старик посмотрел на него как на юродивого. Деревня прощает вывихи души так же легко, как город сломанные ноги...

— Поспиете на потяг. Спишить у окопы, — це... — он не кончил и замотал кнутовищем.

Упавшая калитка лежала там же с постоянством гранитной плиты. Вокруг домика скучились тени — косматая нестриженная ограда, купа высоких деревьев в шарах галочьих гнезд стояли особняком от всего этого поля и присевшей к балке деревни. Поддерживая шашку, стараясь не шуметь, Андрей прошел вдоль стены. За кремовой занавесью маленького окошечка стояла лампа. Шар матового абажура бросал на потолок большие цветы легких теней. Виден был накрытый стол.

Когда он ступил на крыльцо, оно заскрипело по-мокрому неясно, а Андрею так хотелось понять, приветствует ли его старый домик или предупреждает... В маленькой передней — вторая дверь. Светлая щель открылась раньше, чем он успел постучать.

— Андрей Мартынович! — всматриваясь сказала старуха Ганская, протягивая вперед узкую прыгающую табакерку. Она шарила глазами около него. — Разве вы не встретили Елену?

Андрей был растерян.

— Она пошла вам навстречу, к деревне.

— Мы ехали задворками, — вспомнил Андрей. — Там суше...

— Так что же я стою? Заходите!

Андрей вошел в комнату, жалея о том, что не встретил Елену где-нибудь перед домом, в поле, наедине.

Он остановился.

— Я все-таки пройду навстречу Елене Павловне. Иначе как же она узнает...

Старуха смотрела на него, разгадывала все его мысли, как знакомый фокус с несложной техникой.

— Что же, пройдите... Тут что-то вроде аллеи,

прямо к мостику. А мы самовар подогреем. — Из соседней комнаты выглядывала любопытствуя деревенская девочка с замурзанным личиком, черными ножками и серой косичкой до плеча.

Андрей шел среди двух прерывающихся рядов лип и кленов. Листья осыпались при каждом порыве ветра. Они бесцеремонно ложились ему на плечи, на грудь и, успокоенные, спадали на дорогу, в мокроватый ковер, постланный осенью. За пушистыми облаками, как за снежными навалами в горах, пряталась луна.

На земле было много людей, в окопах, в городах, в деревне... А здесь у самого моста на бревне сидела только одна девушка в большом деревенском платке.

Андрей протянул обе руки...

Только оторвавшись от него, она спросила:

— Как же так вышло?

Андрей рассказывал, и простые вещи звучали, как таинственные замечательные истории.

Людей часто толкает друг к другу навстречу непобедимое влечение. Но не часто бывает так, что сердце человека само звучит, как орган, и чувствует, что другое отвечает ему, как гулкие своды... И нет ни одного звука, ни одного шелеста, нарушающего гармонию. Кто может похвастаться, что слышал в себе такие звуки дважды? Андрею казалось, что вся его жизнь рассечена этим моментом надвое: на то, что было до первого поцелуя Елены, и то, что будет после него...

Он не знал, что собственно так привлекает, волнует его — сухие ли, тонкие руки девушки, яркие ли ее глаза, шелковые волосы, голос сдержанный, грудной или строгий профиль. Все это было для него такое свое, особенное, что, будь он художником, он только с нее рисовал бы своих мадонн, будь он писатель, — никогда не находя, — искал бы всю жизнь неповторимые слова для этих ощущений. Она казалась ему безупречной. И тот, кто не согласился бы с этим, заслужил бы его искреннее удивление.

Никогда впоследствии он не мог вспомнить, о чем они говорили в этот час. Ночное поле вошло в них и

широко раздвинуло грудную клетку. Они стояли, держась за руки, и говорили о том, о чем говорили друг другу миллионы людей, и в горле першило, как от легкого угара. Слова означали, что им нельзя больше расстаться ни за что на свете. Он помнил еще, что им не было стыдно, хотя держались они за руки, как дети в хороводе, и серьезно говорили самые наивные, самые высмеянные в жизни слова.

Так взволнованные они не вошли, а вступили в домик.

Мать посмотрела на них быстрым взглядом и сейчас же отвела глаза.

— Как же это случилось... что вы опять приехали? — спросила Елена.

Андрей стал рассказывать о походе в Румынию и, чтобы не глядеть все время в лицо Елене, осматривал комнату.

Большой, поколениями обставляемый, помещичий дом отдал этим крошечным комнатам свои, никому больше не нужные и отобранные особой привязанностью остатки. Они были великолепны для этих простых стен и покосившихся узких подоконников. Часы в павловском футляре двускатным гребнем своей крышки упирались в потолок. Прабабушкино псише заняло весь угол. Иконы в аршинный рост свисали почти до полу. Крышка рояля была уставлена рядами фотографий в порядке роста рамок. По стенам — портреты, отобранные из семейной галлереи Во всем убранстве чувствовалось чудовищное усилие сохранить в этом прозябании хоть отблеск прежней богатой жизни. Сходя на нижнюю ступеньку общественной лестницы, сюда могли совлечь только мишуру верхней, так как все по-настоящему ценное было пущено с молотка. Эта мишура призвана была напоминать другим, что живущие здесь люди вовсе не примирились с настоящим положением, считают его временным, навязанным случаем, несправедливым, непризнанным...

Мать вглядывается в Андрея так напряженно, что каждая морщина, каждая родинка на его лице чувствуется

отдельно, оживает под ее взглядом. Это потому, что она подходит к моменту по-деловому. Девятнадцать лет ждала она этого момента и наверняка представляла его себе не так, не в такой обстановке. Андрей понимал, что она страдает от бедной сервировки, оттого, что нет гостей во фраках, и стол не ломится от разнообразных блюд и бутылок, оттого, что любопытная девочка все еще не уходит спать в свой угол и ее голова, нет, нет, да и покажется в разрезе двери, а может быть и оттого, что он, возможный жених ее дочери, совсем не похож на того, кого выбрала бы она сама, мать...

Но все эти мысли были легки, как вечерние тени, протекающие в сумерки по стальной глади пруда, скользкие, неуловимые. Что до них, когда закат алым шелком затянул полнеба, челнок идет по черным вершинам деревьев, опрокинувшихся в зеркало реки, и рука девушки, опущенная в воду, рождает серебристую, как тело месяца, струю.

И не такие мысли сникли бы, побледнели и растаяли перед этим шумным набегом радости, от которой все предметы получили вдруг силу радовать и волновать.

Елене не стоило больше труда в этот вечер чувствовать себя на сцене, быть самой замечательной девушкой, какую когда-либо видел Андрей.

И Елена чувствовала это. Как актер перед залом, который уже покорен его искусством, она находила в себе необыкновенное, новое. Интонации ее голоса стали глубже и значительней. Она с удивлением замечала, что может быть остроумной и слова ее могут порхать мотыльками. Она сама села за рояль и играла шумные, вызывающие вещи, тогда как обычно любила только шопеновскую лирику. Само собою вышло, что она стала мелодекламировать вполголоса. Ее умиляло то, что она от блестящих каскадов и рулад легко, умно и тонко перешла к задушевности и интимной тихости. Даже мать смотрела на нее с удивлением. Вот какая она, ее дочь. Эта умная, слегка скучающая, слегка скрытная девушка. Как многое еще не раскрылось в ней...

Елена обернулась, держась руками за вертящийся круг музыкального стула и посматривая на узкие носки туфель.

— Вам так необходимо ехать утром?

— Скорее ночью, чем утром...

— Как, — всполошилась мать, — вы сейчас же уезжаете?

— Но может быть один день...

Андрей был благодарен Елене.

— Все равно, и года было бы мало...

Мать смотрела куда-то на один из старинных портретов. Она согласна была отсутствовать...

— Поезд идет в восемь. У вас хорошая лошадь?

— Лошади мужа доезжали в два с половиной часа, — с гордостью вспоминала мать.

Елена встала и прижалась щекой к ее сухому плечу.

— Мне скорей, чем в четыре часа, не добраться, и то если опять не потеряем колесо.

— Вы не хотите просить лошадей у Трегубенко?

— Тогда пришлось бы провести у них хотя бы час...

— Я не согласна! — вскрикнула Елена. — Вы знаете... Я такая эгоистка...

Мать развела руками.

— Сколько же вам остается на сон?

— Я буду спать в поезде. Мы посидим немного, а потом вы дадите мне книгу, и в четыре часа я тихо уйду.

— Мы будем полуночничать вместе, — сказала Елена. — Завтра я могу спать хоть до обеда.

— А я по старушечьей привычке пойду сосну. Вы уж меня простите.

Елена долго и нежно целовала мать.

— Приезжайте к нам еще, из Румынии. Будет же у вас отпуск...

Елена осталась у рояля. Спустив модератор, она играла что-то тихое, может быть что-то свое, и одна рука ее то и дело путешествовала от клавишей к Ан-

дрею, а потом так и замерла в его горячих ладонях. Потом они говорили... О знакомых, о Петрограде, о книгах, больше о книгах. Она повидимому много читала... Но как странно!.. Она не помнила авторов любимых произведений, не знала лучших книг классических авторов. Об отдельных книгах она говорила охотно, обнаруживая вкус и вдумчивость, но Андрей с удивлением замечал, что литература для нее это ряд ничем не связанных книг, забавных мирков, полурасскрывшихся спектакликов, ничем, никак не связанных между собою. Кажется, ей было безразлично, как относятся актеры этих спектакликов к жизни. Книги были написаны и, следовательно, имели все права на существование и самобытность.

Но все это теперь умиляло Андрея. Это открывало возможность долгих содержательных разговоров, приятных, чуть-чуть поучительных бесед, которые свяжут. Но чаще, затихшие, они сидели молча, пока текли уступленные им войною четыре часа.

Андрей всю дорогу ждал, не сломается ли колесо и не даст ли ему судьба-злодейка еще один день счастья...

Он ехал через Киев. Здесь в лазарете уже второй год лежал раненный разрывной пулей в плечо его школьный товарищ, Костя Ливанов. В четырнадцатом году он бежал с криком «ура» на австрийский окоп, который раскусил пополам шоссе Андреев — Мехов, и злая, разрезанная перочинным ножиком пуля ударила его почти в упор, вошла в локоть и вышла в плечо. Рана начиналась узкой дырочкой и кончалась на плече трубой рваного мяса, сухожильев, мускулов, костей. Здоровый парень чах, но не умирал. Он был худ, желт. Его носили на руках в уборную. На каждой перевязке он громко призывал смерть.

У него на столе стояли коробки с конфетами и папиросы. Конфеты он раздавал солдатам. А папиросы курил сотнями.

Он расспрашивал Андрея об Елене, о его встрече, его любви с жадностью потерявшего зрение, которого

только что научили читать книги для слепых. Андрей стеснялся, но потом увлекся воспоминаниями... Он прервал свой рассказ внезапно, заметив, что у Кости злые, как у раздраженной ящерицы, глаза. Простились холодно...

Закупив вино для Лопатина в первом попавшемся подвальчике на Подоле, Андрей уехал на Каменец-Подольск.

Круглый зал казатинского вокзала играл хрусталиками люстр и радужными срезами зеркальных стекол. Столы сплошь были заняты офицерами. Белые косынки сестер сливались со скатертью, отчего кожаные куртки сидели на стульях обезглавленными. Выпив кофе и расплатившись, Андрей пошел к выходу. Стена зеленого вагона стояла третьей параллельной плоскостью после плоскости двери и решетки дебаркадера. Казалось, здесь все построено из раздвижных ширм, которые легко подбегут по рельсам вправо и влево и за которыми скрываются такие же зеленые, красные, белые ширмы. С перрона доносился шопот паровозных топок. Лица людей в свете вокзальных ламп были плоски, как серебряные погоны врачей и саперов.

На пороге встала фигура высокой женщины в шляпе.

— Розалия Семеновна!

— Вы куда?

— Я в Румынию. А вы в отпуск?

— Нет, к новому месту службы...

— Вы покинули Лужки... отряд?

— В отряде почти никого из приезжих не осталось. Вы ведь знаете.

— Ничего, абсолютно!

— Значит, в мире сплетничают значительно меньше, чем мы думаем.

— Что-нибудь случилось? Я не задерживаю вас?

— Нет, у меня — пересадка. Я коротаю время и понимаю ваше любопытство. Я не помню, видели ли вы у нас сестру Татьяну Николаевну Загорскую. Красивая такая, блондинка...

Андрей схватился за спинку стула.

— Что с вами?

— Она была у вас?

— Недолго, с месяц...

— Месяц в Лужках?

— Вы знаете ее?

— Но что с нею?

— Теперь я не знаю даже, как сказать вам... Она покончила с собой...

Все плоскости сошли со своих мест и зашатались. Круглая зала качнулась и готова была закружиться каруселью огней.

Сторож-инвалид резким звоном оборвал разговоры людей и щелканье чайной посуды.

— Вам второй?

— Да, мне... — прошептал Андрей.

— Она выпила сулему... Ее заразили...

— Татьяну, кто?

— Кто, кто? — вдруг вскрикнула Розалия Семеновна. — Не все ли равно? Может быть Зоя, может быть барон... А вернее всего, — она вдруг перешла на злой напряженный шопот, — ее заразила ваша проклятая война!..

Андрей не узнал сдержанную красивую еврейку. Рот ее был перекошены. Глаза горели живыми агатами. Щеки полыхали жаром.

— Ну, все равно... — резко кивнула она головой. — Княжна уехала в Петербург. Зоя все разболтала за то, что ее удалили из отряда, и, может быть, наговорила лишнего. Сестры разъехались. Был скандал. Теперь там все новые люди... — Она замолчала. — Да. Ваша Лидия уехала к отцу в Смоленск.

Андрею было все равно, но он спросил машинально:

— В Нижний?

— Нет, в Смоленск. У них там крупное мануфактурное дело. Ваш поезд отходит, идите!..

Андрей находу вскочил на подножку. Скорей на диван лицом к стене! Как руками раздвигает воду пловец, он раздвигал волею все налетевшие мысли...

X

ПРИЮТ СВЯЩЕННЫЙ

Капитан Гвоздев, трижды раненный в голову, в руку и ногу, сам прекрасно знал, что нельзя коменданту большой станции, как Каменец-Подольск, иметь такое располагающее, добродушное лицо. Недаром ему еще в гимназии советовали стать священником или миссионером. К человеку с таким лицом всякий лезет, не стесняясь. Потому капитан Гвоздев всеми силами старался принять вид озабоченный и недоступный.

Но в его приемную валил народ такой разный, такой несхожий, что и очень сдержанному человеку трудно было выдержать ровный тон. А потеряв тон, Гвоздев не умел его восстановить. Нельзя же разговаривать с потерявшим часть поручиком так же, как с капитаном генштаба или усатым штаб-офицером, не говоря уже о генеральских адъютантах в чине штабс-капитана. Чорт его знает, может быть генерал и сам гуляет тут же по платформе и ждет ответа.

Комендант то и дело переходил от гнева к добродушию, от неподкрепленной внешним видом заносчивости к фамильярной вежливости. У иных это выходит как по нотам. Но Гвоздев никогда не обладал такой ловкостью. Смены настроений были случайны и невпопад.

Андрею он сообщил, что дивизион еще не проходил Шепетовки, но его здесь ждут. Сделал он это конфиденциально, шопотом, держа Андрея за пуговицу.

Андрей отправился в город.

Улицы нового города поражали безлюдьем широких шахматных перекрестков. За стеклами просторных особняков, в фасады которых било искристое октябрьское солнце, темнела пустота нежилых комнат.

Штабные, интендантские и этапные канцелярии расползлись по старому городу, обозначая свой завоевательный марш обилием писарей, с нафабренными усами и глаженными длинными штанами, и россыпью никем не

убираемых бумаг. Писаря восседали на окнах и, зевая, ждали «случая»...

За годы войны на улицах произошел отбор населения. Старухи, накрашенные, всегда усталые девушки и пронырливые, днем озабоченные, ночью пьянствующие военные поставщики составляли неоспоримое большинство...

Кафе было похоже на все кафе тыловых городов: скрипки были пронзительны, официанты грязны, и бутылки несли на себе дополнительную этикетку с указанием процента крепости напитков.

Время тянулось, как километры в пустыне. Скучно часами пить стакан чаю, вертеть ложечку, как будто это дело огромной важности.

Офицеры проходили с накрашенными девушками, взятыми тут же на улице. Одинокие девицы с деловым интересом осматривали одинокого прапорщика. Они улыбались, вызывая на ответную улыбку, которая сразу определила бы их дальнейшее поведение. Проходя мимо столика, они, как будто случайно, клали пальцы с отточенными ногтями на липкий мрамор. Одна из них попросила спичку.

Девушки принимали потупленные взоры Андрея за отсутствие денег и, быстро утратив к нему всякий интерес, обращали свое внимание на других.

Вечером комендант выкрикнул Андрею, что он ему надоел, и никаких справок о дивизионе он больше здесь не получит.

Андрей пожал плечами и отправился на пути. Станция была забита пустыми эшелонами, но с севера шла сейчас исключительно пехота. Через час комендант дружески покаялся Андрею, что он может не беспокоиться до утра, так как ему известны уже все эшелоны от Шепетовки до Каменец-Подольска. Среди них нет артиллерии. Идут саперы и пехота.

У городского коменданта Андрею сказали, что в комендантских помещениях ни одной свободной койки нет. Следует поискать гостиницу, впрочем, это безнадежно. Столько народа в городе. Какие тут номера!

— Что же, на улице ночевать, что ли? — обронил угреватый поручик, пощипывая кустики рыжей бородки. Он был в том же положении, что и Андрей.

— А как вы на фронте обходились? — спросил комендантский адъютант. — Там же гостиниц нет.

— Так ведь это же город, не фронт. Вдруг офицер — и спит на тротуаре, как бродяга.

— Но что же делать, господа? Я ничем не могу вам помочь. — Адъютант исчез в кабинете коменданта.

— Ну, что же, пойдемте искать пристанища вместе, — предложил Андрей.

Швейцары в гостиницах держались, как жрецы, охраняющие храмы, а служители усвоили себе манеры трактирных выкидайл.

На одного из лакеев, буркнувшего что-то под нос и повернувшего спину, поручик закричал, рассвирепев совсем неожиданно:

— Ты что, болван! С кем говоришь? — он рванул его за плечо к себе.

— Что же я могу, господа? Когда все коридоры заняты. По-двое на кровати спят.

— Так ты скажи это как следует, а не поворачивай спину. Как расхамился народ, — сказал он, должно быть, оправдываясь перед Андреем. — Сказать не может по-человечески.

Опять сидели в кафе, опять ходили по гостиницам. Поздним вечером город затих, но в кафе еще громче бил бубен, резче раздавался пьяный смех. Все заглушала, словно живая, шевелящаяся на кухне посуда. Видимо, этикетки еще не гарантировали трезвость. На улицу вываливались компаниями захмелевшие офицеры.

— Офицерикам спать негде, — догадалась какая-то девушка с одиноким пером на шляпке. Она подхватила поручика под руку и прижалась к нему плоской грудью.

Поручик как-то не спеша освобождался.

— Негде-то — негде, — пробурчал он, — да и ты не поможешь, голубушка.

— У меня постель широ-о-окая...

— Ну, иди, иди, голубушка, — подтолкнул ее вперед поручик.

— Сдали милого в солдаты
И угнали на войну, —
Не успела срисоваться
С ним на карточку одну... —

запела, уже глядя на других, девушка.

— Чорт, были бы деньги — вот и выход! — с досадой сказал поручик.

— У вас нет денег?

— Пуст. А это ведь рублей двадцать надо.

— Я вам дам.

— А вы сами?

— Меня такая ночевка не устраивает. А деньги вернете почтой.

— Конечно, конечно. Это замечательно! — обрадовался поручик. Он схватил кредитки, потряс руку Андрея и побежал вслед за девушкой.

Через минуту они уже шли навстречу обнявшись.

— А ты, миленький, как же? — спросила девушка, останавливаясь. — А ты с нами не хочешь? У меня и подруга по соседству есть. А то я тебя на диване положу. А мы тихонько будем. Правда, миленький? — спросила она поручика.

— Нет, нет, — сказал Андрей, отступая.

— Вот ты какой, — прищурила глаза девушка. — И деньги имеешь? Боишься? Ну, я тебе адрес дам. Там тебя за десять рублей пустят переночевать. У старушки. Чисто и тихо. Хочешь?

— Это хорошо.

— Ну, так вот. Немецкая, десять. Во дворе там лестница. В галлерейку поднимись и постучи. Одна дверь там. Скажи — Настя Соколова прислала. Ну, пошли, миленький.

Андрей спросил у городового Немецкую улицу, разыскал лестницу и постучал в обитую войлоком дверь.

— Кто там? — послышался женский старческий голос.

— Я офицер, проезжий. Мне сказали, что у вас можно переночевать.

— Кто вам сказал?

— Настя Соколова.

Дверь открылась медленно, осторожно.

— Зайдите.

Передняя обмахнула темнотой, как будто даже встревожила, хотя хозяйка имела наружность самую успокоительную. Ни один волос не стремился нарушить аккуратность прически с богатым колесом седых волос на затылке. Юбка не лоснилась на высоком животе, а кофточку по рукавам и по вороту обходили скромные, но свежие кружева. Даже морщины на лице были словно причесаны и приглажены одна к другой. Она напоминала Андрею хозяйку частного пансиона в южной Саксонии, где он проводил первое студенческое лето.

— Вот сюда, пожалуйста. Электричество в прихожей испортилось и нет монтера. — Она стояла рядом на свету в рамке полуоткрытой двери, и Андрею начинало казаться, что и голос у нее с немецким акцентом. — Только у меня скромно и тихо, — сказала она уже в комнате. — И без дебошей.

— Но ведь я один, — удивленно заметил Андрей.

— Сейчас — один, — философски заметила хозяйка.

Комнатка имела самый обычный вид. Пожалуй, она могла удивить своей безликостью, отсутствием всего того, чем всякое жилище отражает привычки, вкусы или профессию обитателей.

Она была обширна, в три окна, но окна были наглухо закрыты внутренними ставнями. Большой стол под ковровой скатертью, казалось, был замаскирован и ждал только сигнала, чтобы покрыться приборами и бутылками. Резные спинки стульев корабельным бортом обошли стол с четырех сторон. В одном углу стояло пианино, в противоположном, у печи — кровать. А над кроватью, бросая вызов десятку мещанских пейзажей, олеографий, увеличенных портретов, встрепанный лебедь на большой гелиогравюре исступленно клевал, в

приливе страсти, губы тонкой девушки, изображенной с предельной откровенностью.

Хозяйка перехватила взгляд Андрея.

— Это комната моего жильца. Тут все его вещи. А его самого забрали в армию.

— Комната меня устраивает, — сказал Андрей.

— А где ваши вещи? — осведомилась хозяйка.

— На вокзале. Я завтра или послезавтра уеду.

— Не дадите ли вы мне деньги вперед?

— Пожалуйста.

— Вам что-нибудь нужно? — Она смотрела внимательно, казалось, она задерживается нарочно, изучая жильца. И этим она положительно напоминала хозяйку из-под Фрейберга.

— Нет, ничего. Вода есть...

На столе стоял кувшин синего стекла и стакан.

— Спокойной ночи.

Дом поражал тишиной. Кровать хрустела свежими простынями.

Андрей еще раз посмотрел на лебедя, вздохнул и, отойдя к столу, раскрыл большой в черепахе альбом с фотографиями. Чиновничье благополучие было подкреплено здесь вицмундирами, аккуратными пиджаками и горообразными прическами затянутых дам. Девушки были в плоских, поднимающихся к затылку шляпках. Однообразие дважды нарушалось экзотикой запечатленных в назидание потомкам коммершей, где-нибудь в Юрьеве или в Риге. Усы, рапиры, полуведерные кружки презрительно терпели соседство иереев и гимназистов и солидаризировались только с девушкой Гретхен, в которой нетрудно было узнать хозяйку в ее лучшие годы.

Кровать победила и лебедя и буршей с быстротой, оставившей позади темпы Танненбергской операции. Едва коснувшись подушки, Андрей уснул и проспал бы до утра, если бы одна из дверей не скрипнула и не открылась.

Чуткий во сне Андрей раскрыл глаза.

Тихо шаркая мягкими меховыми туфельками, в ком-

нату вошла девушка в одной сорочке. Тусклый свет шел перед нею широким косым лучом. Андрей сел в постели. Девушка шла к столу, держа перед собою руку, как ходят в темноте близорукие.

Андрей кашлянул.

— Ах! — сказала девушка, отрывисто, без признака испуга и остановилась. — Кто здесь?

Андрей молчал, не зная, что сказать.

— Я думала, здесь никого нет, — сказала девушка, не делая попыток убежать.

— Нет, здесь занято.

— Простите, пожалуйста. — Она, не спеша, отправилась обратно.

— Может быть, вам здесь что-нибудь нужно? — спросил Андрей.

— Нет! — досадливо пожав плечами, ответила девушка. Она постояла на пороге и, едва прикрыв за собою дверь, скрылась.

Андрей не нашел на двери ни крючка, ни задвижки и приставил к ней тяжелый резной стул.

Теперь уже сон не шел. За стеной скрипел пружинами матрац. Лебедь как будто еще ниже спустился над кроватью. Андрей не гнал сладострастных мыслей. Он привык к ним на походах, на стоянках, как к своему одеялу. Они становились привычным суррогатом любви и страсти. Но с девушкой за стеной они не связывались никак.

На втором часу тишина взорвалась внезапно, на этот раз уже за другой стеной. Пьяные голоса ворвались в комнату. Кто-то взял шумный аккорд на гитаре, баритон начал «Аллаверды». Матрасик у девушки ответил энергично и определенно. Видимо, девушка решила встать. Запели хором. Разнообразные звуки позволяли догадаться о происходившем за стеною. Звенели стаканы, бушевали расходившиеся голоса, кто-то даже вздумал громить кулаком дверь в комнату Андрея. По коридору шаркали старушечьи туфли. Вскоре осветилась, ожила и комната одинокой девушки. Комната Андрея была заключена в кольцо ночного веселья, и

лебедь победно издевался над альбомом в черепахе, над ковровой скатертью и кружевными салфетками на лаковых столиках...

Заснуть удалось только под утро.

Хозяйка подала без предисловия счет в пятьдесят рублей.

— За что? — спросил огорошенный Андрей.

— За все, — лаконически ответила аккуратная старушка.

— Не буду платить, это мошенничество!

— То есть как так не будете?

— И притом заявлю коменданту.

— Ну, — махнула рукой хозяйка. — Дело ваше, но документ ваш я вам не верну.

— Ну и ну! — ахнул Андрей.

На громкие голоса в комнату заглянуло чье-то лицо.

— У меня дом зарегистрирован, я и к коменданту с вами пойду. Никто вас к нам не звал, милостивый государь. А с Анютой вы ночь провели? Провели. А вино пили? Пили. Иначе что же вы здесь, богу молились, что ли?

В комнату вошел высокий, весело настроенный поручик с непричесанной вихрастой головой и расстегнутым воротом.

— Платите, прапорщик, — сказал он, фамильярно похлопывая по плечу Андрея. — Что вам стоит? Что наша жизнь — игра.

Андрей снял его руку.

— Да не глядите вы ежом. Что же, вы у коменданта скандал хотите иметь, что ли? Этот приют священный, — он обвел рукой комнату, — все в городе знают. Весело вы будете выглядеть.

— Благодарю за совет. Вы что же, в этом деле заинтересованы?

— Ну, ну, потише, прапорщик! — нахохлился в свою очередь поручик и стал большим гребешком причесывать голову.

Андрей повернулся к нему спиной. Он вынул бумажник, швырнул кредитки на стол и вышел.

На вокзале у коменданта столкнулся со вчерашним поручиком

— Как спали? — спрашивал он Андрея.

Андрей рассказал.

Поручик хохотал так злорадно, что у Андрея поднялась против него злоба.

— Что вы ржете?

— Да вы не сердитесь. Настя мне рассказала. Но уже потом, потом... — спохватился он. — А я за двадцать целкачей выспался со всеми удовольствиями.

— Цыплят по осени считают, — зловеще сказал Андрей.

— Думаете — налетел? — спросил, вдруг посерьезнев, поручик. — Почему-то не думаю. Это было бы ни к чорту, — сказал он с тоской, поправляя фуражку. — Два месяца, как вылечился.

Андрей посмотрел на него с таким недружелюбием, что поручик понял и постарался оправдаться.

— Знаете, тоже случайно. У нас при штабе третьей армии три крали ездили. Постоянные. Знаете, цыпочки, как на подбор. Говорят, начальник штаба сам организовал. И всюду они, на походах, на стоянках помещались рядом со штабом.

— Я знаю, — сказал Андрей. — Об этих кралях говорили и у нас.

— Погодите, погодите. А вы слышали о подполковнике Жилине?

— Нет, не слыхал.

— Так это же прелесть! Он как-то поехал в штаб армии и там ему нагрубил начоперод. Полковник пожаловался начальнику штаба, а тот его же и взгрел. Он — командующему. Тот еще крепче. Тогда Жилин взял, обзавелся гонореей, а потом переспал со всеми тремя кралями. Что же вы думаете? Весь штаб заболел. Все разом в отпуск подали.

— Анекдот.

— Ничего не анекдот, — вся армия знает. Вы что же, опять на Немецкую, десять?

— Нет, если эшелон к вечеру не будет, поеду навстречу в Шепетовку.

— В вагоне переспать значительно дешевле, — не удержался поручик. — А я опять к Насте.

— А деньги?

Поручик засмеялся.

— Я, видите ли, ночью играл... и выиграл...

В поезде спать не пришлось. Коменданты маленьких станций гораздо лучше каменец-подольского хранили тайну военных перевозок.

Они отказывались сообщать что бы то ни было о еще не прошедших эшелонах.

Видимо, каждый из них рассуждал: пока мою станцию не минуют — никаких, береженого бог бережет. Андрей сам обегал все пути полустанков и разъездов. Наконец на предпоследней станции перед Шепетовкой он нашел на путях эшелон первой батареи.

Капитан Андрущенко, георгиевский кавалер, гордость батареи, посоветовал Андрею ждать парки на этом же полустанке, или же ехать в Каменец-Подольск с батарейцами.

— Отчего вы так долго ехали?

— Ну, — махнул рукой Андрущенко, — хорошо, что вообще доехали.

— А что?

— Да неприятности в пути были, — сказал капитан, поглядывая на командира батареи.

— Едва под откос не пошли с пушками вместе, — отрезал подполковник Сунегин.

Эта реплика развязала язык Андрущенко.

— Перед нами у Орши потерпел крушение пехотный эшелон. Мы стояли на полустанке двое суток. А потом и перед нами какой-то чорт развинтил рельсы у Могилева. У Калинковичей с мостом какие-то непорядки. Это ведь новая дорога, только что пущена в эксплоатацию. Ну, вот мы и тянулись...

— Что же это — шпионы? — спросил Андрей.

— Шпионы не шпионы, а я вам скажу, — опять вмешался Сунегин, — уже слепым видно, как расстраи-

вается весь порядок в стране. Вагоны расползаются — вот наш, на ходу скрипит, спать невозможно, — мы ведь неделю уже в нем квартируем. В одной теплушке доска из стенки вылетела. И не то, чтобы конь копытом вынес или что-нибудь в таком роде, а так сама по себе. Две теплушки меняли в пути. И это такое барахло дают под артиллерию. Вообще, я вам скажу... А вот с Румынией. Ведь добивались ее выступления всеми силами, о том, что она выступит и когда выступит, знали, конечно, заблаговременно. А теперь оказывается — один убыток. Гонят туда войска видимо-невидимо, а я уверен, приедем поздно. Да уже и сейчас поздно. Только фронт длинней стал.

— От моря до моря, — сказал Андрущенко, и Андрея поразила печаль в голосе этого мало размышляющего, всегда беспечного, бодрого офицера.

В армии, как и в жизни, он встречал мало людей, которые походили на героев Джека Лондона, Киплинга, По или Брет Гардта. Впрочем, не было таких героев и во всей русской литературе. Большинство людей прилаживались к обстоятельствам, как котята к телу матери, и сами никогда не искали сложных и острых положений. Из всех знакомых артиллерийских офицеров только Львов и Андрущенко получили крест и оружие за признанные всеми товарищами боевые подвиги, совершенные по собственной инициативе. Но не думает ли теперь даже Андрущенко, что попусту рисковал головой?..

Эшелон с парчками подошел раньше, чем ушли батареи. Парчки встретили Андрея весело, и Лопатин первым делом спросил, где вино. Узнав, что вино в Каменец-Подольске, он расстроился, а установив путем расспросов, что вино погребов акоповских, рассердился окончательно и не стал слушать рассказ Андрея о каменец-подольской ночевке.

Теперь к каменец-подольскому коменданту офицеры ввалились толпой. Лопатин, Кулагин и Сунегин вошли в кабинет коменданта и, пробыв там четверть часа, с торжеством вынесли бумажку за печатью, предписы-

вавшую местному складу выдать предъявителям два ведра спирта на технические надобности. На другой четвертушке бумаги был нащелкан на пишмашинке несложный ордер на квартиру, сроком на трое суток.

Квартира не радовала взор. Это было жилье, покинутое мещанской нечистоплотной семьей, с характерными пятнами на обоях и на ржавых, от потеков, подоконниках и на брошенных ломаных шкафах и кухонных столах.

Но походные кровати были с собой, крыша не протекала, вагон надоел, а раскинувшийся кругом, хотя и истомленный войной и обескровленный город сулил разнообразие.

Лопатин внезапно расхворался, лег в постель в самой маленькой комнатенке, повязал голову вымоченным в уксусе полотенцем и стал бутылку за бутылкой пробовать акоповское вино. Он после каждого глотка бранил Андрея с похвальным офицерским разнообразием и раздавал недопитые бутылки офицерам, кандидату и даже вестовым.

Кандидат и ветеринар Хлопин отправились в город за девочками.

Предварительное голосование показало, что доктор, казначей, Андрей и Кулагин в таковых, по различным причинам, не нуждаются. Командир высказался уклончиво. Потому привели только троих. Решено было, что сначала все вместе будут пить у командира, а потом две большие комнаты обращаются в спальни: холостую и женатую. Мигулин перенес постель Андрея к холостякам.

Старшей девушке было лет девятнадцать, младшей едва шестнадцать.

Доктор фыркал в углу и, охватив голову ладонями, глядя в пол, бурчал, что берущих на улице такого ребенка надо отдать под суд.

— Это все Дикая дивизия, — сказал Иванов. — Мне говорили, что они здесь облавы на девчонок устраивали. На пари ловили на улице. Пришлось их из города вывести.

— Ну, — сказал Кельчевский, — во всех тыловых городах было то же Минск возьмите, или Могилев к примеру...

Старшая девушка пила рюмку за рюмкой, как будто выполняла обязательную норму. Облизывая крашеные губы, она рассказывала скучные анекдоты, очевидно всегда одни и те же, и то и дело раскрывала сумочку и заглядывала в зеркальце, а младшая, свежая, розовая, с еще не потухшей искрой в глазах, рассмотрев бабье лицо кандидата, стала умолять Андрея пригласить ее на этот вечер.

Кандидат остался верен себе.

— Ну, что же, — сказал он. — И так хорошо и так не плохо. Или девочка, или экономия. Да еще к адъютанту подмазаться можно! А какую цыпу я отыскал, адъютант? Есть у меня вкус, скажите? Даром, что на улице темень Фонари тоже наверное Дикая дивизия перебила. Так берете лапушку? Так и быть. Только для вас уступаю.

Девушка обрадованно захлопала в ладоши и прижалась к Андрею.

Оставалось улизнуть, будто бы за сельтерской, и Андрей больше не входил в комнату командира. Девушка стучала тоненькими пальчиками в стену, как пойманный зверек, царапала ноготками обои.

Утром Андрей ушел реализовать спиртную бумажку, когда в женатой спальне еще были закрыты ставни...

Из Каменец-Подольска двинулись походным порядком. Это был первый за всю войну поход в богато пересеченной местности, которая открывала перед парчками виды один привлекательнее другого.

Из города вышли сквозь старинные крепостные ворота, обозначенные средневековыми башнями. Далеко в тумане, на Днестре перекликалась с ними старая турецкая крепость Хотина.

Здесь местность казалась принаряженной, дорога ровней и чище, деревни богаче, реки были убраны набережными. Граница обязывала. Тяжелыми столбами с имперским гербом она кричала о необоримом шествии

цивилизации с Запада на Восток, о великом искушении чистоты, порядка, о возможности любовного отношения к труду.

Ночевали уже в Буковине. Деревушки стали еще чище. С мощеными улицами и длинными домами под черепичными крышами, они тонули в буковых рощах, которые, как крашеное стекло, умели отражать на гладкой коже ветвей низкое красноватое солнце. На холмах пушистыми зелеными и коричневыми платками лежали еловые и буковые леса. Речонки рассыпались водопадами и кружились среди камней. Дороги прямили и изобиловали столбами с надписями на немецком и украинском языках. На перекрестках стояли кресты и часовенки, как в Польше.

Война повидимому до сих пор обходила эти многооконные, зажиточные домики. Полы в них блестели, как в помещичьих домах в воскресенье. Машинки Зингера занимали почетное место, и горы подушек с прошивками ползли так высоко к потолку, что прикрывали даже нижние ряды по-православному выписанных икон. В этих домах можно было достать за деньги шпик и утку, яйца и овощи.

Местность была занята брусиловскими войсками всего лишь два месяца назад.

Черновицы были неожиданны. Трамваи быстро скользили среди пятиэтажных домов. Магазины бойко торговали остатками товаров. Вокзал был огромен и наряден, словно предназначался для столицы и только случайно попал в провинциальный городишко. Каштаны усыпали золотистыми и огненными листьями двор и аллею университета. На вывесках круглились заглавные немецкие буквы. Форпост германской культуры стоял крепко и выразительно, невзирая на казачьи лампасы и серые шинели, рассыпавшиеся по улицам.

Последняя ночевка в Буковине была назначена дивизиону у самой румынской границы.

Это обстоятельство взбудоражило все офицерство дивизиона и других, шедших походным порядком частей.

Ходили упорные слухи, что тем, кто перейдет границу до первого ноября, будут в полтора раза увеличены оклады, как полагается по уставу войскам, действующим на оккупации и на чужой, союзной территории.

Деревушка, назначенная для постоя на ночь с тридцать первого октября на первое ноября, была разделена пополам границей. Дивизиону было приказано занять квартиры в той части, которая расположена в Буковине.

Тогда Кулагин внес предложение вписать пункт о переходе границы в приказ от тридцать первого октября.

Лопатин брезгливо поморщился и отказался.

— Чорт с ним. Из-за дерма пачкаться, — пробурчал Иванов.

— Все-таки обидно и несправедливо. Один день разницы! — жалел доктор.

— А если сегодня пройти дальше в глубь Румынии?

— Кони едва держатся. И так, чтобы успеть к границе, сорок пять километров отмахали, — возразил Иванов. — И дело ведь не в двух километрах. Вблизи наверное все забито.

— А я бы и приказ исполнил и границу бы перешел, — с невинным видом поднял глаза к потолку кандидат.

— То есть как так? — выжидательно и недовольно запыхтел Лопатин.

— Дивизион — это ведь не люди. Люди что, люди при дивизионе. Дивизион — это материальная часть. Ящики да бомбочки. Вот я бы спокойненько заночевал здесь, а ящички с часовыми поставил бы за границей. Ведь тут полтора шага. А приказ о переходе можно тогда отдать тридцать первого октября.

— Чорт возьми. Гениальная голова у вас, кандидат, — воскликнул Кельчевский.

— Вот видите, Казимир Станиславович. А никто не верит, не считается. Обижают кандидата все, кому не лень. Жалование кандидатское — мизерное. А тут все-таки прибавочка. К десяти тысячам-то и ближе...

Ящики перевели за границу и приказ о переходе границы подписали тридцать первым октября.

Впрочем, и кандидатская изобретательность и командирское рвение оказались впустую. Жалование в Румынии осталось то же.

XI

В ГОСТЯХ У СОЮЗНИКОВ

Часовой у шлагбаума с державными знаками румынского королевства и австро-венгерской империи запомнился Андрею на все дни пребывания в Румынии. Косой дождь ставил на ребро едва выступившие из темноты дома, деревья и пристроившиеся у заборов воинские телеги. Из будки вышел человек в макинтоше, в руках у него плоским мечом библейского ангела забегал луч карманного фонаря. Андрей подошел к нему вплотную, и черные цыганские глаза в красноватом пятне от ивановской папиросы сверкнули и погасли. Нельзя было ошибиться. Караульный начальник встречал вооруженных гостей открытой ненавистью. Этот взгляд стал для Андрея бессменным соседом всех его впечатлений в этой чуждой и неприятной стране.

Дорога была хуже гладкого австрийского шоссе у Черновиц, но неизмеримо лучше, — это было особенно обидно, — российских дорог. Где-то рядом, скрываясь в камышах и зарослях, вилась река, выдававшая себя шумом быстрой воды, и деревушки, похожие на подольские села, густо стояли у дороги.

Ночевали в большом селе, которое встретило дивизион злыми собачьими голосами и полным безлюдьем. Все двери были накрепко заперты изнутри. Окна поблескивали мелкими тусклыми шибками, отражая в своей черноте тяжкие переплеты настоящих тюремных решеток, которые придавали веселым мазаным домикам вид суровый и официальный.

Солдаты с шумом открывали ворота, ящики и возы заходили во дворы, но хозяева не выходили из домов, не отвечали на стук. Пришлось вызвать местного жан-

дарма и старосту, и те пошли от дома к дому, стучась в молчаливые, по-ночному темные окна и переговариваясь с хозяевами через форточки на незнакомом скрипучем языке.

Двери растворяли неохотно одну за другою. Запах жилья вылетал на улицу. Степенно и тоже с неохотой входили пришельцы в избы и, потеснив семьи, бросали ранцы на столы и скамейки и располагались на ночлег.

— Сволочи! — резюмировал Лопатин. — Мы их защищать пришли, а они двери на замок!

— Заметили? У них все окна в железах, — удивился Кулагин — Должно быть, все — ворюги.

— Тут казаки стояли, — сказал вдруг Мигулин.

— Ну и что же, что казаки? — неприятным голосом спросил вдруг Лопатин.

Мигулин мялся, переступал с ноги на ногу.

— Так что же, что казаки? — настаивал командир.

— Воры они, ваше высокоблагородие.

— Дурак! — заревел вдруг Лопатин. — Я тебе покажу воров!.. Пошел вон, сукин сын! — Мигулин немедленно скрылся. — Распустили вы своего болвана!

— Из чего это видно? — возмутился Андрей.

— Пояс у него как одет? Пряжка на заднице болтается. Нестроевщина!

— Разве что пряжка.

— В разговоры мешается!..

На утро командир сообщил, что в Фолтиченах дивизиону дается дневка, и он предлагает Андрею ехать вперед одному, подготовлять квартиры и узнавать дальнейший маршрут.

Андрей погрузил кровать в тарантас, посадил с собой Мигулина и помчался вперед.

— Вино закупайте, — закричал ему вслед Лопатин,— все, какое встретите...

Сады и палисадники Фолтичен еще только сбрасывали сухие осенние листья. Стаями пестрых птиц, которым подрезали крылышки, ветер нес их по асфальтовым тротуарам главной и почти единственной улицы.

Резные и чугунные решетки, ампирные колонны особняков, легкость построек с массой стекла придавали городку вид богатого дачного поселка. Здесь не чувствовалась война, хотя у Кимполунга уже давно шли жестокие бои с германцами, пытавшимися пробиться сквозь двойной кордон карпатских вершин и русских дивизий в молдавские долины.

Нарядный городок неожиданно оборотился грязными и нищими предместьями и исчез за поворотом шоссе. Андрей обогнал батальон спешивших на юг туркестанцев. У солдат были вдребезги разбиты сапоги. Присаживаясь на обочину, они, ругаясь, кое-как подвязывали отстающие подошвы. У многих ноги были в тряпках и лаптях, и потому колонна не имела вида, была оскорбительно неуклюжа и неопрятна.

Он обгонял хлебопекарни, саперов и кавалерийские эскадроны, парки, транспорты, повозки фуражиров. Колбасники медленно на руках несли к югу наполненную газом большую, как бы ливерную, колбасу. Казаки пели, стоя в седлах, и на концах их пик торчали подхваченные по дорогам с лихостью и меткостью цыплята, утки и даже поросята...

Первая ночевка была намечена у большой узловой станции Пашкани. Здесь железная дорога из Ясс поворачивала на юг к местам ожесточенных боев с наступающими от Бухареста германскими и болгарскими войсками. Станция походила на плотину, через которую прорвался водопад, низвергавшийся под каким-то упорным давлением со стороны русской равнины на узкую полосу молдавской земли, стиснутой между Карпатами и Прутом. К станции один за другим подходили куцые воинские эшелоны. Здесь они поворачивали на юг, на Романь и Бакеу, или разгружались и шли пешим маршем к Карпатским ущельям, к Кимполунгу, Дорна Ватре и Пятра.

Комендант посоветовал ночевать в имении румынского боярина в двух километрах от дороги. Станция была забита предельно. На асфальте серыми кавычками в несколько рядов лежали навьюченные ранцами и

мешками солдаты. В крошечном зале было душно, несмотря на разбитые окна, и в буфете можно было достать только бабку из мамалыги, политую подозрительным и безвкусным соусом.

На помещичьем дворе уже стояли несколько колясок и тарантасов. Ветер волнами гнал вершины деревьев над крышей, над пристройками. С чувством неловкости Андрей направился к подъезду, увитому виноградом. Какой-то человек, скорей всего лакей или мажордом, предупредительно сбежал по ступенькам и спросил Андрея на ломаном польском языке, что ему угодно. Андрей ответил по-французски. Тогда с террасы послышался низкий женский голос:

— Vouler vous entrer, monsieur!

Дородная фигура большой женщины обрисовалась на верхней ступеньке. Андрей различил в темноте огромный, словно бы искусственный шиньон черных волос, черное платье и черную кружевную накидку на плечах. Он поднялся по шатким, хлябающим ступенькам.

Из освещенной оранжевым светом комнаты в обширную переднюю вышел старик в туфлях и бархатном пиджаке и вопросительно смотрел на жену и Андрея.

— C'est mon mari...

— Charmé de vous voir, — кивнул равнодушно старик. — Прошу вас, — он протянул руку Андрею. — Vous trouverez votre repos chez nous.

— Вы мне позволите в таком случае почиститься. Вы знаете, дороги...

— Да, да, конечно! — засуетилась мадам. — И потом прошу вас к столу. Будет еще один офицер, полковник князь Оболенский. Всех мы, конечно, не можем принять у себя...

Подходя к столу, Андрей представился, звякнул шпорами и приложился к руке хозяйки. Это окончательно подкупило помещицу, и за стол сели четверо очевидно довольных друг другом людей.

Полковник носил генштабистские аксельбанты и сперва было покосился на прапорщика, но, увидев на столе рубиновые и изумрудные графинчики, узкие

блюда и хрустальные вазочки с закусками, мгновенно подобрел, старательно засунул салфетку в разрез только еще входившего в моду у штабных английского френча с отложным воротником.

Над большим столом на массивных цепях чуть-чуть покачивался огромный теплый абажур, от чего стены обширной столовой отступали во мрак. Трудно было определить, какой стиль имел в виду владелец дома, создавая эту комнату.

Оленьи рога, клыкастая кабанья голова напоминали замки и охотничьи дома обедневших германских баронов, шелковые обои и хрустальные полки с фарфором тянулись к Франции, немецкая мещанская безвкусица проглядывала в подборе пейзажей и натюрмортов, среди которых попадалось и рыночное мастерство доморощенных артистов, и, наконец, повсюду на столах и стенках — румынские вышивки, которые повидимому должны были придавать национальный характер убранству дома.

Полковник ел, говорил и осматривал комнату, почти не скрывая своего аристократического презрения к хозяевам.

Хозяйка держалась в тени, поблескивала огромными глазами в гнездах синеватых теней и говорила с резким, румынским акцентом.

Хозяин сменил туфли на мягкие прюнелевые ботинки. Он ел мало, лениво, что-то диэтическое... Лицо у него было лишено каких-либо ярко выраженных национальных черт, и, наблюдая за ним, Андрей определил, что у него холодноватый и тусклый взгляд скептика, рассматривающего всю жизнь с вершины своих шестидесяти лет и пропускающего все чужие радости и горести сквозь желчь привычных болезней и потерявших остроту разочарований.

— Меня поразила пустынность и какая-то, ну... нищета румынских городов, — говорил полковник, укладывая анчоус на тонкий соленый бисквит. — В магазинах ничего. Полки зияют пустотой. Ведь Румыния всегда слыла сытой, хлебной страной.

— Ваши солдаты удвоили наше население, беженцы его утроили, — едва повел бровями хозяин.

— Кое-какие сделки с Германией, вероятно, сказались тоже, — высоко поднял вилку полковник.

— Продавали в обе стороны... Была выгодная конъюнктура, — спокойно хрустел сухарем боярин.

— Скажу прямо — ваша страна плохо встречает своих союзников.

— Почему вы думаете, что наша страна должна радостно встречать войска русского царя?

— Мы избавим вас от немцев.

— Немцы предлагали избавить нас от русских.

— От нас? Мы не владеем румынскими землями...

— Вы сулите нам Трансильванию. Вильгельм предлагал нам Бессарабию.

— Но Бессарабия никогда не принадлежала Румынии...

— Румынский народ,—подчеркнул поднятием пальца помещик, — считает и ту и другую землю насильно оторгнутой от него.

— Ого! — выдохнул из себя полковник.

Лоб помещика покраснел, и палец сухой руки задрожал у виска.

— Мне приходилось посещать Россию несколько раз. Мне показалось, что нам нечему у вас завидовать и нечего у вас перенять. Мы рады видеть в гостях русского аристократа, русского интеллигента, но боюсь, что русская армия — гость нам не по плечу.

— Вы хотите сказать, что предпочли бы дружбу с более культурным народом?

— Если вам угодно, — уже холодно, справившись с собою, сказал старик. — Разве вы находите это неестественным?

— Михо, — встревоженно сказала хозяйка. — Стоит ли говорить о политике?

— Я принесу вам один документ, — сказал вставая помещик. Шаркая мягкими подошвами без каблуков, он прошел в кабинет и пришел оттуда с картой, охваченной раскошным тисненым переплетом.

— Вот наша Rumania Mare, Великая Румыния, какою представляет ее себе наш народ.

«Великая Румыния» массивным шаром катилась к Черному морю по жирной синей нити Дуная. Она включала в себя и Бессарабию, и Буковину, и Банат, и Семиградье, и Добруджу, и даже Одессу и Аккерман.

— Но ведь это утопия! — вскричал пораженный Андрей.

— Вы увидите эту карту, — с гордостью сказал помещик, — в доме каждого румынского патриота, независимо от его ориентации. Разница только в том, что одни сначала хотят с помощью России отторгнуть у Австрии Семиградье, другие с помощью Германии вернуть Бессарабию. Только в этом разница. Можете мне поверить.

— А вы сами, мсье? — вызывающе спросил Оболенский.

— Я подчиняюсь воле моего короля, — склонил голову старик, — которого, как и весь род его, я глубоко чту.

«Dixit, — подумал Андрей. — Гогенцоллерны импонируют ему больше Романовых». — Простите меня, — обратился он к хозяину. — Вы говорите, что русские войска — бедствие для Румынии. Не тем ли окажутся и румынские солдаты на постоянной оккупации Трансильвании или Баната? Ведь разница в культурном уровне между Австрией и Румынией еще резче.

Хозяин сложил карту и завязал шелковые шнурки переплета.

— Прошу вас, — сказал он, — это настоящий шартрез. Последние бутылки... Монахи разучились делать хорошие ликеры. Гибнет старинное удивительное искусство собирания трав и приготовления напитков

Полковнику и Андрею отвели просторную комнату с окнами в сад.

— Чорт-те что! — сплюнул на клумбу полковник. — Уборная Европы и туда же — и патриотизм, и национальная гордость, и мечты завоевателей. Каторжники! Вы знаете, они ведь от каких-то там каторжан произошли.

Андрей напомнил князю, от каких именно, в каком веке и почему.

— Да, при Траяне, при Траяне, — забормотал полковник, посматривая на Андрея, как на человека, за которым вдруг замечено что-то необычное. — Вы что, из студентов? Ну, я так и знал, так и знал. А вы знаете, каким путем заслужили эту прекрасную постель?

— Не имею представления.

— Французский язык, но еще больше белые перчатки.

Андрей вспомнил, что, вставая из тарантаса, он машинально извлек из кармана шинели завалявшиеся там еще со времени отпуска старые белые перчатки.

— Ведь тут полон дом офицеров. Но все спят в пустых флигелях на полу.

— А вы взяли титулом?

— Ха-ха-ха, — расхохотался полковник. — Я такой же князь, как и вы. У меня, правда, княжеская фамилия, но Оболенских без титула хоть пруды пруди. Сам я в князья не лезу, но, когда меня называют князем, я не возражаю. Что от этого меняется? — заявил он голосом удовлетворенного человека и подбородком поправил завернувшееся на плече одеяло.

По дороге на Романь выпал первый снег, и на улицах веселенького, южного городка оснеженные деревья обступили просвечиваемые насквозь особнячки. Спать пришлось в пустом номере гостиницы на складной койке. Мигулин примостился на охапке сена на полу. Ночью вперемежку стучали зубами от холода.

Здесь все не нравилось Андрею.

В кафе подавали только мамалыгу и жидкий кофе. На обед предлагали желтовато-серый соус с кукурузным хлебом.

Магазины были пусты, как после ремонта. Парикмахеры не отпускали из закорузлых пальцев кончик носа во все продолжение бритья. Вино надо было покупать тайком с заднего крыльца. Ром походил на противотараканью жидкость. Кюрассо было поддельно, невзирая на высеченный в глине кувшина крестик. Жи-

тели смотрели волками. Шло повсеместное вселение штабных в обывательские квартиры. Евреи предлагали на улице обменять русские деньги выше курса. Лея катастрофически падала.

В Бакеу стоял штаб корпуса. Центр был наряден и напоминал Европу.

Предместья поражали нищетой и извилистыми улицами тянулись во все стороны, где только позволяли отроги гор, вплотную подошедшие к городу. Здесь было кафе с зеркальными стеклами, в котором сохранились отдающие краской пирожные и какао.

В одном семейном интеллигентном доме Андрей получил комнату на несколько дней.

Хозяйка кончила консерваторию в Бухаресте. Была заочно влюблена в Париж и рассматривала и расспрашивала русского с любопытством гида, попавшего в чужой и далекий город.

Вечерами к ней приезжал из лагеря ее родственник — офицер. Лошадь его была худа, как забор, и мала, как пони. Его ноги, обутые в дамские ботинки, болтались у самой земли. Садился он на нее, как садятся на велосипед. Щеки его были накрашены, как у местечковых красоток, и на боку висел узкий длинный эспадрон, походивший на бутафорскую шпагу оперного Дон-Кихота.

Он улыбался Андрею всеми, не знавшими еще бормашины зубами и говорил все те же несколько фраз на плохом французском языке. Он был настроен весьма не воинственно и не скрывал этого нисколько. Хозяйка вела хлопоты, имевшие целью спасти офицера от фронта.

В штабе корпуса рассказывали о неудачах румынской армии так, что трудно было отличить истину от анекдота. По словам штабников, румынская армия уже не существовала. Держится еще пока одна «железная» дивизия, и то «железо это — третий сорт». Остальных всех сняли с фронта и отправили в тыл для переформирования. Фронт от Кимполунга до Дуная держат русские. На бухарестском направлении фронт еще не остановился, и там возможны неожиданности.

О румынской армии офицеры говорили с презрительным возмущением

Такие разговоры шли повсюду. Штаб армии отдал приказ о том, что русские офицеры должны быть вежливы с румынскими офицерами и стараться первыми приветствовать их при встрече. Офицеры преувеличенно любезно щелкали теперь шпорами и прикладывали пальцы к козырьку, но при этом бросали на хозяев такие недвусмысленные взгляды, что румыны старались поскорее отвернуться и уйти. Мало-по-малу русские фуражки вытеснили голубые, на французский манер, кепи из всех публичных мест. Комендантами станций и городов, этапными начальниками стали русские офицеры. Страна завоевывалась с двух сторон, и румынская власть оказалась хозяином только на участке в несколько десятков акров королевского дворца в Яссах: да в больших тыловых городах Брнаилове и Галаце.

Дивизион подошел через три дня и немедленно был двинут по горной дороге на запад. Управление разместилось в большой деревне Григорени на перевале, укрытом от ветров со всех сторон. Здесь избы зажиточных крестьян стояли у самого шоссе, выставив к дороге обвитые хмелем и виноградом террасы. На задворках начинались в обе стороны крутобокие холмы Каменные стены и плетни отделяли квадраты виноградников от огородов и скудных садов. За холмами поднимались террасами лесистые горы, уступы которых спрятаны были от взоров стоящих на дороге, потому что она пролегала на самом дне узкого ущелья

Фронт на этом участке не двигался уже несколько недель Шли истощающие обе стороны бои за отдельные высоты Это значило, что зима застанет войска приблизительно на тех же местах и горные вьюги и заносы поставят предел наступательным действиям обеих сторон. Потому устраивались надолго, обстоятельно, делали запасы, рубили дрова в ближнем лесу, распределяли отпуска, посылали вестовых в Россию за спиртом, табаком и съестными припасами

Армейский карточный клуб занял лучшую избу на

въезде в, будучи расположен на большой дороге, имел в эту зиму шумный и заслуженный успех у всех проезжающих. Яркие огни до утра делали его маяком для всех офицеров, замерзавших на горном ветру, который крутил снежные столбы на пути из Бакеу.

XII

ПУЗЫРИ

В горах вьюги прекратили бои.

Теперь обе враждующие армии сражались с морозом.

— Ящиками человечину хороним, — жаловался знакомый главврач за преферансом. — Руки, ноги, так, свалим в кучу, ящик сколотим — и в землю. Знай режь, как на бойне. Лечение? Какое же. Оттает — ну, и имеете антонов огонь.

В лютую стужу в крещенский вечер Андрей забрался в окопы с капитаном Андрущенко. Коней оставили внизу, в лощине, где в наскоро сооруженных из бревен и еловых ветвей конюшнях дрогли на холоду лошади полкового штаба. Горные тропы кружили, ныряли в присыпанные снегом хвойные заросли, блестели на солнце вытоптанным следом, дугами разбегались по обочинам скалистых обрывистых берегов глубокого ущелья. Между фронтами далеко внизу под снегом и льдом успокоилась на зиму горная речка. Карпаты дыбились здесь частыми щетинистыми головами хребтов и отрогов, — неприступный заповедник между освоенными людьми долинами больших румынских и венгерских рек.

Здесь все живое таилось, пряталось, боялось света и открытого места. Под каждой сосной, у прицепившейся к боку скалы ели мог быть замаскированный пулемет; за камнем, поросшим снежным мохом, мог лежать враг — разведчик. Окопы рыли там, где земля уступала ударам лома. На скалистых обрывах накатывали гряды камней, и они служили брустверами сторожевым охранениям. Прятались в лесу, не разводя огня. Пехотные

офицеры жаловались на тяжелые условия: негде согреться, нельзя развести костер, часовые замерзают на посту, по ночам в белых саванах бродят крупные партии вражеских разведчиков, трудно доставлять в горы провиант, патроны, запасы. Солдаты злы, есть много дезертиров, участились случаи неповиновения.

Вечером луна поднялась над лесистым гребнем. Снег стал голубым, как и плывущие в небе облака. Деревья потрескивали на морозе. Все звуки были звонки и ломки. Снег стеклянной пылью хрустел под сапогом. Андрей и Андрущенко быстро сбегали по крутой тропинке в тыл.

Догнали троих. Двое под руки ведут мороженного. Закинув голову назад, он стонал, припадая на каждом шагу.

На повороте задержал какой-то неожиданный, непонятный звук.

Андрущенко наклонился над обрывом и поманил Андрея.

На крохотной площадке в свете луны, крепко захватив локтем винтовку, прыгал на месте часовой. Воротник шинелишки был поднят. Облезлая папаха натянута до подбородка. Он ничего не видел. Он мотал головой, дул в руки, раздвигал и сжимал плечи и каждую секунду со скверной злобой громко вышептывал одно и то же матерное ругательство.

— Вот так и замерзают, — сказал Андрущенко. — Попляшет, умается и сядет... Ну, пошли, пошли, Мартыныч, а то и мы сядем...

Мигулин крепко натопил железную печку, и Андрей отогревал ноги на решетке. Уголья каленым золотом переливались в синих огоньках, и Мигулин, потушив лампу, сидя на корточках, тихим голосом передавал новости.

— Безрадостный ты человек! — говорил Андрей, потирая руки, — все у тебя невеселое.

— Веселого нету, это верно, ваше благородие, — виновато улыбнулся Мигулин. — Вот у Чуйкина, ящичного, месяц как ребеночек помер, а теперь жена... Он

уже третий год, как с дому... А у нашего Проскурякова...

Мигулин железным прутом шевелил угли, а потом опять говорил. Усы его топорщились, вспыхивая навстречу печным искрам рыжими ниточками, и лицо в рябинах быстро увядало, и глаза привычно тосковали. Никогда не повторяясь, словно нельзя дважды поднять на ладонь чужое горе, он пересыпал перед Андреем свои и чужие печали, царапины и удары, запутанности в жизни, какие приносила война. Где-то далеко был Оренбург, где «бедували» Вера Андревна и детки, и еще были какие-то другие села, деревни, посады, в которых день за днем, проклиная эту войну, этот фронт, разорялись, беднели солдатские семьи, уже потерявшие надежду на лучшее. Чаще всего он говорил о своих, управленских, для кого Андрей был первый и главный начальник, и нельзя было принять его слова за просьбу о помощи, но нельзя было и уклониться от размышлений. Однажды Андрей, наслушавшись мигулинских рассказов, не в очередь отпустил ездового, у которого умирала жена, и на другой же день вся команда перебывала у него в халупе. У всех оказались настоящие, не выдуманные нужды, острые, терзающие, лишающие спокойствия. Но ведь у того, что с матерным словом часами прыгал под обрывом, наверное не лучше...

— Нестерпимо стало солдату, — приговаривал Мигулин. И, казалось, дальше он не находил слов для своих мыслей и опять мешал уголья самодельной кривой кочергой...

Внизу, в Бакеу, стояли ночные очереди за мамалыгой. Хлеба не было и в помине. Товары взлетели в цене и стали недоступны для населения. Сапожники весь товар кроили на офицерские сапоги по сто рублей пара. Шла спекуляция не только русской, но и французской и английской валютой.

Богатые семьи уехали в Яссы и в Россию. Беднота откровенно попрошайничала у солдат.

В Бакеу в кафе, где больше не было кремовых пирожных и единственный еще уцелевший товар — песоч-

ное печенье отдавало постным маслом, стали завсегдатаями два французских офицера в голубых кепи с золотым позументом, в широких, мышиного цвета плащах. В один из приездов Андрея за угловым «французским» столиком, у окна, который никто теперь не занимал, их оказалось четверо. А потом на площади перед серым зданием почты Андрей и Кельчевский увидели маршировавшие ряды румынских солдат в серых штанах и плоских, как выгнутые сковороды, стальных шлемах. Поодаль у решетки сквера кутался в плащ толстый француз. Он притоптывал ногой в крагах, надрывно кашлял, дергал рыжий ус и иногда гортанным голосом кричал что-то тонконогому румынскому офицеру, который носился бегом от француза-инструктора к марширующей роте и обратно. Француз явно был недоволен. Уверенный в том, что его никто не понимает, он бранился на гасконском жаргоне, обзывая самыми похабными словами румынских солдат, страну и все на свете, а главное, погоду и свой кашель.

— Не нравится французу, — усмехнулся Андрей, — зря полез. Главное, идиоты, не могут понять, что плащи надо оставлять во Франции.

— Лучше в плаще в Румынии, чем в шубе под Верденом, — возразил Кельчевский. — В штабе говорят, их здесь будет много. Они будут воссоздавать румынскую армию.

— Проще было взять русских инструкторов.

Кельчевский ухмыльнулся.

— Не верят вашему брату... Да и потом румын надо не только обучать, но и вооружать. У русских у самих нехватает... Вообще — чьи деньги, тот и хозяин.

«Чорт возьми, кто же такие в конце концов эти союзники?! Рыцари, братья? Или во всем этом один голый расчет. Например, англичане... вчера — враги, сегодня — союзники. Поделили Персию, готовы поделить Турцию. Братство по грабежу... Вообще надо было давно все это додумать до конца, без всякой слабости или трусости мысли, хотя бы это тысячу раз не сходилось с канонами».

Хозяйка первой квартиры Андрея в Баку обрадованно шептала:

— В вашей комнате поселился французский полковник Парижанин, богатый. Настоящий аристократ.

— Не тот, который гоняет солдат на плацу и кашляет?

— Что вы! Он — представитель каких-то крупных заводов. К нему относятся с большим респектом. Начальник штаба вашего корпуса был у него с визитом. Ему присылают какие-то ящики. Там и какао, и духи, и изящные книги. Вот посмотрите, — она бросилась к туалету — Не правда ли, очень мило? — Она вертела в густо накрашенных острых пальцах маленький пузырек духов

— А как ваш родственник?

— Он уже давно при штабе. Переводчиком. Так близко, чрезвычайно удачно.

— Непонятно, — говорил Кельчевский на обратном пути, — из кого же здесь набирать армию? По деревням не видно ни одного парня. Старики да подростки. Интересно, как они будут засевать этой весной поля? Неужели одни женщины?

— И лошадей не видно.

— Ну, это еще что! Заметили, здесь ведь до сих пор пашут сохой. Такой чернозем и соха! Ай-яй-яй! Ну, в соху сами и впрягутся и потянут.

— И вместе с тем миллионные закупки орудий, пулеметов

— Война — это, я вам скажу, большой фокус... И знаете, — он наклонил голову к Андрею, — будут большие неожиданности.

В последнее время среди офицеров стало модно говорить загадочным тоном рискованные вещи. Отходя ко сну, говорили о Думе и о партиях. Обсуждали вопрос об ответственном правительстве, согласно ненавидели Распутина, шопотом передавали слухи о том, что готовится дворцовый переворот. Яростно спорили, кто стоит во главе заговора — Николай Михайлович, Павел Александрович или сам Николай Николаевич.

Слухи и вести из столицы поднимала сейчас же тысячеустая молва. Отпускники вынуждены были все выкладывать до нитки. Все это было бы еще год назад необычно для действующей армии, нестерпимо с точки зрения кадрового офицера, но теперь даже старые командиры только глухо скрипели, прислушиваясь с тревогой к крамольным речам, и долго сидели по ночам над секретными донесениями по команде.

Письма и газеты запаздывали на десять-двенадцать дней. Румынские были непонятны и нелюбопытны, Они превратились вследствие бумажного кризиса в крохотные листовочки, густо запечатанные, без заголовков, аншлагов и объявлений.

Память о Татьяне придорожной часовней стала в воспоминаниях Андрея.

Образ Катерины за эти два года незаметно растаял, как тает отчетливый профиль на стекле, когда лампу уносят в дальний угол. Андрей несколько раз спрашивал у родных ее адрес. Адрес часто менялся, и, может быть, поэтому письма оставались безответными.

Елена писала часто. С течением времени вошло в обычай у обоих писать аккуратно раз в неделю, за что офицеры прозвали Андрея немцем. Если почта залеживалась где-то на границе — Андрей нервничал. Сиреневые конвертики были необходимы, как освежающее голову утреннее умывание у колодца. Елена писала о матери, о братьях, о черниговском обществе, о доме дяди, у которого они гостили.

Дядя, единокровный брат матери, был делец, еще не старый холостяк. В Чернигове ему принадлежал плоский дом, с перегородившим весь почти тротуар крыльцом. При доме был молодой сад, в котором с рассвета ковырялся садовник-любитель, никем не стесняемый и никем не руководимый. Дядя постоянно носился из города в город, из столицы в провинцию, что-то организовывал, продавал, покупал. Его круглая, седеющая голова с широко рассаженными белого рога очками всегда смотрела поверх собеседника. Он был нетерпелив, непоседлив, органически нуждался в

частой перемене места, объехал весь свет, украсив желтые чемоданы свиной кожи марками лучших отелей Европы, Америки и даже Австралии. Азию и Африку он презирал. Он никого не любил, ни с чем не считался, был жесток и упорен, мечтал попасть в Государственную думу, для чего искал популярности, благотворил, участвовал в издании какой-то газеты. По-настоящему же он был привязан только к лошадям своего завода при имении.

Так описывала своего родственника Елена. Андрей понял из ее намеков, что у дяди есть в Чернигове побочная семья. Можно было догадываться, что она не единственная.

Дядя рисовался Андрею современным дельцом, для которого война — это сделки, поставки, высокая деловая конъюнктура, прибыль, нажива.

О богатом дядюшке Андрей слышал еще от Трегубенки. Имение его на границе Черниговской, Полтавской и Курской губерний было богато и благоустроено. Долгое время он ни копейки не давал бедным родственникам, потому что ненавидел при жизни отца Елены, добродушного, но заносчивого гвардейца, и это было не легкое дело сблизить его с семьей старшей сестры, с которой они не сходились характерами, порознь провели детство и в течение десятков лет не поддерживали никаких сношений.

«Я умоляю маму вернуться в Носовку, — писала Елена. — Ведь у нас в домике не так уж плохо. Скажите, дорогой, что не плохо. Здесь же много больших комнат, но все это чужое, более чужое, чем в любом доме простых знакомых. Дядя раздражителен. Он морщится, если в его большом нелепом зале кто-нибудь передвинет хотя бы один предмет. Он не терпит звуков рояля, но зато свистит по полчаса перед клеткой своего любимого кенара, который, по его словам, может спорить с курским соловьем. В доме у него все блестит: паркет, стекла окон, его очки, его лысеющий лоб и шелковые отвороты фрака, и от этого пустынного блеска холодно и неприятно, как от смоченных

дождем гранитных плит. Он заставляет нас ютиться в одной комнате. Но, когда приезжают гости, мы должны одеваться и церемонно принимать их в парадных комнатах.

«Мама так страдает. Я вижу, что она терпит все это для меня, а мне все это не нужно, и потому вдвое тяжело...

«Больше всего меня поражает отношение дяди к войне. Он приобретает акции военных заводов и хлопочет о крупной поставке. Его расчеты захватывают уже восемнадцатый год Господи! как можно так холодно рассчитывать. Если бы это было не на моих глазах, я бы не поверила!..»

Андрей мечтал в письмах о том, что летом у него будет отпуск, он приедет в Чернигов, и тогда они решат, как им поступить, чтобы никогда больше не разлучаться...

От Петра пришло одно-единственное письмо. Оно явно было вскрыто цензурой и, судя по датам штемпелей, путешествовало по каким-то инстанциям несколько недель. Можно было поражаться, как оно вообще дошло по назначению.

«Дорогой Андрей, — писал Петр. — Не писал долго потому, что было не до писем. За эти месяцы я успел проделать кампанию. Больше не поражай меня, пожалуйста, твоим военным опытом и картинами баталий, — все это теперь знакомо, видено своими глазами, а это совсем не то, что рассказы, хотя бы и самые талантливые.

«Вылетел я в маршевую роту, как из пушки. Вечером еще не знал, что утром буду назначен на фронт. Заслужил я эту высокую честь защищать с оружием в руках престол и отечество следующим образом. На воскресный день я ушел из казармы и отправился на Выборгскую к своим знакомым. У приятеля на квартире собралось немало народу Все народ фабричный, башковитый. Время было горячее, споры еще горячей, — прохлопал я время и явился в казарму после проверки. Фельдфебель кругом меня зверем ходит,

чувствую я, как у него кулаки чешутся. А я тоже весь, как осиновый лист, дрожу и только думаю, что будет, если опять по мордам нашлепают...

«Стукнуть он меня не посмел, — настроение мое наверняка почувствовал, — но зато побожился перед всеми, что с первой маршевой ротой ушлет на фронт. Я не выдержал и говорю:

«— Рад служить царю-батюшке, господин фельдфебель!

«Ему крыть нечем. Посмотрел на меня ласково и пошел. А на утро доложил ротному; ну, а тот и рад. Даже попрощаться с приятелями не дали, как раз рота уходила, меня в нее и втиснули.

«Больше всего жалел о том, что не удалось перед отъездом на фронт побывать у выборжцев, много советов можно было бы получить, но, впрочем, я и сам знаю, что надо делать.

«Повезли нас прямо под Ковель. А там бои идут вовсю. И вся гвардия на позициях. К позициям со станции шли, а земля гудит, по небу зарева плывут. Разбили нас по-батальонно и сразу в окопы. Не успел, брат, я и посмотреть, где что... Ты писал, что итти в атаку страшно, а я тебе скажу, что еще неизвестно, что страшней: перебежкой на проволоку итти или в окопе под огнем часами сидеть. В тот день, как я в окопы попал, немцы контр-атаки вели и громили наш полк чемоданами. Потом рядом со мною мина взорвалась. Немцы в воронку полезли. Только их отбили, а тут приказ нам в атаку итти. Так вот я на третий день, после того как вылез из вагона, пошел в наступление.

«Ты меня убей, Андрюшка, если я представлял себе, что можно через болото, через проволоку, против пулеметов, против пушек с ружьишком переть. Посмотрел я кругом, думаю, лечь и умереть, да и только. Нет, гляжу, соседи полежат, полежат, да и перебегают, и проволоку режут, и «ура» еще кричат. По дороге за кустами прячутся. А тот кустик, не то что от пули, от ветра не защищает. Я было лег за горкой в сажень высотою, да тут бы и отлежался — такой мне эта горка

показалась, ну, словно родная — да надо мною уже сычит фельдфебель с наганом. «Ползи, — кричит, — что разлегся!» Ну, я и пополз. Пуля-то, что в лоб, что в спину — один чорт! Ползу я и все на других смотрю. Человек, Андрюша, такое может сделать, что и спросить с него страшно и, когда смотришь на это, бодрость разбирает. Значит, людей в эту молотилку не долго посылать будут. Вот, когда пойдут люди против тех, что войны устраивают, — пусть будут у них и пулеметы, и пушки, и минометы и еще чорт-те что, газы там, аэропланы, так я с хорошими ребятами на такую траншею попер бы, не оглядываясь. Но, когда нужно переть на Ковель во славу царя и веры православной, тут, извините, что-то неможется...

«Ушел фельдфебель, а я опять на краю болота за песчаным бугром залег. На этот раз фельдфебель надо мною не оказался, а когда наши назад побежали, — и я с ними.

«Гляжу, а у самого окопа лицом кверху тот самый фельдфебель лежит. Пуля у него правый ус отщелкнула, и струйка черная по щеке на траву стекает... Вот ведь чортова порода людей! Добро бы офицеры. А эти чего стараются? Ну, да люди, впрочем, пока что свои интересы редко понимают. До чего мозги забиты! Миллион людей на фронте, и у каждого винтовка и патронташ набит. А цыкнуть на него, — он и замрет, и, как живой истукан, выпучит глазища и идет, шагает на пулемет, на проволоку. И нелегко ему глаза открыть. Он их откроет на минуту, самой простой правды испугается и опять закроет. Ну, да ничего — время свое возьмет!

«Ну, так вот. Бегал я в атаку и вернулся, а на другой день пришло к нам новое пополнение, и пошли мы опять выбивать немцев из блиндажей и окопов. Вот тут мне и досталась пуля в ногу. И скажи, как счастливо — кость не повредила, только нервы какие-то там задела. Я было пополз к окопу. В глазах темно, нога болит, хоть вой, а тут еще одна стерва догнала... шрапнельная... и в плечо угодила. Кусок лопатки от-

хватила, но дальше не пошла. Тут уж я упал и только ночью меня подобрали. У самого бруствера и лежал, должно быть, пришел в себя и застонал.

«Ну, возили меня с места на место, операцию делали, а потом в питерский госпиталь определили. Сейчас я уже оправился от потери крови и от ран. Наверное признают годным к службе и погонят на фронт. Но с месяц еще подержусь. Сейчас лежу в госпитале на Фонтанке и пишу тебе, как видишь, сам. Это уже прогресс!

«Ну, будь здоров, друг. Напиши мне в госпиталь срочно. Потому, где дальше буду, — это один Аллах ведает.

Петр».

Чем дальше отходил Андрей от Горбатова, тем больше сгущались воспоминания о гимназических днях, тем больше весь быт горбатовский складывался в памяти в большую, чуть поблескивающую зернами мозаичную картину.

Куском этой мозаики был Петр.

Годы отделили двоих друзей, но, каким бы ни был новый Петр, нашедший, повидимому, в жизни свои пути, он был вписан в эту горбатовскую памятку и потому всегда был дорог и близок. Прежде всего это был хороший, честный парень, который больше всего на свете хотел учиться. Учеба не давалась в руки, но Петр не сдавался. Это была борьба, в которой Андрей хотел чувствовать себя спутником Петра. Он помогал ему преодолевать большую несправедливость.

Тем не менее Андрей был сам удивлен тем волнением, которое охватило его при чтении письма. Две пули в одну атаку. Говорят, на Стоходе, под Ковелем, шли жесточайшие бои. Вот бедняга. И теперь опять погонят парня на фронт. Может быть было бы лучше, если бы повредило его основательнее и он навсегда избавился бы от военной службы...

Все-таки в пехоте тяжелее всего. И тут же у Андрея мелькнула мысль, как бы перевести Петра в артил-

лерию. С обычной для него порывистостью, которая прекрасно уживалась с ленью, он написал письма Кольцову и Соловину с просьбой принять в дивизион дважды раненного гвардейского солдата Петра Стеценко.

Попутно он описывал жизнь в парковом дивизионе, не щадя ни слов, ни образов для того, чтоб оттенить разницу между боевой частью и парковой. Он искренно доказывал, что на батарее все было здоровей, чище, человечней. Тыл, да еще ближний, — это брошенная на солнце, загнивающая коробка консервов. Парк — это охвостье фронта. Из тыла надо бежать.

И неожиданно для себя он закончил письмо просьбой принять обратно в дивизион и его самого, а после обеда наскоро, нервничая, настрочил рапорт по команде с просьбой о переводе в боевую часть, в полевой отдельный тяжелый дивизион.

Андрей знал, что в таких ходатайствах не отказывают, и только согласование между двумя фронтами займет немало времени.

Лопатин покачал головой, выразил какое-то весьма казенное сожаление и в углу наискось начертал:

«Дать ход по инстанции».

Тихие воды зимнего прозябания иногда пузырились будничными событиями, инцидентами, анекдотами. Шум, поднимавшийся вокруг них, напоминал летнюю лужу после дождя — шум упорный, на одной, кем-то первым взятой ноте...

Андрей недоброжелательно встретил вызов в штаб к офицеру для поручений, который после туманных и витиеватых предисловий стал его расспрашивать, кто такой Петр, корреспондирующий ему из Петрограда.

Андрей теперь сообразил, почему так долго шло письмо Петра. Конечно, оно было непростительно, легкомысленно. Хорошо, что не было в нем прямых указаний, кем оно написано. В Питере много запасных полков. В них сотни тысяч Петров...

— Ваш долг указать нам адрес этого человека.

— Это мой друг, и я не хотел бы...

— Погодите, погодите. Напрасно горячитесь, прапорщик. Смею вас заверить, что ваш друг интересует нас меньше всего. Такие письма, как он, пишут сейчас очень многие солдаты. Я бы мог вам показать сотни. Он открыл ящик стола и небрежно пересыпал пачку грязноватых солдатских писем. — Не в нем дело... Но он легкомысленно связался в Питере с организацией взрывателей, негодяев, подрывающих оборону. Надеюсь, скрывать их, способствовать их работе у вас нет оснований, прапорщик?

Он смотрел пронзительно.

Андрей молчал.

— Не хотите же вы молчанием своим покрыть тех, кто отдаляет победу, кто против престола и армии?!

Упоминанием о «престоле» была испорчена игра. Андрей почувствовал, что ни за что на свете не выдал бы этих неизвестных ему людей с Бабурина переулка...

— Об этих людях я ничего не знаю, а о своем друге я ничего не скажу, господин капитан.

Капитан встал, Андрей последовал его примеру.

— Мы, разумеется, сыщем вашего корреспондента и без вашей помощи, но ясно ли вам, прапорщик, какие последствия для вас лично может вызвать ваш отказ?

— Не ясно, конечно. Мне не приходилось... Но я все-таки ни о чем не скажу. Ищите сами.

Он откланялся и вышел.

«Надо предупредить Петра, — подумал он. — Но как? Неужто в каждом штабе есть человек, который занимается таким сыском? И у них, повидимому, хватает работы?»

Какой-то невидимый простому смертному кусок жизни вдруг встал перед Андреем. Как если бы в саду у дома оказались подземелья, и там шла невидимая для всех какая-то напряженная борьба...

«Подполье!» — мелькнуло знакомое, но не раскрытое в своем смысле слово...

В январе карпатская зима свирепствовала во-всю. На горных дорогах термометр падал до сорока. То и дело гостеприимные парчки снимали окоченевших проезжавших мимо солдат и офицеров.

Отогревали их в избах, отпаивали спиртом и обыгрывали в армейском карточном клубе.

Однажды сняли с седла и Андрея. Долго оттирали его и ординарца снегом и спиртом. Потом распухли уши и щеки, и долго болели кисти рук.

Ленивая зимняя спячка спокойного бивуака не сблизила с офицерством, но оторвала Андрея от солдат.

Солдаты ютились по халупам. Лес был близок, печи топили, как в бане. Распаренные, красные, раздетые до пояса, часами пили чай, щелкали семечки. Как праздника ожидали отпусков.

Отпуска давали щедро. Около крохотных легких павильончиков румынских станций день и ночь толпились пехотинцы, артиллеристы, саперы. Они наваливались на проходящие, какие-то невсамделишные румынские поезда, как муравьи на щепку, которую снесло наводнением. Рискуя упасть на ходу, садились верхом на буфера, ложились на крыши, забывали нагибать головы перед многочисленными мостами и входами в туннели, и каждый день по дорогам находили замерзших, с раскроенными черепами, потерянных поездом людей...

Румынский транспорт изнемогал под тяжестью тройной нагрузки. Солдаты презрительно говорили о румынских дорогах:

— Гаврила, крути!

Пошло это крылатое выражение оттого, что тормоза на румынских вагонах были ручные, и на частых спусках, потея и надрываясь, на каждой площадке крутили тугое колесо бородатые цыганоподобные румыны-железнодорожники.

Отпускники привозили из России на чужбину разное. Одни — пачки отсыревших за пазухой желтых рублевок — невиданные прежде для мужика-солдата

деньги, гармошки, синие офицерские штаны, собственные сапоги, куски сала, домашние папахи, ватники, одеяла, а другие — горькую нужду, которая легко помещалась в грязном вещевом мешке между цвёлой коркой и тремя луковицами... Видно, в тылу одни быстро богатели, другие разорялись. Бедняки приставали к товарищам злою тенью, вели назойливые разговоры, в которых в разных вариантах соединялись голодающая жена, умершие дети, незапаханное поле, сгоревшие клуни, померзшие виноградники, павшие лошади, сломанный плуг, долги богатеям — петля на шею! — разорение и нищета.

Богачи на чердаках азартно играли ночами при сальных огарках в двадцать одно. Звенели кисетами с серебром, пили чай с салом, икали и истово крестились, благодарные за то, что бог уберег от передовой линии, от пехоты. И те и другие мечтали о мире, но каждый по-своему, по-разному.

Андрею не довелось прожить спокойно короткую румынскую зиму. В конце января он был назначен начальником артиллерийского склада на горном перевале в деревне Сандулени.

— Это — временно. Корпус срочно потребовал от нас офицера, — успокоительно говорил Лопатин. — Через пару недель затребуем вас обратно. Жалованье, столовые, — все остается по-старому...

Андрей не мог избавиться от подозрения, что полковник рад разлуке со своим адъютантом.

В день отъезда пришло письмо от Елены. Короткое и неожиданное по своему содержанию. Дядя внезапно умер во время поездки в город Нижний. Все состояние досталось Ганским. Ни смерти дяди, ни такого завещания никто не ожидал. Елена была захвачена событиями. В Чернигов были вызваны с фронта оба брата.

«Что будет дальше, не знаю, — писала Елена, — но я так рада за маму и за Костю. Мы с Михаилом будем, вероятно, богаты их радостью. Обо всем напишу на днях. А пока прости, милый!

Твоя Елена».

XIII

САНДУЛЕНИ

Дорога неудержимо стремилась кверху, она поднялась бы на самый гребень, с которого карпатский мир в обе стороны казался одинаковым и равным в своем хаотическом безумии, но две плоские, лысые вершины неожиданно расступились, и она проворно нырнула в ущелье.

На южном склоне этой неглубокой седловины, открытой ветрам, выстроилась вдоль шоссе деревушка Сандулени. Крепкие хозяева и здесь поставили свои усадьбы у самого шоссе, обнесли их зелеными заборчиками из узорных досок, приделали к ним нарядные крыльца, выкрасили ставни. Избы победней шли в гору. Желтые пятна выгоревших за лето виноградников лежали еще выше и казались ветошью, которую сушат на солнце.

Мигулин шел с расплывающимся от довольной улыбки лицом, было ясно — он одержал какие-то победы.

— Нашел?

— Так точно. Чисто, и стол вам для писания есть. Хозяева-старики остамшись. Подушки и ковер убрать хотели. Велел я оставить. Оно так способней...

Комната светилась и от больших окон, схваченных, как и всюду в Молдавии, редкой решеткой, и от беленых стен и потолка, и от множества белых полотенец, по которым гуляли, растопыривши крылья, петухи из мелких красных крестиков.

В углу подушки поднимались четырехугольной башней. Почему они не падали? Казалось, они проткнуты невидимой палкой от пола до потолка. Цветные одеяла, уложенные массивной стопой, подпирали белую гору. Вдоль стен на широкой, для спанья, лаве шел грубый ковер. Красный пояс еще более подчеркивал белизну комнаты. В углу с лубка глядел бородатый Александр Куза с супругой, а за ним — единственно напоминавший о России Николай-чудотворец.

Старуха, вздыхая, впустила Андрея.

— Не бойся, бабочка, — похлопал ее по плечу Мигулин. — Все будет бини!

Старуха кивала сморщенной головой в повойнике. Черный дед, нелепо большой, безучастно, как музейная фигура, глядел из сеней.

— А кто соседи? — спросил Андрей Мигулина.

— Тоже парковые... Только автомобильные. У них, ваше благородие, автомобили, как дома. Я и не видал таких. А снаряды все равно, как у нас.

Андрей отправился к соседям с визитом.

Офицерская комната в соседнем доме была еще больше, и окна ее глядели в обе стороны — и в гору и на глубокую, уступами спускающуюся к западу долину. Здесь и подушки и лавки были вынесены, голые стены и койки в ряд — и только на широкой лежанке примостилась чья-то, должно быть любителя тепло поспать, тощая постель.

За столом, широко распространившись, одиноко сидел офицер с капитанскими погонами. Выцветшая, желтой кожи, куртка, смятая, засаленная, в рубцах, казалось, не в состоянии была обнять его необъятные плечи. Лысая голова была красна даже у темени, как после бани. Белел только кончик чуть приподнятого узенькой лопаточкой носа. Плешь на висках шла клочьями и прогалинами, как поросшее кустами снежное урочище. Глазки были бесцветны, пытались улыбаться и даже изображать приветливость. Все от ног и до пальцев рук было в нем мужицкое, квадратное, и напоминал он старшего конюха большой помещичьей конюшни.

Когда он, подавая руку, назвал одну из известнейших в империи фамилий, Андрей посмотрел на него с удивлением.

В углу за печью нескладный, длинный офицер, с лицом уральца или волжанина, держал на коленях гитару и большую, в человеческий рост, куклу. Он был так длинен и широк, что мог бы поместить в своих объятиях вдобавок ко всему еще и боченок пива. Огром-

ными пальцами одной руки он бродил по струнам гитары, стараясь поменьше двигать той, которая охватывала талию куклы.

Кукла была ярка ослепительно. Щеки и волосы ее были окрашены в те непоколебимо устойчивые цвета, которыми побеждают улицу рекламы и обложки английских Magasins,[1] и открытые матовые плечи ее напоминали глянцевый лубок императорских портретов. Но вот кукла повернула голову, и эта красочная схема внезапно ожила и вся заискрилась, как хрусталь, в свете вечерних огней.

Это была румынская девушка. Ей было четырнадцать или пятнадцать лет. Можно было рассматривать ее часами и нельзя было найти ни одного недостатка в строении ее ног, рук, пальцев, черт лица.

Андрей с трудом отвел глаза от девушки, пожал руку офицерам и стал разговаривать с командиром. Командир сообщил ему, что дивизион — один из семи только недавно сформированных с орудиями и автомобилями, полученными от союзников через Владивосток. Он воспользовался географическим экскурсом, который изображал в воздухе коротким пальцем, и стал рассказывать не то Андрею, не то своим офицерам последние новости с видом человека посвященного, который, по понятным причинам, никогда не скажет все до конца, но уж чем можно, тем по-товарищески поделится. Должно быть, для достоверности, он вынул из бокового кармана два толстых конверта, положил их перед собою и ткнул в них по очереди пальцем.

— Вот один брат пишет — дипломат из одной европейской столицы, а вот другой, из ставки.

— Это тот, который был губернатором... — начал было Андрей.

— Да, тот самый, — перебил командир. — Знаете?

— Ну, конечно.

Андрея оставили обедать. Было скромно, невкусно и очень скучно. Высокий офицер, Борисоглебский, кор-

[1] Magasine — мегезин — анг. журнал.

мил свою девушку с ложки, не отпуская ее ни на минуту и за обедом. Девушка молчала, обводила всех черными цыганскими глазами одалиски, равнодушно, как должное, принимала исключительное к себе внимание офицера, много ела, а офицер жестами предлагал ей мясо и суп, разламывал для нее пальцами хлеб, утирал салфеткой губы, отчего девушка еще больше походила на заводную куклу.

Это был роман вмолчанку. Окончив обедать, офицер на руках снес девушку обратно на лежанку, а сам сел в двух шагах и закурил.

К девушке подошла румынка лет двадцати, красивая, но далеко не такая яркая, может быть сестра, что-то сказала, и девушка змейкой скользнула с лежанки. Но офицер вскочил и перехватил ее еще до порога. Он спросил что-то по-румынски и, взяв девушку за руку, вышел с нею из избы.

— Прищемило хвост парню, — сказал командир, глядя на дверь. — Язык их дурацкий для нее изучает. Хочет везти в Россию...

Шоссе шло вниз далеко забегающими в сторону петлями и глубоко в долине серой струной прямило к новой цепи гор, за которой был фронт. Над мелкими волнами дальнего хребта седым шатром поднималась одинокая горная вершина. И склоны хребта и долина с ниточками рек и потоков казались безлюдными. Только в бинокль можно было различить группы деревенских построек, зарывшихся от зимних ветров в ущелья и ложбины предгорья. Снег редкими пятнами лежал на склонах гор, совсем исчезая в долине. Андрей отшагал несколько километров в сторону от поселка, не встретил ни души и вернулся назад.

Склад занимал самую большую в деревне усадьбу, из которой выселили хозяев. В простых обветшалых сараях и в риге под охраной часового лежали, не помещаясь и выходя на двор, штабели снарядов, и только оцинкованные ящики с динамитом заперты были в небольшой глинобитной кладовушке. Солдаты охраны, все старики, занимали большую избу.

За снарядами из долины приезжали редко. Боев не было. Фейерверкеры представляли наряд и, откозыряв, уходили к фельдфебелю. Делать было нечего. Вечерами приходил фельдфебель с докладом. После официальных фраз Андрей усаживал его на лавку, прислонившись к печке, становился Мигулин, и начинался разговор о том, о сем. Эти беседы становились оживленнее, когда заходил телефонист штаба корпуса, еврей без образования, всем решительно интересующийся, развитой парень. В очередь с товарищем он обслуживал промежуточную станцию штабного телефона на перевале. Обыкновенно он оставался дольше всех, и тогда беседа переходила исключительно на политические темы.

Официально Габрилович приходил за книгами. Очевидно не очень доверяя либерализму офицера, он время от времени делал вид, что хочет уйти. Нужно было задерживать его. Выражался он всегда скромно, но сквозь эту робость нетрудно было понять, что о достоинстве своем он заботился нервно, неуклонно и неуверенно.

С течением времени он стал сообщать Андрею новости, проходящие по корпусному проводу. Изредка это было интересно, но большей частью это был штабной чижик на фронтовой Фонтанке.

Андрею хотелось сломить робость этого человека и получить собеседника на эти дни безделья. Но Габрилович не поддавался. Он пил какао, ел привезенные еще из Бакеу бисквиты, но сидел, как сидят на официальных визитах, и только своими знаниями и культурой, несмотря на сдержанный, почтительный тон, становился равным в беседе. Он был учеником у часовщика в Гомеле, и профессия научила его низко гнуть плечи и щурить один глаз Это был глубоко мирный человек, для которого даже пребывание в тылу было тягостно.

Дни проходили в тупом отсчитывании часов от утра к обеду, от обеда к ужину и ко сну. У парковых царила ненарушимая ничем, какая-то узаконенная скука. Здесь даже не играли в карты. Борисоглебский неизменно держал на руках Елену. Командир писал письма или раскладывал пасьянсы.

С румынами трудно было сговориться, солдаты команды все согласно чуждались командира. Оставались беседы с фельдфебелем, Мигулиным и Габриловичем. Поездки верхом были неинтересны и утомительны из-за крутых подъемов и спусков. В штабе корпуса, расположенном в десяти километрах к юго-западу, не было знакомых.

Вечерами накрепко закрывались румынские домики. В туманах поднималась над горными хребтами и над долиной тоскующая опрокинутая луна. Западная долина, на которую глядели окна, часто показывала только верхнюю поверхность растерзанного ветрами облака. Горы высились темнеющими, оторванными от основания вершинами и плыли в молочных туманах двумя обегающими лунный круг ожерельями. Можно было часами смотреть вниз на беспрерывно меняющую свои очертания долину. Мир твердых, определившихся предметов отходил, и Андрею казалось, что он сам плывет в клубящихся туманах, наедине с луною.

В эти дни сильно подвинулись вперед военные дневники и заметки, но они были наполнены таким отвращением к войне, что Андрей сам не мог признать их объективность. Он не уничтожал листков, записанных поспешным почерком, только как памятники своих настроений.

«Война отвратительна. Война страшна, но воевали и воюют миллионы людей, как воевали раньше, и, несмотря на рост вооружений, они не сходят с ума, они не превращаются в каменные столбы, они не седеют в один час атаки, и между двумя сражениями они пьют, едят, любят, соперничают, интригуют, ненавидят своими добавочными личными и групповыми ненавистями, которые всегда бывают острее самой войны.

Но войну нельзя зачеркнуть золотым пером Гааги. Стучаться в двери пацифизма так же бесполезно, как проповедывать христианство. Люди слушают проповеди, умиляются или черствеют, но все идут своей дорогой, и даже лицо проповедника помнится дольше содержания его беседы.

Простое отрицание войны не принесет пользы никому и звучит убого, как всякое отрицание факта.

Война поднимается сама, когда крестьянки нашивают на белое полотно лапоть, когда арабы вспоминают о том, что деды их были хранителями Средиземного моря, когда народ дает отпор народу-разбойнику, когда завоевателям не удается мирно поделить добычу.

В войны нередко вступают люди, верящие в силу и право войны.

Даже на этой войне есть отдельные энтузиасты. Но миллионные армии воюют из-под палки. Значит, нет войны «вообще». Есть войны и войны. Весь вопрос в том, кто с кем и из-за чего воюет...»

Он, Андрей, затерялся на этой войне между энтузиастами и принуждаемыми. До сих пор он не знает, кто он — защищающийся или нападающий, за что он воюет, в чем его право и кому служит он, направляя огонь этих могущественных орудий войны...

Но даже здесь, в спокойствии вершин, этот вопрос не подпускал к себе, и мысль, ослабев, уходила в свое, личное, более спокойное.

Люди, оставшиеся в долинах, врывались теперь в жизнь Андрея не часто, но всегда как-то нелепо, как бы для того, чтобы напомнить, что к западу и к востоку от пустынного лесистого хребта никто не помышляет о созерцательной жизни, что там все вещи тверды и не блуждают в лунных туманах.

Ординарец из дивизиона раз в неделю привозил пачками письма. Петр благодарил за содействие. Он действительно не прочь был попасть в артиллерию. Александр Зыбин написал туманное письмо, на этот раз без резонерских фраз. Андрею показалось, что их заменила рассеянная между строк растерянность. Письма из дому наполнены были жалобами на дороговизну жизни. Лидия, кончив гимназию, не знала, что с собою делать.

Письма Елены Андрей ждал, как приговор суда. Ему казалось, что перемена в жизни девушки сразу внесет

перемену в их отношения, но два письма Елены, пришедшие в Сандулени одновременно, размером, почерком, сортом бумаги и сдержанной нежностью походили на прежние. Можно было подумать, что пишет все та же тихая девушка из маленького домика, а не богатая наследница. Но, перечитывая письма, Андрей понял, что Елена сознательно избегает говорить о перемене.

В письмах нет ни слова о том, как она живет теперь, о планах на будущее... Значит, она отгораживает его и их отношения от всего, только что вошедшего в ее жизнь.

Андрей ходил по комнате, улыбался и сейчас же тревожно шептал про себя:

— Что-то будет, что-то будет.

А в глубине долины уже подготовлялся поход весны. Лопнули ледяные корочки на ручьях и потоках, вершинный снег водопадами холодной воды и шумными лавинами ринулся книзу, освобождая борта лесистых гор и лысые скаты холмов для травы, винограда и цветов.

В этот вечер Габрилович не пришел вместе с фельдфебелем. Андрей был не в духе — ординарец, посланный в дивизион за книгами, газетами и почтой, не вернулся. Все книги были перечитаны, предстоял незаполненный долгий вечер в томлении и мыслях вообще.

Габрилович постучал в дверь, когда Андрей уже готовился раздеваться. Он переступил порог, не дождавшись приглашения, впрочем, сейчас же извинился и даже подался при этом к двери.

— Может, поздно? Вы меня простите, — и, опять не дождавшись ответа, сказал: — Я хочу вам такое рассказать, что и не знаю, как рассказывать. И, может быть, я не имею права...

Его волнение побеждало его робость. Оно было разлито во всех чертах его лица и пробудило в Андрее острое любопытство.

«Что случилось? Несчастье какое-нибудь? Только несчастье может так взволновать человека», — думал он про себя.

— Не знаю, — растерялся Габрилович, и сейчас же сам взорвал свою нерешительность. — Ой, нет, не несчастье. Но только это такое...

— В чем же дело? Садитесь и рассказывайте.

Габрилович поднял и разжал влажный красный кулак. В нем были клочки бумаги, во всех направлениях записанные торопливыми буквами.

— Я вам прочитаю... Это из армии в штаб корпуса. Только вы, ради бога, не говорите никому, что я записывал телефонограмму. Это строжайше запрещено.

— Читайте, — просто сказал Андрей.

Сбиваясь в словах, путаясь и волнуясь, спеша, как будто эта бумажка вот-вот ускользнет и станет недосягаемой взору, Габрилович вычитывал фразы, которые здесь, на перевале румынских гор, были подобны колоколу в пургу.

Слова эти разодрали тьму за окном, сдвинули горы. Стена упала, и вещи растаяли в изменившихся пространствах. Все было неясно и непонятно. Ни одной реальной картины не осталось в воображении. В тумане сидел развенчанный самодержец в порфире и писал слова, которые ненависть миллионов, пистолет Каракозова, бомбы Гриневицкого и Перовской не могли вырвать у российского трона.

— Вы что-нибудь понимаете? — спросил Габрилович и, не ожидая ответа, стал читать письмо Михаила.

— И Михаил?! — воскликнул Андрей. — Значит, царя нет!

— Я не все успел записать, — извинялся он. — Но я помню смысл. — Нет больше Романовых, — крикнул он внезапно, забыв свою робость, словно эти, еще раз прочтенные вслух строки только теперь укрепили в нем веру в эту весть, скользнувшую по проводу от штаба армии к штабу корпуса.

Романовых больше не было, — это было ясно.

В сознании Андрея скоплялось электричество, которое требовало разряда. Хорошо, если бы кругом были люди, много людей, чтобы можно было сверху крикнуть им эту новость, чтобы лилось волнение от этих

замечательных слов, этот трепет перед будущим, чтобы рвущийся из горла крик можно было швырнуть в океан таких же согласных криков.

С расстегнутым воротом, в туфлях, Андрей прыгал по комнате, держа за плечи Габриловича, который то стеснительно упирался, то сам вдруг выбрасывал смешные, неловкие коленца ногами, обутыми в валенки.

Потом Андрей сорвал со стены шинель, фуражку и, схватив Габриловича за руку, шагнул в туфлях за порог.

Габрилович больше не колебался. Его несли теперь события. Он готов был драться за полученную весть.

У автомобилистов все спали. Только в одном углу на лежанке, при свете крошечного ночника, как всегда обнявшись, отгораживаясь в своем личном от будней войны, сидели Борисоглебский и румынская девушка...

Андрей ворвался в комнату, не стучась.

— Господа, слышали новость?!

Четыре офицера подняли головы из-под одеял.

— Что такое? — спросил командир. — Вы бы хоть постучались.

— Николай отрекся от престола...

Капитан сбросил одеяло и сел на постели, открывая косматую грудь.

— Что? Вы, батенька, сознаете, что говорите?

— И Михаил! Нет больше Романовых!

Командир вставил ноги в туфли.

— Вы кто? — спросил он Габриловича.

— Это телефонист штаба корпуса, — сказал Андрей. — Я его привел...

Габрилович сразу потерял уверенность.

— Так какого чорта он... — начал было командир.

— У него телефонограмма.

Габрилович протянул руку с запиской.

Офицеры натягивали галифе, как будто было уже утро и был дан сигнал к походу.

У стола Габрилович опять, еще больше заикаясь и путая слова, читал текст отречения.

Андрей смотрел на затылки склонившихся над столом офицерских голов и думал:

«Вот сейчас они взорвутся восторгом. Они тоже пойдут плясать по халупе».

Но Габрилович кончил читать, а в комнате стояла черная тишина.

— Чему же вы, собственно, радуетесь, прапорщик?— спросил, наконец, командир, глядя на возбужденное лицо Андрея.

— Как чему? Династия изжила себя. Она задерживала рост...

— Не ново, — злобно отмахнулся командир. — Мы войну сейчас ведем. Всякое потрясение внутри разрушает фронт. — Он опять посмотрел с неудовольствием на телефониста.

— Там еще что-нибудь есть? — спросил он резко.

— Есть, есть, — стал перебирать бумажки Габрилович. — Самое главное...

— Самое главное — как это произошло, и что же теперь... там, в столице?

— В Петербурге революция. Власть перешла к Государственной думе, образовался совет рабочих депутатов, — глядя в землю говорил Габрилович. — А еще есть приказ номер первый.

— А это еще что такое? — спросил из угла Борисоглебский.

— Отменено отдание чести. Солдаты уравнены в правах с офи...

— Что, что? — вскочил капитан. — Что ты мелешь? Читай, как там!

Габрилович стал читать, и голос его то спадал до шопота, то снова приобретал уверенность. Он волновался и не мог сдержать себя.

— Не может быть! — крикнул капитан, не звонко, тупо ударив мягким кулаком по столу. — Что за белиберда? Когда все это началось?

— Вот здесь сказано, забастовки начались с двадцать шестого.

— А у нас уже девятое. Две недели назад? А мы

ничего не знаем. Чушь какая-то. Дай сюда. А сам — марш!—Он вырвал записки у Габриловича. — Я здесь— начальник гарнизона. Я расследую это дело.

Габрилович с укором смотрел на Андрея.

— Капитан, не забывайте, что я привел его к вам. Он рассказал мне о телефонограмме по секрету. Он никому еще не говорил.

— А вы тоже хороши. Такие вещи... Не спросясь совета, бах в колокола. Это хуже пороха, милый мой. Это динамит, и еще какой!

Андрей не узнавал грузного, ленивого офицера. Он был похож на медный клокочущий внутри котел. Глазки его загорелись и стали колючими, как два шипа. Эти глаза были противны. Глаза дикого кабана, узкие красные лучики, выходящие из тучного тела. Замечания его были оскорбительны.

— Этих вестей давно с нетерпением ждет вся армия! — крикнул Андрей. — Надоела распутинщина. Прогнившая дворцовая нечисть. — Слова вырывались сами собою и расчищали атмосферу, прогревая ее вихрями нарастающего конфликта. — Как вы не понимаете?

Капитан указал Габриловичу пальцем на дверь.

— Кругом, шагом марш! А с вами мы еще поговорим.

— Не о чем, я вижу, нам с вами разговаривать, — бросил ему Андрей с неожиданным спокойствием, которое нашлось у него только на секунду, чтобы пресечь волнение, заставлявшее дрожать пальцы и одно веко.

Он вышел и громко стукнул дверью.

XIV

КРАСНЫЕ МАКИ

Ничто не могло теперь удержать Андрея на голом перевале, обвеваемом весенними, скользкими ветрами. Надо было стремительно мчаться в долину к людям, где много людей...

На шоссе он удержал за рукав Габриловича.

— Я кругом виноват. Я никак не ожидал. Экая гадость! Вы простите меня. Я был убежден, что такая весть всем нужна, для всех радостна.

— Вот вы умный человек, — остановился вдруг Габрилович, — а вот я заметил, вы людей не знаете. Вы вот каждого человека, так вот, каждого отдельно берете, а человек в одиночку не живет и понимать его в одиночку нельзя.

— То есть как так? — не понял Андрей.

— Ну, может быть, я плохо говорю. Ну, вот хотя бы командир... У него, я слышал брат губернатор.

— Один губернатор, а один даже посол.

— Ну, вот видите, а вы хотите, чтобы он радовался революции.

— Не революции, а падению Романовых.

— А что же вы думаете, Романовы пали без революции?

Только теперь сообразил Андрей, что ошеломляющая весть об отречении двух царей обрушилась на его мысли, привела их в хаос, и он до сих пор не подумал о том, как же все это могло случиться.

Власть сейчас, повидимому, в руках Думы. Совет рабочих депутатов... Это как в 1905 году. Наконец, приказ № 1. Ясно, что информация передавала только результаты событий, а не самые события. Это была сжатая, кем-то профильтрованная сводка, которая докатилась до Карпат только на двенадцатый день. Ясно, ясно. События были грандиозны. Необходимо во что бы то ни стало узнать, как все это случилось.

— А вы не боитесь, — тихо спросил Габрилович, — что приказ спрячут? Что вот такие, — он кивнул на дом командира парка, — постараются повернуть события?

— Эту весть, конечно, уже задерживали, но дело, видимо, зашло далеко, и больше молчать нельзя. Вероятно, штаб армии давно уже знал о событиях, но не доводил до сведения частей. Слушайте, насколько я вспоминаю, приказ предлагается прочитать во всех ротах, батареях и командах.

— Да, есть такое место...

— Завтра же утром я на свой страх читаю в своей команде. Дайте мне текст.

— Хорошо, я перепишу для вас. А вы не боитесь?

Андрей уже не боялся ничего. Если события уже потрясают империю, то не он будет плестись в хвосте. Свою роль он выполнит.

Команду склада он увидел в сборе и в строю впервые. Казалось, для этой команды были отобраны из армии все самые худые, почерневшие от дождей шинеленки. Шапки, повидимому, служили уже не только головным убором, но и кружкой на походе и птичьим гнездом. Младшему из солдат было тридцать лет. Лица были усталы, унылы и безразличны, словно скука прифронтовая истолкла всех их вместе и потом лепила сызнова эти лица по одной маске.

— Братцы, — сказал Андрей, приподнятость которого не угасили ни обшарпанные шинели, ни хмурые лица. — Хочу вам сообщить, что царя Николая больше нет. Он отрекся от престола.

Ряды стояли неподвижно, только на грудях едва-едва колыхались незастегнутые шинели.

— Сейчас власть взяла Государственная дума. Теперь вся жизнь в стране пойдет по-новому... И вот уже есть приказ номер первый, который совсем меняет положение солдат. Вот я вам прочту все, что мы получили от штаба армии. Вы услышите сами.

Волнуясь, прочел Андрей выписанные на чистом листе телеграммы. Старики запасные, не шушукаясь, вперив в Андрея тусклые, подернутые неосознанной тревогой глаза, стояли в строю. Ни одна фуражка не взлетала кверху. Ни один крик восторга не понесся над заросшим кудрявой травкой двором склада.

«Бесчувственные какие-то», — подумал Андрей. Он сказал еще несколько слов по поводу новых отношений в армии и, обескураженный, распустил команду. Через одну-две минуты на дворе уже не было ни одного человека. Ни один не остался побеседовать с командиром. Этого Андрей не ожидал. Он еще на-

делялся, что в свободной беседе вне строя удастся найти общий язык.

— Вы не обращайте внимания, ваше благородие, — утешал его уже в халупе фельдфебель. — Старики они. Из пехоты сюда попали. Держатся за склад, на фронт попасть боятся. Все думают, как бы не было подвоха.

— Зачем же вы сами продолжаете звать меня «ваше благородие»?

— Да несподручно как-то...

Андрей послал в дивизион ординарца. В письме к Лопатину он просил разрешения приехать в Григорени.

Ординарец вернулся поздней ночью. Лопатин сообщал, что Андрей может вообще вернуться к исполнению своих прямых обязанностей, так как по согласованию со штабом корпуса складом будет заведывать офицер паркового дивизиона, управление которого стоит там же, в Сандуленах.

Днем зашел Габрилович.

— Я еду в штаб корпуса. Вы знаете, что у парковых приказ не читали. А солдаты все знают. Ваши им рассказали... Все на ушко. Ваши тоже боятся. Я хочу узнать в штабе, как в боевых частях. Пехотные полки — это не парки и не складская команда. Там наверное все это иначе...

— Возвращайтесь скорее, — сказал Андрей. — Я завтра поеду к своим.

— Я ночевать там не останусь, до рассвета выйду назад.

Андрей еще ночью сложил вещи, однако выехать в Григорени ему удалось только в восемь часов...

Габрилович, усталый и смущенный, подошел к окну Андреевой комнаты.

— Ну, как?

— Не знаю. Никто в штабе ничего не говорит. Шушукаются по углам. Я бы сказал, заметно, что кое-что знают. Но вслух никто ничего... Я говорил с товарищами-телефонистами. Они говорят, что телеграмму все телефонисты знают. Но начальник связи велел всем молчать — иначе под суд. А князь, командир корпуса,

заперся у себя и не выходит. Ребята решили, если завтра не будут опубликованы новости, итти в команды и рассказать все открыто. Сегодня там будут события, я думаю. Всю эту ночь в штабе не спали. А начальник штаба на автомобиле уехал в армию.

— Значит, проверяют сведения?

— Чего проверять? Разве такую вещь выдумаешь?

Когда Андрей, набросив на плечи шинель, садился в тарантас, к нему подошел вестовой капитана.

— Ваше благородие, их высокоблагородие командир парка просят вас пожаловать к ним.

От изобилия титулов несло затхлым углом. Андрей на минуту задержался, но тут же удобно уселся в тарантас.

— Во-первых, почему вы не исполняете приказ по армии и называете меня и вашего командира «благородиями»?

— У нас приказ еще не читали, ваше благородие.

— Но вы знаете о таком приказе?

— Так точно, знаю, — широко улыбнулся солдат.

— Ну, так вот, скажите командиру, что я ходить к нему не обязан. Если я ему нужен,—пусть придет ко мне.

Солдат улыбнулся теперь окончательно приветливо и, проворно махая правой рукой, убежал.

Когда тарантас поровнялся с домом парковых офицеров, на крыльце показался капитан в поддевке и фуражке. Он замахал рукою и крикнул:

— Прапорщик, минуточку!

Андрей остановил возницу и выпрыгнул из тарантаса.

Капитан втянул его в полутемный коридор и тут, крепко до боли схватив его за руку выше локтя, с присвистом от выпавшей пломбы, зашипел:

— Это что же, офицеры показывают солдатам пути к бунту? — Затем отпустил руку и со злобным презрением добавил: — Впрочем, какой вы офицер? Студентик переодетый...

Теперь Андрей почувствовал свое превосходство над взбешенным офицером.

— Вы для этого меня и позвали, господин капитан?

— Нет, не для этого. Вы как смели без моего разрешения, без телеграммы штаба корпуса читать приказ нижним чинам?

— Приказ предложено прочесть во всех ротах, батальонах, командах. Приказ отдан штабом армии.

— Не ваше дело. Субординацию забываете? Вы обязаны были ждать моего приказа по гарнизону.

— Какой гарнизон? Две повозки и пол-автомобиля. — Он снял руку капитана, которая опять тяжело легла на его плечо, и, весело крикнув: — Имею честь,— вскочил в тарантас.

И от всей этой перебранки стало весело. Бессильная злоба капитана только подчеркивала его беспомощность.

За деревней у колодца с украинским журавлем остановили двое прапорщиков-автомобилистов.

— Вы что, совсем от нас?

— Как будто.

Борисоглебский взял за лацкан шинели Мигулина.

— Ты бы смылся, парень, на минуту.

Мигулин посмотрел на Андрея и занес было ногу на подножку.

— Сиди, — сказал Андрей. — Я сам сойду...

— Мы, собственно, — начал Борисоглебский, — хотели вам сказать... Ну, что мы тоже... радуемся. Только капитан...

— Я понимаю, понимаю, — радовался Андрей. Он крепко жал руку офицерам. — Я напишу вам, что там у нас внизу и вообще... Я так и думал. А капитан... У него брат — губернатор.

— Вот в том-то и дело! — сиял Борисоглебский.

На перевале задувал ветер, который нет-нет да и поворачивался теплым, греющим боком. Андрей подставлял нагорной прохладе разгоревшиеся щеки, и теперь все события казались веселой каруселью, в которой обязательно надо принять участие.

«Идет история, — думал на быстром ходу Андрей. — Равняй ногу, равняй ногу, не отставай. Во время фран-

цузской революции стоило быть только якобинцем. Хорошо было заряжать пушки Вальми и Жемаппа! А теперь? Что нужно делать теперь? — Чувство растерянности зародилось, но тут же растаяло в голубоватом холодке долины, раскинувшейся далеко на восток. — Если неясно сейчас, то станет ясным завтра. Только в ногу с историей. В ногу с историей!»

История уже шагала по улице румынской деревушки. С праздничными, радостными лицами солдаты ходили по шоссе у Григорен парами и группами. Они не пробегали воровски, не спешили будто по делу, они ходили, как ходят штатские в городском саду, останавливались, оживленно беседовали между собою.

Можно было подумать, что этот весенний день и тепло, поднявшееся из долины, пробудили в людях такую радость. Но огромные красные, алые и розовые — очевидно, какие нашлись — банты на груди у всех показывали, что причина оживления не в лазоревом небе и не в теплой волне, которая идет по шоссе с перевала, колыхая покрывшиеся почками ветки ив и краснова-тых буков.

Андрея встретили радостными криками. Он выскочил из тарантаса и пошел по деревне с солдатами, пожимая им руки, поздравляя и принимая поздравления.

С такой же толпой навстречу шел поручик Иванов. Глаза его светились оживлением из густых зарослей рыжих волос, которые одевали венком его голову.

Он пожал руку Андрея, и их сейчас же тесным кольцом окружила толпа.

— Вы нам сегодня скажите что-нибудь, господин прапорщик, — предложил Андрею один из ящичных фейерверкеров. — Вас хорошо бы послушать. Сегодня митинг собираем. Командир дивизиона говорить будет.

— Что ж, можно. Я рад, — согласился Андрей. — Пойду помыться, пообчиститься. Сейчас выйду.

— Пошли ко мне, товарищи, — широким жестом предложил Иванов.

Пока мылся, брился, Мигулин, уже обегавший всю деревню, сообщал подробности. Приказ прочли здесь

вчера вечером на проверке. На одну ночь задержали. Читал не командир, а поручик Иванов. Кончив читать, говорил как оратор, неожиданно разошелся, и вот после этого к нему повалили толпой солдаты. Теперь он не ест, не ходит в одиночку, — все на людях.

— Ну, а полковник как?

— Сидят с Калугиным в халупе, в шашки играют.

— Схожу, полюбопытствую, — решил Андрей.

Окна полковничьей комнаты выходили на террасу, отчего в комнате всегда было темно. У большого стола далеко друг от друга сидели Лопатин и Кулагин. Оба широкие, отяжелевшие от вина. Перед ними мутно темнело в стаканах местное виноградное.

— А, здравствуйте, здравствуйте! — сказал Лопатин. — Не выдержали в горах? Весной запахло?

— Он хочет здесь в гору пойти, — пренебрежительно крякнул Кулагин.

— Что ж, теперь время прапорщиков. Нам в армии, повидимому, больше делать нечего, — морщился полковник.

— Кулагин — тоже прапорщик, — сказал Андрей. — Разные есть прапорщики.

— Меня не держите в расчете, — сказал Кулагин. — На меня тратить кумач не придется.

Лопатин невольно взглянул на свой алый бант, приколотый к зеленому, щегольски сшитому кителю, а потом на Андрея.

— Как же это вас еще не украсили?

— Ему не обязательно. Он уже свою преданность демонстрировал.

На пороге показался Кельчевский.

— Я вам не нужен, господин полковник? — поднялся Андрей.

— Н-нет. Впрочем, может быть выпьете с нами? Вино вот. Дермо, правда, но зато подлинно демократическое, из подвалов румынского мужика, а может еще и краденое.

— Нет, благодарю, я пойду.

— Идите к Иванову. Там теперь монастырь святого Якова в дивизионном масштабе, — сказал Кельчевский.

— Я туда и собираюсь.

Иванов одиноко сидел на постели, на которую небрежно, углом на полу было брошено лазаретное одеяло. На подоконнике сидели. В раскрытое окно двое солдат втягивали серую скамью, так как столпившимся в комнáте людям не на чем было сесть.

— Ну, вот и ладно, — говорил, все время улыбаясь, Иванов. Казалось, его лицо больше никогда не примет свойственного ему прежде сухого, замкнутого выражения. — А то хоть на пол садись. А, и вы пришли? — обратился он к Андрею. — Прекрасно. А мы тут вот повестку митинга набрасываем. Вы вот тоже выступите?

Повестка, митинг, скамейка через окно, солдаты в офицерской комнате. У Андрея уже колотилось сердце. В горле засыхало и щекотало, как от каких-то острых пряностей.

Иванов радовался глазами, как человек, который уже вошел в роль, но еще не утратил к ней вкуса. Никто из солдат не тянулся, но все вели себя сдержанно, ловили глазами движения офицеров, предупреждая с неожиданной вежливостью всякую их попытку что-нибудь взять, поднять или передвинуть.

Иногда кто-нибудь в быстрой речи называл Иванова «ваше благородие». Тогда поручик грозил оговорившемуся пальцем или посмеивался, как добродушный учитель, который снисходителен к школьникам.

Ветеринарный фельдшер Луценко сидел на окне и курил папиросу. Пожалуй, он чувствовал себя здесь свободнее всех. Он внимательно рассматривал пыльные носки «собственных», не казенных сапог и изредка тихим голосом вставлял веские, короткие замечания. Видно было, что он пользуется авторитетом.

— Я полагаю, Иван Иванович, — сказал он, — нам нужно из штаба дивизии получить инструкции насчет выборов нашего дивизионного комитета. Кругом уже всюду комитеты выбраны.

— Это верно, — качнулся, упершись в бортик койки, Иванов. — Вот вы и съездите в штаб дивизии. Свяжитесь с комитетом штаба. Верно, ребята?

Предложение одобрили.

— Собственно говоря, — протянул вдруг Иванов, — что нам даст штаб дивизии? Они там знают столько же, сколько и мы. Вот нужно бы в армию за газетами съездить. У нас до сих пор газеты от первого, а сегодня тринадцатое. Чорт знает что!

— Давайте я за газетами съезжу, — предложил Кашин.

— Ну, что же... Адъютант, отпускаете? — спросил Иванов.

— Я еще не вступил в должность. Но, думаю, уладим.

— Ну, значит повестка у нас простая: выступлю я, выступит адъютант. Вы вот должны выступить и вы, — обратился он к Луценко и к Кашину. — Еще желающие из солдат.

Заранее никто не хотел записываться.

— Ну, ничего, ребята послушают нас — разойдутся, — решил Иванов.

Собрались под самым старым деревом в деревне, у крайнего дома, вокруг которого бедность или война или чье-нибудь озорство снесли все заборы.

Были и президиум и председатель. Для президиума принесли из соседней халупы стол. Солдаты стояли широким полукругом.

В президиуме сидел, чувствуя себя, повидимому, как трезвый весельчак среди пьяных меланхоликов, командир дивизиона.

Иванов говорил долго и нескладно. Повидимому, на людях он говорить не умел и жевал резину слов, как пригоревшую дымную кашу. Кончил он речь призывом помнить о войне, о том, что революции и стране необходима победа.

Андрей никогда потом не мог вспомнить, о чем он говорил в этот день. Он следил не за своей речью, а за слушателями, как следят опытные ораторы, выиски-

вая в зале не тех, с кем уже установлен контакт, но тех, чья критика кажется опасной. Ему казалось, что всех сочувствующих и несочувствующих он должен победить каким-то собственным необычайным подъемом.

Он следил за белыми пальцами Лопатина, разгуливавшими по синей доске бриджей на жирных коленях, и ему казалось, что равнодушие Лопатина лично для него, Андрея, оскорбительно и проистекает только оттого, что он, оратор, еще не сумел огненным словом зажечь этого лысеющего увальня с широким штабофицерским погоном.

Над дальними рядами солдат поднялась, но тут же и скрылась красивая голова Кулагина.

Только в конце речи он увидел перед собою лица солдат, жарко дышавших, взволнованных, постепенно придвигавшихся к нему так, что теперь он говорил прямо в лицо передним. Один канонир раскрыл рот так широко, как, повидимому, глубоко было задето его внимание.

Эти лица еще больше вздернули, подогрели Андрея. Он заговорил сейчас только для них, еще громче, еще горячее.

Хотел было кончить, но находу вспомнил слова Иванова о войне и победе.

— Мы знаем свой долг перед родиной, — выкрикнул он. — Мы защищали царскую Россию. Свободную Россию мы будем защищать с удесятеренной энергией!

За столом президиума раздались аплодисменты.

Солдаты поддержали президум.

— Но отныне — наша первая цель, — продолжал с пафосом Андрей, — это защита революции. Революцию мы будем защищать от всех, кто осмелится посягнуть на нее.

Теперь аплодировали все солдаты, за ними последовал президиум.

— Мы неучи в деле революции, — признался Андрей. — Мы плохо знаем историю и революционную теорию. Мы мало читали. Многие из нас задаются сей-

час вопросом: что же должен сейчас делать революционер и в особенности революционер-солдат, и не умеем ответить на этот вопрос. Не так ли?

— Верно, верно! — раздались голоса.

— Мы стоим месяцами на наших бивуаках и бездельничаем. Играем в карты, пьянствуем. Проходят золотые дни. Многие из нас никогда больше не будут иметь столько свободного времени. Давайте учиться! Спешно, с завтрашнего дня учиться. Мы будем тогда знать, как нам защищать революцию, и время не пройдет для нас даром.

По взрыву дружных аплодисментов Андрей понял, что затронул у слушателей какой-то живой нерв Таким концом речи он, пожалуй, удовлетворил всех... Кроме того он сам знает теперь, что делать. Всех за учебу. Это верный путь для него к сердцам солдат, и это — могила всяким случайным выходкам, которых боится Лопатин.

В свою халупу Андрей перешел по воздуху. Солдаты подхватили его на руки и понесли по деревне Позади, теряя пенсне и добродушно чертыхаясь, барахтался на подстилке из переплетенных рук Иванов Лопатин и другие офицеры шли сзади пешком, стараясь сохранить на лицах улыбающуюся уравновешенность.

Андрей мог быть доволен. Клуб в тот же вечер перекочевал в его избу. Одни уходили, другие приходили. Когда вестовой позвал его в столовую ужинать, Андрей попросил Мигулина принести ему в тарелке чего-нибудь поесть и стакан чаю. Солдаты ужинали в две смены, и комната так и не пустовала ни на минуту.

На другой день Андрей убедился, что призыв к ученью не упал на каменную почву. Уже в восемь утра к нему в окошко заглянули солдатские фуражки и спрятались. Чутко спавший Андрей заметил солдат и спешно стал одеваться. Натягивая сапоги, он нарочно громко зевнул, и тогда с завалинки поднялись люди, и у окон оказалась целая толпа.

Разговоры начались, когда Андрей еще одевался, и продолжались во время умывания. Его провожали к

столовой и пообещали, что придут к нему через час после завтрака.

В столовой был один только Кельчевский.

— Рано встали.

— Погода хороша.

Вестовой принес кофе. Кельчевский меланхолически водил ложкой в стакане. Андрей чувствовал, что Кельчевский пребывал в том утреннем настроении, когда мысль не пошла еще по определенному пути и еще нельзя решить, на какую ногу встал человек.

— Что у вас тут без меня было? — спросил Андрей. — Я вижу, что за последние дни произошли большие перемены.

— Здесь, вы говорите? К счастью, не только здесь.

Кельчевский расписывался в преданности революции.

— Были какие-нибудь эксцессы?

— Какие же эксцессы? Нет. Все идет, как видите, гладко.

— Но как же все это произошло?

— Вот это-то и есть самое замечательное. Никаких событий, и столько перемен.

— Мы в Сандуленах узнали обо всем только позавчера. — Андрей рассказал о Габриловиче, подслушавшем телефонограмму из армии.

— У нас знали раньше. Я уже несколько дней замечал, что на шоссе останавливаются группы людей, проезжающих через Бакеу на фронт. И как затеется разговор, так сейчас ребята из всех халуп бегут на шоссе. А четыре дня назад проскакали люди с красными бантами. Мой Михаил сбегал и сообщил, что всадники с с бантами прибыли из Романи. Там-де знают, почему нет газет — революция в Петрограде, и есть будто бы приказ привести войска к присяге временному правительству. Хазарина послали в Романь, он в тот же день приехал и всю ночь рассказывал о событиях, а на другой день пришел через штаб нашего корпуса приказ номер первый и официальная сводка об отречении и других, еще февральских событиях. Так вот, верите, —

через час после прочтения все уже маршировали с бантами. Нижних чинов как не бывало—ни дать, ни взять, по улице ходят свободные граждане.

— А Лопатин как же?

— Шумел, кричал, краснел... Ну, а что же поделаешь? Руками после драки не машут. Тут с Кулагиным хуже было. Он почти накануне, так дней за десять, умудрился своему уборщику морду побить.

— Морду? За что?

— Лошадь была плохо чищена и холка растерта.

— Сам и растер наверное?

— Конечно. Шутка ли, семь пудов? Ну вот, ему и припомнили. В эксцесс не вылилось, а могло быть. Его здорово не любят.

— Как же все-таки обошлось? Не понимаю...

— В полку одном, на фронте, позавчера убили офицера, и слух об этом буквально, кажется, мухи разнесли. Через час во всех частях известно стало. Ну, и у нас шушукались, чтобы Кулагина под суд отдать. А на первом митинге вышел Гуляев, из второго парка, такой усатый, младший фейерверкер, помните? Ну, вот он и предложил: «Эх, давайте, мол, жить по-новому». Даже фуражкой, как на гулянке, об землю ударил. «Кто, — говорит, — старое вспомнит, — тому зуб вон. Мы, мол, с господами офицерами, как кошки с собаками жили. Ну, а теперь — новая жизнь. Давайте все — как братья». И пошел с командиром целоваться. Видели бы, как Лопатин целовался — дал себя в щеку чмокнуть и сейчас же платком вытерся. Ну, а Иванов вдруг сам встал и трижды с Гуляевым, как на пасху, накрест... Шум пошел, аплодисменты, ну, там уж все наперебой целовались. Гуляев в тот же вечер к Лопатину в комнату пришел. А полковник с Кулагиным вино тянули. Кулагин увидал Гуляева, встал, дверью хлопнул и ушел. А Лопатин просидел с Гуляевым чуть не до утра. Я с прогулки в час ночи приблизительно заглянул на свет, а Гуляев ему бант прикалывает. Оказывается, они уже третий кувшин глушат — Гуляев сам похвастался. Тут у соседей в интендантстве не

гладко эти дни прошли — грызня у них, офицеры какие-то арестованы, и из армии кто-то приезжал, под суд кого-то отдают — ну, это урок! — наши решили: худой мир лучше доброй ссоры. Соседство неприятное. Такие настроения легко передаются...

— Адъютант, вдруг, самый ранний. Неожиданно! — Голова Иванова просунулась в окно. Он сделал губы трубой, но глаза улыбались в золоте бороды и бакенов, сквозь которые, как сквозь терновый куст, пробивались утренние лучи. — А я два часа всего спал.

— Все митингуете? — спросил, допивая кофе, Кельчевский.

— Ехидничаете? Митинг перерастает в школу. В особенности с приездом адъютанта.

— Я вижу, революция уже создает соперничество?

— Да ну ее к чорту, вашу революцию,—сказал входя Лопатин. — Даже за столом нет теперь другой темы.

— Тема — надолго, — буркнул Иванов, отходя от окна и направляясь к двери.

— К чорту все бросить, подать в отставку, — брюзжал Лопатин. — Присягать всякой рвани.

Кулагин сел за стол, не здороваясь. Он двинул к себе стакан с кофе так, что коричневые брызги дорожкой легли на серую скатерть, ножом стучал по тарелке, по масленке и потом принялся остервенело жевать ветчину, как будто она-то и была тем врагом, который испортил ему настроение.

Уже допивая второй стакан, он обернулся к Андрею и сказал:

— А вы передайте этому вашему, Гуляеву, что если он еще раз соизволит пожаловать ко мне домой, я его пущу так... — Он выбросил перед собой кулак с такой энергией, что Кельчевский отодвинулся на скамье подальше. — Извините, Казимир Станиславович, — сказал он. — Такая сволочь!

— Что же вы ему самому этого не сказали? — зло спросил Андрей. — Такой же мой, как и ваш.

— Вы же заигрываете с этой сволочью, — сказал Кулагин. — Вам и карты в руки.

— Да, уж берите на себя миссию примирять и улаживать. Это теперь легче, чем командовать, — сказал Лопатин. — Теперь, собственно, вы — командиры, — показал он пальцем на Андрея и Иванова. — Мы отходим в сторону. Печать у вас, вот вы и ведите все дела. А Гуляев это еще не худшее. Подождите, еще не такие коноводы появятся.

Оба, и Кулагин и Лопатин, поднялись и вышли, Кельчевский стал собирать со стола папиросы, спички, портсигар...

Андрей вышел с Ивановым. Поручик шел по улице сутулясь, изогнув высокие плечи. Сапоги его пылили, но он не замечал и, все так же улыбаясь, глядел на серые щербины разбитого войною шоссе.

Его превращение в политического агитатора и вожака казалось Андрею непостижимым. Нелюдим, чудаковатый во всем — и в игре в карты, и в манере командовать, всегда неровный с людьми, читающий книги со сто четырнадцатой страницы до середины, а потом с начала, отказывающийся годами от отпуска, не получающий на фронте ни одного письма, о чем сообщает всегда с улыбкой наивного хвастовства, и вдруг он — центр солдатской массы, которую всколыхнула революция. Из столоначальников в поручики, из поручиков в социалисты!

— Лопатин-то, стервец какой, — обратился вдруг к нему Иванов. — В сторону отходит. А потом и вовсе увильнет. Нет, надо его пришить к делу.

— Мне казалось, что офицеры теперь сочувствуют революции, — сказал Андрей. — После распутинщины, после развала фронта ропот среди офицерства достиг высшего предела. Даже кадровые — и те... А теперь я вижу, что это не так.

— Беспринципный народ, — заметил Иванов. — Сами не знают, чего хотят. Или молчальники, или кретины. Никаких теоретических знаний. Революция всех их застала врасплох.

— Правду сказать, я никогда не подозревал, что вы сами придерживаетесь таких крайних взглядов.

— Я убежденный эсер и вступлю теперь в партию. В Романи уже есть наша организация. И Керенский перешел к эсерам. Эсеры — крестьянская партия, и она легко поведет за собою солдатские массы. Ведь солдаты — это крестьяне. Из десяти — девять, а то и больше. Я вот получу эсеровскую литературу, — дам вам. Я отправил письмо в Петроград, мне пришлют и книги и брошюры.

— Спасибо. Я никогда не читал систематически по политическим вопросам.

— Теперь придется почитать. Солдаты к вам придут с вопросами. Вы знаете, чем они сейчас интересуются? Вы думаете так вообще, о планетах да о кометах. Как раньше? Нет, батенька, больше всего по аграрным вопросам, о земле. Это сейчас — самый серьезный вопрос. Как же вы будете отвечать, не зная существа дела и постановки проблемы. Ну, а на этот счет эсеровская литература, как известно, лучшая. Аграрный вопрос — краеугольный камень всего нашего учения.

— Об этом вы и говорите с солдатами?

— Да, большей частью. Их больше всего волнует, получат ли они помещичьи земли.

— Тогда я понимаю, почему они не оставляют вас ни днем, ни ночью.

— Ну, конечно же! — снисходительно улыбнулся Иванов.

XV

ВЫБОРЫ

Выборы комитета происходили без всякой подготовки, демократичнейшими, хотя и не лучшими из всех путей.

Нужно было избрать девять человек из среды солдат и офицеров. Никто из выборщиков не знал, как нужно производить выборы. Не знал и председатель, поручик Иванов.

— Студентами мы кого-то там выбирали в землячествах и вообще... а как это делалось, чорт его знает,

вылетело из головы, — шепнул он Андрею. — Давайте наметим список, — предложил он собранию. — Будем голосовать списком. Если окажется больше девяти кандидатов, будем голосовать каждого в отдельности. Только долго это. Лучше бы как-нибудь попроще, — прибавил он, улыбаясь золотой челюстью. — Как? Все согласны?

— Согласны! — крикнули несколько голосов.

— Ну, давайте кандидатов. Кого хотите выдвинуть в комитет? Называйте фамилии!

— Поручика Иванова! — крикнул Луценко.

— Прапорщика Кострова! — из другого угла предложил Гуляев.

— Гуляева предлагаю! — сказал Иванов.

«Теперь мне нужно назвать Луценко, — подумал Андрей, — и будет кадриль в танцклассе». Он осмотрелся и назвал Кашина, самого молодого, самого независимого из писарей.

— Луценко! — крикнул кто-то из задних рядов.

— Полковника Лопатина! — переминаясь с ноги на ногу, сказал каптенармус Фалалеев.

— Верно! — крикнули два голоса из рядов.

Иванов как-то не сразу — сначала перекинул несколько раз в пальцах карандаш, — осматриваясь, сказал:

— Ну, так я записываю кандидатом командира дивизиона, полковника Лопатина.

— Просим, просим! — раздались голоса.

— Поручика Кельчевского! — сказал Гуляев.

Не сразу, постепенно, появились в списке еще две солдатских фамилии: ездового Мыи и разведчика-ординарца Крутькова.

— Крутьков — девятый, — предусмотрительно заявил Иванов. — Еще будем называть или, может быть, хватит? Достаточно?

— Достаточно! — махнул рукой Гуляев.

— Ну, ты, Парфеныч, сиди. Ты назвал, — в этом деле голоса не имеешь. — шутливо бросил ему Иванов. — Так, как же, ребята, хватит?

— Достаточно! — сказал кто-то из угла.

— Тогда давайте, может быть, так... Кто против названных кандидатов? Ну, хотя бы какого-нибудь одного из них? Давайте, проверим.

Солдаты молчали.

— Значит, нет? Ну, тогда кто за весь этот список? Вот я прочту вам его еще раз. — Он зачел фамилии. — Значит, четыре офицера и пять солдат. Ну, кто голосует за список? Как будто все, — довольно смеялся Иванов. — Тем лучше. Ну, я не буду считать. Давайте, кто против? Никого. Великолепно. Комитет считается выбранным. Позвольте мне сказать вам несколько слов, и мы на сегодня закончим собрание, а завтра соберем первое заседание комитета. За ночь соберемся с мыслями. А сейчас я вот хотел сказать, что у нас, товарищи, выборы прошли хорошо. Так вот, по-моему, и должны происходить выборы в организованной военной части, которая стоит на фронте. Солдаты оказали доверие офицерам. Все фамилии офицеров были названы солдатами. Офицеры голосовали за солдат. Я уверен, что офицеры, которые вошли в комитет, будут не за страх, а за совесть работать на пользу нашей великой родине, которая сбросила с себя иго Николая и распутинщины. Нас, товарищи, режим проклятого Николая не приучил к общественности. Многие думали, что русский народ и вообще не способен к свободе, что после революции сразу начнется анархия. А вот, оказывается, мы, и не учась, понимаем, как нужно итти к новому порядку, к Учредительному собранию, как согласием и делом нужно защищать свободу. Да здравствует свободная русская армия, которая без царя сумеет защитить свою страну!

Иванов поднял кверху руку. Во время речи он постепенно наклонялся над столом, и теперь голова его в иконописном ореоле волос как бы отделилась от туловища и висела над передним краем стола.

Солдаты закричали «ура», и опять начались поцелуи.

Кто-то запел марсельезу по-русски, но его не поддержали, и голос смущенно смолк.

— А знаете, в общем с ними не трудно. Все, что угодно, можно провести, — уже в столовой говорил Иванов.

— А вот вы проведите отмену приказа номер первый, — предложил Кельчевский.

— А это и не требуется. Нужно научиться с ними работать в новых условиях. Вот теперь еще откроем школу грамоты... Адъютант поможет.

Лопатин, не сказав ни слова, ушел к себе.

— Полковник, видимо, не очень осчастливлен избранием, — засмеялся Иванов.

— Зря вы его в это дело впутали, — заметил Кельчевский.

Вечером Лопатин вызвал к себе Иванова и Кострова. Он ходил из угла в угол в туфлях, и ослабевшие штрипки галифе болтались на его тонких, не по массивному телу, щиколотках.

— Я, конечно, весьма польщен сегодняшними выборами, — остановился он перед Ивановым, — но должен вам прямо сказать, что со всей этой сволочью заседать я не буду. Не приспособлен. К чему нужна была эта комедия, не понимаю. Если в комитете нужны офицеры, то достаточно вас двоих. У вас есть к этому делу и охота и уменье. Просил бы вас как-нибудь деликатно избавить меня от ненужных сейчас столкновений. Буду признателен.

Он выпил стакан румынского вина и сел за стол. Сели и офицеры.

— Давайте поговорим серьезно, Михаил Сергеевич, — предложил Иванов.

— Говорите, я слушаю, — неохотно согласился Лопатин.

Иванов положил руки далеко перед собой на столе, а голову низко приклонил к плечу. Говоря, он смотрел только на свои пальцы, которыми вертел, словно перебирал камешки или мелкую крупу.

— Мне кажется, Михаил Сергеевич, что вы сейчас совершаете ошибку, в которой потом раскаетесь. Я не собираюсь сейчас в чем-нибудь вас переубеждать, но

хочу только уничтожить возможность всяких там, — ну, скажем, — роковых недоразумений. Вот в пехотных частях, говорят, нигде выборы не происходят спокойно, а у нас — все как по маслу. А вам и этого мало. Я, собственно, даже не знаю, что вы хотите. Вижу только, что достигнутый такими трудами мир может сорваться... Буквально из-за пустяка. Я не знаю, как вы относитесь к революции, — это, конечно, дело ваших политических убеждений. Но вы здесь — командир части, от вашего поведения зависит не только ваше личное благополучие, но и благополучие и боеспособность части. Вы, повидимому, считаете, что события еще могут как-то повернуться. Мы же с Костровым относимся к новым условиям работы на фронте по-серьезному. Подумайте сами. Что, если события не повернутся, если правы окажемся мы? За это ведь много шансов... Россия ждала революции целое столетие. Еще с декабристов...

— К чорту! — стукнул кулаком по столу Лопатин. — Читайте ваши лекции солдатне, а не штаб-офицеру. Мы историю России изучали еще в корпусе и знаем не хуже вас. Я, может быть, не меньше вашего понимаю вину Николая, но от этого еще далеко до солдатской революции. Николая могли сбросить культурные люди. Мы бы все поддержали разумный переворот... Но приказ, который рушит русскую армию, превращает в человеческую пыль наши полки... армию, которой мы отдали всю нашу жизнь, — мы не можем принять. Мы, кадровые офицеры, с этим не помиримся. Я удивляюсь, как я пережил эти дни. — Он встал, руки у него дрожали, пенсне прыгало на носу. — Если бы не война, если бы не долг перед родиной, я бы отстегнул эту шашку и сломал бы ее... — Он потянулся привычным жестом к левому бедру, но не нашел там ни шашки, ни даже концов портупеи.

— Вы нервничаете, — собрал со стола свои руки Иванов. — И вот нервами вы хотите воспринять и всю революцию. Вы вот видите солдата с красным бантом, который больше не отдаст вам чести, и вы зажигаетесь

гневом и ненавистью. Вы полагаете, что это и есть ваше отношение к революции. Вы не даете себе труда подумать об этом объективно, насколько возможно спокойно, ну, вот так, как вы способны теперь думать о причинах татарского нашествия на Русь.

Лопатин презрительно сложил губы и прищурил глаз.

— Я вот вас знаю уже третий год, Иван Иванович, и что-то не замечал за вами никаких революционных добродетелей. Всем известно, что вы аккуратно получаете жалованье в части и столоначальничье жалованье в министерстве, что вы не ездите в отпуск и прикупаете к девятке. А сейчас вы этакой щукой выкинулись над мутной водой — прямо дым коромыслом. Откуда все это?

— Что же, я понимаю ваше удивление, — подумав, сказал Иванов. — Я, действительно, не был в первых рядах. Был столоначальником... Каюсь. Но сейчас, когда наступает решительный момент, то я тоже хочу сделать свое маленькое дело.

— Я хотел бы видеть, что вы будете делать, когда наступит другой решительный момент... Боюсь, что вы пожалеете о том, что были революционным поручиком и не остались столоначальником...

— Не понимаю, о каком моменте вы говорите?

— Вы же как будто знаете историю? Вспомните, чем кончались все революции...

Иванов досадливо грязными до синевы ногтями расчесывал путаную бороду.

— Я бы все-таки хотел, Михаил Сергеевич, чтобы мы договорились кое о чем. Я не буду с вами спорить... Но я все-таки не вижу смысла для вас срывать нашу работу. Мы ведь оба работаем в конце концов не на разложение, а на укрепление армии. Это же понятно.

— К сожалению, я не в силах теперь мешать чему-нибудь и кому-нибудь. Я стою в стороне. Но не требуйте и от меня ничего. Видите, я даже бант нацепил. Разве это не благоразумие? Но долго ли я сумею вы-

держать такое унизительное, такое двойственное положение командира и марионетки, я не поручусь. Вот все, что я хотел сейчас сказать. Имею честь...

XVI

НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ

Андрей, Луценко, Гуляев и Иванов и еще целая группа парковых пришли на поле одни из первых.

Несколько саперных солдат приколачивали еще истекающие смолой перила вокруг высокого помоста, поднявшегося на четырех тесаных столбах. Долина была ровным, как биллиард, и таким же зеленым дном широкого ущелья. Спрятанная порослями и бурьяном, громко, как бесконечный поезд из множества мелких вагонов, неслась только что сорвавшаяся с гор весенняя река. Дно ее, все в камнях, жило в быстром течении. Даже тяжелые обломки скал дрожали под напором холодных прозрачных струй и каждый момент были готовы сорваться с места. Двумя мягко сползающими к долине стенами шли с обеих сторон лесистые горы. Над горами клубились редкие, почти прозрачные туманы. Но над самой долиной застыло зеркально-чистое, ровное небо.

Приходившие части занимали места по указанию поручика в широких галифе и высоких до колен шнуровых ботинках. Поручик бегал по полю, как борзая, не уставая и не убавляя своего длинноногого рысистого шага. На груди у него метался бант из широкой алой ленты, которая несомненно предназначалась для праздничного убора румынской девушки. По его указке части строились четырехугольниками. Солдаты сейчас же садились на траву, и знамя в чехле одиноко вставало над ними серым заостренным столбом.

Какой-то человек в черной куртке то и дело взлетал по лестнице на помост и кого-то высматривал из-под ладони, сбегал вниз, посылал куда-то мотоциклы и автомобили, подбегал к группе командиров пришедших частей, успокоительно улыбался и опять убегал в толпу.

Наконец на мосту послышались звуки музыки, и большой, объединенный оркестр вступил на поляну.

Музыка ударила, подняла толпу марсельезой. Кое-где слетели со знамен серые брезенты, и из-под них сверкнули на солнце алые копья еще не расправивших складки атласных полотнищ.

Перед оркестром редким, необычайно эффектным развернутым строем, человек от человека на сажень, шли летчики. В кепи из бархата с позументом, в мягких, по ноге, сапогах они выглядели гостями-иностранцами. Они шли, склонив голову набок, шли легко, как ходят под музыку приученные к строю люди, и все разбегались перед ними, оставляя пустою всю полосу долины от трибуны и до моста.

Комкор подкатил на автомобиле. За ним подлетели в колясках, верхом на конях штабные. Генерал вышел из машины и внизу у помоста остановился с группой офицеров. На генеральской груди краснел скромный, но заметный бант. Генерал разглаживал приятную рыжеватую бороду и прямо, как на смотру, держал высокую грудь и откинутые назад дородные плечи.

Генерал долго ходил по траве у помоста, не вступая ни с кем в беседу, и только офицер в черной куртке несколько раз суетливо подлетал к генералу, размахивая руками и показывая в сторону моста.

— Едут! — крикнул, наконец, офицер, стоявший с биноклем на трибуне.

— Господа, все готово, — подбежал черный к группе штабных.

— Прекрасно, — сказал генерал, — пора начать. Люди устали.

У моста раздалось «ура» и взвилась пыль.

Кто-то уже бежал туда. Кого-то на руках выносили из автомобиля и несли почти бегом через лужайку.

Теперь ура кричала вся долина. Сидевшие вскочили. Знамена расправляли крылья глубокого алого бархата. Офицеры выстраивали ряды. Уже нельзя было из-за стены людей, столпившихся у помоста, видеть дальние части.

Летчики сомкнули ряды.

Помост с четырьмя укрепленными по углам полковыми знаменами летел над толпой кораблем, подставившим трепещущие алые паруса ветру.

Генерал и двое штатских, приехавших на автомобиле, взошли на трибуну.

Генерал подошел к перилам вплотную и положил руки на струганную жердь.

— Тише, тише, смирно! — пронеслось по рядам.

— Поле не сразу, но замолкло. Наконец стало слышно, как хлестко треплет ветер полотнища знамен.

— Товарищи, ребята! — крикнул генерал.

Ряды дрогнули и зашептались.

— Мы все, русская армия, от рядового до генерала, объединены сейчас общей радостью. Наша страна завоевала себе свободу. Мы гордимся этой свободой и не отдадим ее никому.

Грохот аплодисментов заглушил горную реку.

— Мы не употребим эту свободу во зло своей родине. Мы покажем, что мы достойны и нашей великой родины и этой свободы.

Опять генерал ждет, пока смолкнет новый неистовый взрыв криков и аплодисментов.

— Враги говорят, что свобода погубит армию и страну. Я, генерал и ваш начальник, говорю — нет! Этому не бывать! Тем, кто под этим предлогом хочет расстроить наши ряды и нанести удар революции, мы дадим по рукам! — Последние слова генерал выкрикивает так громко, что они долетают до самых дальних рядов.

— Ура! — кричат ряды.

— Тем, кто хочет сорвать нашу общую работу, мы ответим нашим гневом и ненавистью. Солдаты и офицеры революционной армии, отныне вы — одна семья. Вы — братья. Нет места вражде. Да здравствует взаимное уважение!

Шумная, бурная радость сталкивает с места, смешивает ряды.

Отдельные люди, крича и размахивая фуражками, откуда-то из глубины рядов пробиваются к трибуне.

Тогда генерал снимает фуражку, машет ею в воздухе и кричит:

— Все знамена и флаги — ко мне! Музыка — марсельезу!

Поле взорвано тысячью фугасов. Нет больше рядов, взводов, полков и команд. Есть человеческое море, которое настойчиво гонит свои волны к одной точке — к помосту.

Люди с флагами пробивались сквозь толпу, поднимались по ступеням лестницы, тройным кольцом обошли обветренный помост, и он над головами пяти тысяч солдат несся теперь с генералом, с людьми в аккуратных котелках навстречу горному ветру. Знамена, собранные в красный костер, трепетали живыми, бегущими в воздухе складками, трещали и шумели громче, чем гремела река и чем рокотала толпа.

Генерал поднял руку, и замерло все, кроме знамен и ветра.

— За нашу родину. За нашу могучую армию. Ура! — бросил он набегающей толпе.

Люди рявкнули «ура», другие его подхватили, оно пошло гулять по долине, как гуляет шквал в лесу, поражая то один, то другой участок.

— Да здравствует временное правительство! — крикнул котелок, подбежав к перилам.

— Ура, ура! — возникало и замирало над долиной

Широкоскулый толстяк, прапорщик в бекеше, с развевающимися, крученными в крупные кольца, как у детей боярских шестнадцатого века, волосами, повидимому, неожиданно для всех взбежал на помост и крикнул:

— Да здравствует Учредительное собрание!

Остановившаяся было толпа опять пришла в движение.

Тогда худой, с черными глазами офицер поднялся, почти силой пробился на помост и крикнул:

— Да здравствует петроградский совет рабочих и солдатских депутатов!

Солдатские шапки вместе с «ура» полетели в воздух.

На трибуне ни одна рука не поднялась к козырьку.

Генерал опять поспешил к перилам.

— За нашу победу!

— Без аннексий и контрибуций! — вылетел голос из толпы.

— Верно! Ура! — закричали в толпе.

— За победу, ура! — крикнул генерал и поднял фуражку.

— Ура! — раскатилось по полю до самой реки.

— Части, по местам! — сделал рупор из ладоней какой-то сменивший генерала штаб-офицер. Оркестр по его знаку грянул марсельезу.

— Музыка во-время, — вслух вздохнул с облегчением генерал и ласково взглянул на расторопного распорядителя.

Поле опять колыхалось рядами. Летчики уходили теперь сомкнутым строем. Автомобили отъезжали один за другим под крики «ура». Людей с помоста передавали с рук на руки, вплоть до кожаных подушек и седел...

Когда зашумели знамена над помостом, когда генерал взмахом шапки и новыми, невероятными на фронте словами заставлял толпы солдат, забывая годы казармы, истекать неистовым «ура», у Андрея к горлу подкатывался комок и что-то щипало края век. Как хорошо было бы, если бы этот союз генералов, офицеров и солдат опрокинулся на германский фронт и разом покончил с войной. Андрею казалось, что генерал должен выхватить сейчас из ножен шашку и немедленно вести всех этих рукоплещущих и кричащих «ура» людей на штурм Карпатских высот, занятых баварскими дивизиями.

Но тут же стало смешно от этой мысли. До фронта надо итти три дня — какой порыв выдержит такое испытание?!

Луценко моргал глазами. Иванов утирал предательскую слезу, тянул носом и хрипло кричал «ура», помахивая длинной рукой с вялой, немужественной кистью.

Когда части стали покидать поле, Андрей искал глазами пехотные батальоны. Несомненно, митинг подействовал на собравшихся. Настроение поднялось, но как подействовали слова, музыка и знамена на пехотинцев? Хлебопеки попрежнему, а может быть еще ретивее будут выпекать караваи, интенданты отгружать фураж и муку, даже артиллеристы останутся на своих позициях. Но пойдут ли в атаку пехотинцы-окопники, над которыми больше не висит плеть стальной дисциплины?

Но пехотинцев на этом поле было немного. Их можно было узнать по самым плохим, заношенным, замызганным шинелям и фуражкам. Штыки их винтовок глядели во все стороны света. Шинели были наброшены на плечи как попало. Это были батальоны, стоявшие на отдыхе. Всего несколько дней назад они пришли из окопов, с лесистых склонов румынских Карпат.

Андрей тревожно всматривался в лица пехотных солдат. Он не находил в них той приподнятости, с которой уходили с поляны тыловые части и артиллерия, и тревога быстро сменяла в нем ту несколько сентиментальную бодрость, которая зародилась во время митинга.

— Как вы думаете, — спросил он Луценко, — пойдут они теперь в наступление? — Он показал на шагавшую рядом прямо по полю роту пехотинцев.

— Очень просто, что и пойдут.

— Генерал так говорил, так говорил — всех разобрало, — поддержал Гуляев.

— Что разобрало, это верно, — возразил вдруг Луценко, — а только что это еще ничего не значит. Во-первых, на митинг всех не сгонишь, а потом кто и был, — придут они в окопы, и все слова позабудут.

— Так почему же вы полагаете, что они пойдут в наступление?

— А привык народ воевать и слушаться. Прикажут — и пойдут.

— Ну, ты не скажи, — возразил теперь Гуляев. — Вот в третьем туркестанском полку офицер хотел ре-

бят в ночную разведку поднять. А они отказались. Офицер взял да первому отказавшемуся пулю и всадил. А ребята его на штыки...

Андрей удивился такому разнобою в мыслях.

По дороге какой-то пехотный прапорщик прикурил у Иванова папиросу и пошел рядом.

— Это ваша рота? — спросил его Иванов, указав на шагавших впереди солдат.

— Ага, — ответил, затягиваясь, прапорщик. — У вас табак хороший, поручик, а у нас махры нехватает.

— Курите, курите, наслаждайтесь, — опустил улыбку в бороду Иванов. — На дорогу снабжу вас.

— Спасибо, не откажусь, — обрадовался прапорщик. — В этой проклятой Румынии ни чорта нет. Вот страна, чорт бы ее побрал.

— Подвоза нет. Дороги не выдерживают, — сказал Андрей.

— Еще бы. На что письма — и те не доходят. Я в корпусной почтовой конторе был. Почему нет писем? — спрашиваю. А мне начальник и говорит: «Да вы знаете, что в Окнице пять вагонов застряло. Никак на румынскую колею перегрузить не могут».

— Письма что? Пять вагонов, из-за чего разговор, — сказал Гуляев. — Вот если бы не весна, все бы наши лошади без фуража подохли. Сколько зимой пало. Ведь целыми днями ни травинки не было.

— А у вас как в полку? — спросил Андрей пехотинца. — В бой ваши пойдут?

— А чорт их знает, — далеко забросил окурок прапорщик. Видно было, что этот вопрос и его занимает немало. — Сегодня у нас перед этим митингом свой митинг был. Полковник наш говорил. Тоже мастер говорить, не хуже Новицкого, генерала-то. И не знали мы, что нами такие Демосфены командуют, — усмехнулся он Андрею. — Так вот он прямо поставил вопрос: как, мол, ребята, если завтра приказ будет, — пойдете в бой, или нет? Клялись, что пойдут. Шапками небо громили. Офицеров качали. А тут еще и генерал их подогрел. Возможно, что и пойдут...

— Наверное вы долго на отдыхе стояли, — сказал вдруг шедший рядом молодой, с белым крестьянским лицом, пехотинец.

— А что?

— А были бы на фронте, так не говорили бы...

— А ты почем знаешь, что на фронте? — спросил его с подозрительностью Луценко.

— Потому, вчера я с фронта.

— Ну, и как же у вас?

— А вот я тебе скажу — у нас на высоте 419 на каждом камне написано: «Долой войну!» да «Штык в землю, солдат!» — вот что. Что ты думаешь, кто написал? Птица небесная? известно, солдаты писали. А кто не писал — тот читает...

— А ты где на фронте стоишь? — спросил Иванов.

— А здесь прямо, — показал рукой солдат вдоль шоссе. — Позавчерась оттуда. От шаши мы налево — в леску... А напротив герман. Австрейцев там нету.

Все замолкли.

— А революция у вас тихо прошла? — спросил, наконец, Гуляев.

— А что ж, да ничего... Мы когда узнали. А то ничего. Тихо. А только теперь неспокойно. Не хочет солдат в атаку итти. А так стоит — ничего...

— А комитет ваш что? — спросил Иванов.

— Комитет за временное резолюцию написал. Комитет что. Комитет в атаку без солдат не пойдет.

— Так ведь комитет-то солдаты выбирали?

— Известно, солдаты.

— Значит, что комитет скажет, то солдаты и будут делать.

— А если комитет скажет штаны снять, так скажешь — снимут? — усмехнулся солдат.

— А ты сам-то как, за наступление или нет?—спросил прапорщик.

— Я без аннексий и кантрибуцый...

— Откуда ты это взял?

— А читали... Словом, чтоб по справедливости...

— А если немец вместо справедливости тебя чемоданами крыть станет?

— Ну, так и мы его покроем. Теперь снаряды и патроны есть.

— Ну, вот видишь, — обрадовался Иванов. — Я вижу, ты хороший парень. На закури, — щелкнул он портсигаром. — А это ты не набрехал про надписи на камнях?

— Святой крест, нет. На соснах буквы режут. «Мэ» и «дэ» и «вэ».

— Это что же значит?

— А значит: мир и долой войну.

— Что же вы не спрашиваете нас о митинге? — обратился Иванов к Лопатину за обедом.

— Не нахожу нужным.

— Напрасно. Солдаты поклялись наступать.

— Это кто же, кашевары и фельдшера?

— Была и пехота.

— У меня, пожалуй, сложилось впечатление, что войска все-таки не пойдут в атаку, — сказал задумчиво Андрей.

— Это вам пехотинец такие мысли навеял? — усмехнулся Иванов. — Дурак ляпнул, а вы уже и скисли.

— Я думаю, что надписи, буквы, — все, что он говорил, — это все-таки правда. А если все это так, то ясно, что боевой дух армии подорван.

— Какие надписи? — на этот раз с интересом спросил Лопатин.

— На камнях, на деревьях солдаты пишут, что не пойдут в наступление... Это на нашем фронте. Офицер какой-то хотел поднять солдат в разведку, — подняли его на штыки.

— Вот видите! — вскочил Лопатин. — Теперь всех на штыки поднимут. Нужно решительно ничего не понимать в военном деле, чтобы играть такими вещами, как дисциплина. Это ведь зараза, это хуже холеры. Как же вы полагаете мы будем воевать? Кто же будет защищать страну? Значит, теперь приходи и владей

нами? Рабство? Великие завоевания революции! — Он ходил по комнате, размахивая сжатыми кулаками. — Неужели же, — поднял он глаза к потолку, — у наших идиотов нехватит ума на последний, решительный шаг?..

Все вопросительно смотрели на командира.

Он остановился и с вызовом бросил:

— Открыть фронт германцам. Перестрелять всех... — он замялся.

— Договорились, — буркнул Иванов. — Не хочу слушать. Сумасшедший дом какой-то. — Он встал и, неуклюже громыхая сапогами, вышел.

Стеклянной дверью, так что высыпалось давно разбитое стекло, ударил Лопатин.

Кельчевский и Андрей остались одни.

— Ничего еще не горит, а ощущение как на пылающем судне, — сказал Кельчевский, ладонью заворачивая бороду кверху.

В управлении лежало первое после двухнедельного перерыва письмо Елены.

В кратких фразах, написанных неровным почерком, Елена сообщала только, что в февральские дни погиб в Гельсингфорсе ее брат Михаил. Уцелевшие товарищи Михаила рассказывали, что ему лично ничто не грозило, но офицеры его корабля оказали сопротивление восставшим матросам, и он заступился за старшего офицера, которого матросы ненавидели. Он получил удар стальной болванкой в голову и был спущен вместе с другими под лед.

«Мама убита горем, — писала Елена. — Потому и я долго не отвечала на письма. Я очень рада, что у вас события развиваются более спокойно».

Как же с теми письмами, в которых он сообщал Елене о революции и о событиях в дивизионе? О своей радости, о революционной работе... Как отнесется она к событиям теперь, после гибели брата? Раньше он был убежден, что и она будет рада падению монархии, что ей будут понятны все его переживания, но теперь, после смерти брата, ничего нельзя сказать... Ничего!..

Другое письмо было от Петра. Опять все признаки

цензурных забот налицо. Но ведь царской цензуры больше нет. Кто же теперь интересуется письмами фронтовиков? Петр на этот раз уже не был так осторожен. Были упомянуты гренадерские казармы и местечко Крево. Но чем это может теперь грозить? Неужели есть преемственность?.. Нет, чепуха! Просто инерция штабной машины...

«Дорогой мой, — писал Петр. — Я, конечно, должен бы написать тебе длиннейшую благодарственную писулю. А я вот сижу и думаю, как бы это тебя в меру облаять.

«Я уже в дивизионе — артиллерист. Несколько месяцев назад я, пехотная шкура, не смел даже мечтать об этом. Но не удайся этот переход в артиллерию, я сейчас был бы в питерском гарнизоне. Надеюсь, понимаешь, что это значит.

«Я бы и сейчас не остановился перед тем, чтобы перебраться в Петроград. Наплевал бы я с высокого ясеня на приказ о переводе и, пожалуй, на твою репутацию в дивизионе и сбежал бы в милые (с 27 февраля 1917 года) гренадерские казармы. Если я не делаю этого, то только потому, что после зрелого обсуждения, долгого, и не без колебаний, я решил, что место мое здесь, в дивизионе, под расстрелянным насквозь местечком Крево...

«Ну и публика у вас тут. Чистенький все народ. Не с каждым солдатом сговоришься. Сибиряки, да еще все почти крепкие «хозяева». Чалдоны. Сидят себе в лесу от пуль далеко, над ними не каплет, так они и к революции так это, боком. Обрадовались, что теперь честь отдавать не надо и офицеры их на «вы» называют. Даже к помещичьим землям иные равнодушны, потому помещиков в их краю мало.

«Комитет дивизионный, я тебе прямо скажу — государственная дума, можно подумать, у каждого за спиной заводишко или культурное хозяйство. Государственно рассуждают. Ну, я им тут в манную кашу добавил дегтя, и не ложку, а целый ковш. Господа офицеры очень недовольны и, кажется, тебя не поблагодарят.

«Соловин, тот, как американский житель, то нырнет куда-нибудь в тыл, то опять появится, но вот уже две недели не видно, и вещи из обоза второго разряда взяты. Кольцов твой, это я тебе скажу — ехидна. Но мы ему на хвост уже наступили. Но ребята хорошие есть и тут, в особенности телефонисты и разведчики. Надо только сорганизовать... Во всяком случае, в одиночестве я не останусь.

«Слышал я, что ты опять в наш дивизион просишься. Ну, что ж. Судя по твоим последним письмам, ты у себя культурную работу ставил. Ее, разумеется, жалко. Но ничего, приезжай, будем работать здесь вместе.

«Татьяну жалко. Была она барышенька такая, как это там говорят, кисейная, что ли. Но вредности в ней никакой не было. Потому и говорю, что жалко. А этого стервеца, барона, я надеюсь, революция прихлопнет и без тебя.

«Ну, будь здоров. Пиши, как у вас на фронте — отстаете, или тянетесь все-таки? Жду твоих писем... Петр».

XVII

КАЧЕЛИ

Поезд шел к границе, увешанный гроздями серых шинелей, кружил в ущельях, забрасывая задние вагоны так, что они едва не слетали с рельсов, юрким червяком нырял в туннели, гремел на легких, не внушающих доверия мостах. Солдаты комочками, как воробьи в мороз, сидели на длинных, во весь вагон, ступенях. Десятки голубых кепи высовывались из окон среди привычных фуражек и папах.

Яссы гремели солдатским потоком, оставляя в стороне только тихий островок дворца и площадь перед ним. Здесь, у королевского памятника, постукивая прикладом о камни, ходили необщительные румынские часовые-гвардейцы.

К Яссам была доведена до Унген широкая колея — невероятное достижение русских военных инженеров! — и поезд шел теперь прямо до Одессы. Солдаты

перестали различать зеленый и желтый цвет вагонов, но где-то у Знаменки по составу прошел прапорщик с тремя решительного вида вооруженными молодцами и пересадил всех солдат в вагоны третьего класса. Он пытался сделать просмотр отпускных документов, но стандарт военных канцелярий был в те дни уже безвозвратно утерян и, повертев в руках клочок бумаги с невероятным текстом, с подписями строевых начальников, комитетов и неведомых ему национальных и других организаций, прапорщик со вздохом отдавал его владельцу, который, волнуясь, уже решал про себя, что делать в случае неудачи: требовать ли именем революции, или просить о снисхождении, взывая к человечности.

Солдаты тревожно обсуждали новые порядки. Офицеры неуверенно радовались.

Горбатов не привлекал теперь Андрея. Если бы родной город не лежал на пути в Питер, Андрей не заехал бы домой.

Предчувствия были верны. Три дня в Горбатове подарили ему только горечь, которая ржавчиной перебивала ту приятную взволнованность, какою наполняло его ожидание встречи с невестой.

Форменный пиджак на плечах Мартына Федоровича обвис, и линии его больше не напоминали о строгости законов. В волосах прошла гребенка времени, в глазах по-домашнему поселилась усталость. Он иногда прижимал правую руку ко лбу или к вискам — жест незнаданный прежде и потому тревожный. Обязательный за обедом графинчик вырос вдвое.

Горбатовские женщины готовы были по первому знаку заговорить о ценах. Цены были ужасны. Масло стоило рубль двадцать копеек фунт! Под фундаментом русской земли заколебался один из китов, может быть самый главный — устойчивость денег.

— Как жить, как жить? — стонали тетки Андрея и знакомые дамы. — Извозчик берет рубль до вокзала и еще полпути плачется, что дороги овес и сено. Когда кончится ваша война? И кто ее только придумал? Даже

свечи в церкви подорожали. Поставить приличную свечу, надо заплатить пятнадцать копеек.

Впрочем, и в Горбатове не всюду выпирала нищета. В особняках подрядчиков было весело и шумно. Поставки и военные работы не миновали карманов городских заправил. Они радостно грозили друг другу воздвигнуть в городе и не такие еще дворцы, какие выросли здесь после постройки Туркестанской и Сибирской дорог. Если бы не недостаток рабочих рук, они бы уже приступили к работам. Но уважение к деньгам, к копейке, которая, как часовой, охраняет строй рублей, упало и здесь. Деньги втекали и вытекали сквозь конторы дельцов не полноводной, взятой под строгий контроль рекой, но горными потоками, шумными, блестящими, — не поймешь, чего в них больше: тяжелой влаги или легко взрывающейся на солнце пены.

Со стесненным сердцем шел Андрей к Загорским. Какая доля судьбы Татьяны отнесена за его счет?

У Марии Антоновны уже был любимый угол у окна с любимым креслом. Казалось, время соскребло ее со всех сторон, как снеговую бабу, и только глаза стали больше. Может быть в молодости у нее тоже были большие притягивающие глаза. О смерти Татьяны она говорила неохотно. При этом крепко сжимала все еще полные губы.

Левушка только что уехал куда-то на северный фронт. О нем она вспоминала с тоскливой, прижившейся тревогой. Она была убеждена, что несчастья сыплются теперь одно за другим на ее седеющую голову: дети мыкались по свету, муж хворает, нельзя достать умелую прислугу, дорог керосин, хозяин отказывался делать ремонт квартиры.

Андрей надеялся, что Елена не выйдет к нему. О ней в Горбатове говорили нехорошо. Даже сестра Лидия, говоря о Елене, морщила брови и поводила плечом. Но Елена вошла, красивая и холодная. Эта сознательная сдержанность была удивительна в девчонке. Казалось, она вызовом отвечала на все упреки, какие могла предугадать и предчувствовать. Ей было шестнадцать лет.

Она была в голубом открытом платье и походила на хорошо сделанную, внезапно ожившую безделушку. Она смотрела на Андрея презрительно, ни о чем не спрашивала, вскоре поднялась и так же неожиданно ушла.

Некого было спросить в этом доме о последних часах Татьяны, как случилось, что жизнерадостная девушка сама пожелала смерти. Впрочем, Андрей для себя принял слова Розалии Семеновны... Не существенно, кто именно... Война, конечно, война!..

К северу поезд нес буйную солдатскую массу. Здесь офицера, который попытался бы высадить солдат, вышвырнули бы в окно под откос. Андрей не достал места. Предстояло сидеть на чемодане почти двое суток. Он меланхолично укладывал складную кровать под скамью, когда кто-то щелкнул шпорами около него. Юнкер улыбался ровными зубами. Аккуратный, выхоленный ежик начинался слишком низко на лбу и на висках.

— Я могу уступить вам верхнее место.

— А вы?

— У меня есть другое, напротив. — И тут же, еще раз щелкнув шпорами, представился: — Юнкер Васильевский.

Андрей забрался наверх. Ежик улыбался из темного угла.

— Я всегда так, — смеялся он шопотом. — Прихожу, первый занимаю вещами два, а то и три места. А потом раздаю наиболее симпатичным.

— Преимущественно сестрам? — улыбался Андрей.

— Это вы напрасно, господин прапорщик. Мне захотелось уступить место именно вам...

Он был словоохотлив, пожалуй, не глуп, но не ярок. Сын петербургского адвоката. Он сносно знал современную литературу. Помнил столько же стихов, сколько и Андрей. К вечеру Андрей увлекся разговором. Они лежали, свесив головы над теснотой нижних мест, и без конца говорили о боевых и революционных переживаниях.

Внешностью юнкер вовсе не походил на Андрея. Но это было зеркало его — Андрея мыслей о войне, о перевороте, о Николае, о союзниках, о Керенском, о советах. Андрею стало казаться, будь он на его месте в Носовке, этот юнкер непременно полюбил бы Елену, в первый вечер поцеловал бы ее руку и забыл бы сказать о любви. В дивизионе он говорил бы солдатам те же речи, что и Андрей, и, вероятно, стал бы членом комитета. Неужели они оба — только разменные ассигнации в человеческом бюджете страны? Неужели время штампует сейчас эти якобы новые, передовые взгляды, убеждения?.. Кто они оба? Кирпичи, из которых складывается новое здание, или песчинки, путь которых предопределен тем, что кто-то ткнул пальцем в подножие сухой человеческой осыпи?..

Юнкер заметил внезапную перемену в настроениях Андрея. Он лег удобнее и вынул из чемодана книжку. На желтом переплете Андрей прочел черные буквы: В Зомбарт «Современный капитализм».

«Он тоже ищет пути», — думал Андрей. Эта книга лежала у него в чемодане. Ни о самой книге, ни об авторе он не имел представления. Он усмехнулся своему внезапному отвращению к новому знакомому, и весь второй вечер они опять болтали, хотя уже не так доверительно.

Петербургский вокзал подкатил к окнам вагонов шумной, совсем не прежней, подтянутой столичной толпой. Улицы метнули в глаза бесчисленные красные флаги на домах, на памятниках, на фонарях. Легендарные семечки хрустящим ковром лежали на мостовой.

Невский кипел большой муравьиной дорогой. Каждый второй был военным. Солдаты ходили гордо. Штатские трусливо ныряли между групп и рядов людей в шинелях. Нарядные женщины опасливо пробирались вдоль стен. Тем не менее на улицах было празднично весело и бодро.

Из меблирашек на Надеждинской позвонил к Елене. Голос радостный. Телеграмму получила. Почему не ответила? Что же отвечать? Просто ждала. Соскучилась...

«И правда, — подумал Андрей, — не обязательно отвечать в таких случаях...»

Елена жила у родственников на Потемкинской. Родственник занимал пост во временном правительстве, но, с уходом Милюкова и Гучкова, отошел от дел и сам. Об этом Елена как-то писала в Румынию.

— Приезжайте вечером, часам к девяти. Удобно?

«Почему не сейчас? Если нельзя дома, то хотя бы на улице, хотя бы на четверть часа» — ныло Андреево сердце. — Хорошо, — сказал он вслух, — буду ровно в девять.

Никому больше не звонил. Лег на диван с книгой. Каждые полчаса машинально покручивал завод часов, как бы из страха, чтобы не остановилось время.

Он не мог установить по письмам, изменилась ли к нему Елена за последние месяцы. Письма были неизменно нежны, всегда в них была какая-нибудь как бы случайно оброненная фраза, еще один крошечный, но тем более ценный шаг к сближению. После революции Андрей стал было писать Елене обо всем происходящем в дивизионе, но известие о смерти Михаила никак не увязывалось с его собственными настроениями, а Елена, написав о смерти брата, замолчала. Когда переписка возобновилась, Андрей заметил, что она избегает самого слова «революция», и он перестал писать ей о событиях на фронте.

Но в живых словах он все же попытается рассказать девушке об этих месяцах, которые разбили стену тупой дисциплины и подняли от земли к небу лица миллионов людей.

Пол в квартире Султановых, родственников Елены, был затянут красным бобриком, а стены яркими ситцами. Комнат было много. Голоса всегда доносились откуда-то издалека. Лакей, расторопно распахивая двери, проводил в комнату Елены. Андрею показалось, что в комнате очень много людей, и он не смел даже поцеловать руку девушке. Люди, мебель, картины, цветные лампочки у зеркал, — все это жило и даже как будто шумело — может быть шумела голова Андрея,

из вагона, с румынских предгорий вступившего прямо в салон. Он сел в углу у маленького секретера-буль, на котором между двух карточек, моряка и офицера, стоял большой портрет Елены. Карточка моряка была убрана крепом и иммортелями. Елена была с нитью жемчуга на шее, в открытом платье женщин довоенного времени, которых выносили, выпестовали долгие десятилетия мира, когда самодовольное богатство отгораживалось от моря нищеты утонченностью вкусов, этикетом, традициями...

Кузен, приземистый, плечистый студент, выбрасывая каблуками, шагал по ковру из угла в угол и грыз шоколад с орехами. Кузина, с зубами наружу, с узенькими, как хвост ящерицы, носками туфель, курила тонкую папиросу. Они оба смотрели на Андрея с праздным любопытством. В течение пяти минут Андрей почувствовал, что ему нечего сказать этим людям, он даже не сумеет в соответствующем тоне отвечать на их вопросы. Впрочем, они ни о чем не спрашивали. Они не уходили и перебрасывались между собою клочками фраз о каких-то знакомых, об яхт-клубе, об автомобилях и скетинг-ринге.

Елена стояла около Андрея.

— Нравится? Я хотела было прислать вам, но вы ни разу не попросили об этом.

Андрей смутился. Он действительно никогда не испытывал необходимости в портрете. Самый лучший портрет только обкрадывал бы его первое впечатление. В другое время он сумел бы сказать это просто и даже хорошо, но сейчас он только смутился.

— Значит, вы и сейчас не просите? — кокетливо спрашивала Елена.

— Я бы после этого не дала, — попыталась прикрыть зубы кузина.

«Она считает меня пентюхом, — подумал Андрей. — Ах ты, ящерица!» — Злость вернула ему язык.

— Нам на фронте приходится обходиться без многого... И вообще карточки коллекционируют лоботрясы.

Пепел папиросы упал на шелковые колени девушки. Она встала, отряхнулась и вышла из комнаты. За нею, покрутившись на каблуке, заваливаясь неуклюжими плечами, вышел и студент.

— Вы умеете быть злым, — положив ему руку на плечо, заметила Елена.

— У меня масса недостатков, — буркнул Андрей.

— Вы знаете, почему я не звала вас до девяти?

— Решительно все равно, Елена. Хорошо, что вы думали об этом... Это все, что мне нужно. Я чувствую себя в этих комнатах, как колонист, долгие годы проживший в Африке. Я обтешусь, Елена. Городские навыки возвращаются быстро.

Елена улыбнулась, как там, в домике. Ситцевые стены начинали какой-то легкий танец.

В комнату дробными шагами вошла старуха Ганская. Она улыбнулась Андрею и осторожно опустилась в кресло. От прежней Ганской остались только узкая табакерка и бегающие пальцы.

Она постарела и чуть сгорбилась. Но вместе с тем она приобрела какую-то, может быть новую, может быть вторично обретенную уверенность в себе. Она скупо и отчетливо произносила фразы. Она говорила так, как говорят люди, чувствующие ответственность за свои слова. Смотрела на собеседника в упор. Она обещала превратиться в паралитическую семейную реликвию, вокруг которой говорят шопотом, о которой забывают сейчас же за дверью ее спальни.

У обеих на рукаве был траур. Андрей ни за что не хотел напомнить о Михаиле и боялся, чтобы кто-нибудь из женщин не заговорил о покойнике и его смерти. Но Елена заговорила сама.

— Как все-таки странно. Эту революцию называют бескровной... А нам она принесла такое горе. Нам с мамой теперь трудно разговаривать о событиях...

Ужинали за общим столом. Кузен и кузина держались вместе, ссорились и шептались, иногда вдруг фыркали вслух. Вражда между ними и Андреем росла безмолвная, даже без взглядов, самая необоримая. Больше

всего заинтересовался Андреем хозяин. Это был рослый, нескладный мужчина, с широкими жестами и громким голосом. Разговаривая с собеседником, он подходил вплотную, наклонялся над ним, буквально наседал и дышал в лицо терпким, сладковатым фиксатуаром и томительной прелью зубов.

Он хлопал Андрея по плечу, поил коньяком, расспрашивал о фронте, особо интересуясь снабжением армии и настроениями солдат.

Потом хозяин укатил с детьми в ресторан, и Елена предложила Андрею перейти в турецкую гостиную.

Это была маленькая комната, выстланная коврами, с низкими диванами по стенам. Кроме ковров и диванов, в комнате была только высокая стоячая лампа, под бордовым зонтом которой спрятались бы от дождя пять толстяков.

Дом затих, и теперь потекли разговоры такие, каких ждал Андрей. Вечер излечил раны и царапины, какие нанес ему этот день.

Утром Эрмитаж, музеи, церкви, днем пригороды, побережье, аллеи царскосельских парков, где черные лебеди и итальянские статуи кажутся у себя дома, Екатерингоф, зеленые озера Кавголова...

Елена вновь была захвачена силой его восторга, и чувство благодарности возвращало ее голосу прежние интонации.

Но теперь, расставаясь с Андреем, она уже не была одинока, как в Носовке. Она возвращалась со свиданий в шумную квартиру, куда целый день приходили все новые и новые люди.

Гости у Султановых бывали чуть не ежедневно. В такие дни Андрей предпочитал встречаться с Еленой вне дома. Елена избегала приглашать знакомых в те вечера, когда у нее гостил Андрей. Но частые телефонные звонки показывали, что новые приятели не забывают Елену. Однажды он застал у нее офицера гвардейской конной артиллерии. Его пробор блестел не меньше, чем лакированные бутылки его ботфорт. Андрею пришлось сесть в кресло напротив, и он не мог удержаться от

мысли о сравнении, какое, по его мнению, должна была сделать Елена. Гость оказался товарищем Константина. Он непринужденно говорил милые пустяки. Он тоже проводил в столице отпуск. Его интересовали театры, концерты. Он постоянно приглашал Елену на балы, музыкальные вечера, видимо, не подозревая, что этим ставит ее в неловкое положение перед Андреем.

Андрей не находил в себе ни злобы, ни сарказма, ни какого-либо ощущения собственного превосходства, которое дало бы ему точку опоры в беседе с гвардейцем. В сущности тот держал себя естественно, в другое время он мог бы нравиться Андрею. Но этот офицер вызвал мысли о разнице, которая возникала теперь между армейским прапорщиком и Еленой, и эти мысли испортили Андрею настроение. Он решил откланяться. К его удивлению, гвардеец тоже встал, прощаясь. Елена едва скрыла свое изумление и недовольство.

Андрей прошел с гвардейцем до Литейного, где тот, приветливо попрощавшись, сел на лихача. Андрей кружил по Петрограду, там, где сады и каналы, мостики и набережные делают город нарядным. Он не знал, вернуться ли ему к Султановым или итти еще куда-нибудь.

Чтобы отрезать себе все пути на Потемкинскую, он зашел к своим.

Тетушки не было. Николай Альбертович жевал толстый кусок сыра, на котором лежал слой масла в два пальца. У него развивался диабет. Он начал с жалоб, что ему больше не удается получать прессованное холмогорское масло, единственное, которое он признает, так как даже вологодское — дрянь, сметана. Он рассказал Андрею, что неделю назад вдвоем с одним врачом купил больницу за триста тысяч рублей. Сегодня они продали ее за семьсот.

— Это больше, чем сто на сто. Но меня это уже не радует. Это показывает, что никакой устойчивости на рынке больше нет. Все дутое. А уж если деньги дутые, — он развел широко руками, — это уже последнее дело. Надо кончать войну, и чем скорее, тем лучше.

Помириться с Германией... — говорил он, кончая сыр, — отдать ей Ригу и взять с ее помощью Константинополь.

— Не лучше ли Берлин?

Николай Альбертович засопел.

— Армия пустилась в политику. Армия — гниль. Лучше самим открыть фронт, не дожидаясь, когда его откроют пушками.

— А как теперь поживает Генри Джордж?

— Это учение не для сумасшедшего дома.

— А какие еще радикальные меры вы бы предложили, дядя?

Великан смотрел на него испытующим взглядом.

— Если говорить серьезно... Надо всех общественных деятелей, министров, генералов, водить в какую-нибудь из гимназий штудировать в обязательном порядке Тьера. Ведь они не имеют представления о Парижской коммуне, о заговоре Первого интернационала. Интеллигенты разговаривают о восемьдесят девятом годе. Все помешались на Ламартине и Карлейле. Это поэзия революции, к тому же классическая. А классики, как известно, никому, кроме гимназистов, не нужны. Проза, серьезная проза революции — это семьдесят первый год. Коммунары Парижа. Прочти внимательно их историю. Я знаю, знаю, что читал. Прочти по-новому и пойми, почему нужно открыть фронт. Затем, у тебя есть какие-нибудь деньги?

— Тысячи две скопил.

— В займах?

— Конечно.

— Глупо. Продай их завтра же. Сегодня, если успеешь. — Он посмотрел на часы. — Поздно. Ну, завтра утром... И купи на них золото, бриллианты. что-нибудь в этом роде.

— Вы больше не верите в деньги?

— Пожалуй, в доллары...

— А в имения?

Дядюшка безнадежно и презрительно закачал головой.

Андрей думал об Елене и ее богатстве...

Елена на прогулке журила Андрея за вчерашнее бегство. Она смеялась, называла его ревнивцем.

Елена знала в городе только десять главных улиц, соборы и большие музеи. Андрей водил ее от гробниц Моро и Понятовского к Екатерингофу, они выискивали дворцы Гваренги, Стасовские рынки, строения Воронихина и Бренна.

Андрей весь был в двадцатом веке, захваченный новыми темпами, когда чувство быстроты чаще живет не в перебоях сердца, но на концах пальцев и на коже висков. Для него дворцы и храмы существовали не сами по себе. Они помогали его воображению представить себе людей в голубых фраках или петровских треуголках — отошедшую в прошлое ступень истории.

Елена вся пригревалась у старых храмов и часами замирала во дворах василеостровских набережных, где сохранились еще лесенки, переходы и неуклюжие колонны старых мастеров. Она не обращала внимания на снисходительные или неприязненные взгляды женщин в платках с плетеными кошелками, которые недоумевали, почему эта красивая барышня остановилась, опершись на руку офицера, и смотрит так долго на голую, отсырелую стену.

У Андрея возникло даже опасение, не религиозна ли она, но, по крайней мере, ко всей внешней стороне религии Елена была равнодушна, хотя и не высказывала своих настоящих мыслей.

Вкусы их были различны. В Эрмитаже Елена предпочитала фламандцев итальянцам. Петербургские храмы, по ее мнению, не шли ни в какое сравнение с теплыми и темными церквами Киева, Чернигова и даже Москвы. И весь Петербург казался Елене нерусским (как раз это и восхищало Андрея), каким-то нарочитым городом.

Но все это нисколько не огорчало Кострова. Влюбленные таковы. Если подруга глядит на мир теми же глазами — значит, счастье придет именно от полного совпадения мыслей. Если она иная, тогда, конечно, все

будет хорошо, потому что противоположности сходятся.

На горбине мостика у Инженерного замка Андрей спросил Елену, любила ли она кого-нибудь прежде.

— Я отношусь к мужчинам так, как они ко мне...

Андрей застыл, положив ладони на гранит набережной. Самые нелепые мысли проносились в сознании. Елена улыбнулась и шаловливо взяла его за рукав шинели. На ухо она шепнула ему несколько слов, и они зашагали дальше, радостные и бодрые.

Андрей не знал законов, управляющих сердцем Елены. Он их не чувствовал. Он брал ее во всех внешних проявлениях и за каждым ее порывом, случайно оброненным словом громоздил Альпы собственных догадок, почти всегда неудачных, натянутых, как борт военной палатки, и скользких, как дека скрипки. Он сам разрушал их, как карточные домики, после первой же ласки девушки.

Вечером он остался в гостях у Султановых. Сам — уезжал в какое-то сложное путешествие. Женщины хлопотали у раскрытых чемоданов. Никто не говорил, куда едет видный деятель. Но после обеда и ликера хозяин разоткровенничался. Попыхивая толстой сигарой, которую он тянул губами, как если бы хотел вытянуть ее сердцевину, полузакрыв глаза, — можно было догадаться, что у него от никотина и вина сильно бьется сердце, — он шептал:

— Все спешат делать деньги. Смешно же делать рубли, когда можно ковать миллионы. Этот мелкотравчатый жулик, Козьмичев, что придумал... Я подсчитал и вижу — прав, каналья! Этакий мошенник Гад! Надо, оказывается, скупать финские марки. Кто бы мог думать? А механика вот какая. На международном рынке они крепче рубля. На них — купить по сходному курсу на гельсингфорской бирже шведские кроны На кроны по паритету — фунты Хотя бы в Стокгольме. А с фунтами, батюшка мой, надо ехать.. куда бы вы думали? В Персию Там туманы на фунт ни чорта не стоят. А рубль на туманы стоит и того меньше — во-

семь копеек. Вся операция дает какой-то сумасшедший процент. Теперь не биржи, а свистопляска. Вот персюки, педерасты несчастные. Скажите, как уронили наш рубль!

— А ваши операции, конечно, помогут рублю?

— Как мертвому кадило!

В передней серебристо шуршал звонок.

Восьмиугольную комнату отвели под библиотеку. Здесь был единственный угол, где можно было бы не изображать гостя.

Книги никому не были нужны в этом доме, но библиотека была обширна. Книги были чем-то вроде ценной мебели, которою не принято пользоваться

Громоздкий камин выпирал на середину комнаты. За его угловой толстопятой колонной приютилось вольтеровское кресло. Андрей прошел к нему с томиком Плутарха и вскоре забыл о времени.

Плутарх говорил об изменчивой судьбе и о людях, которые, подобно клинку, проходят сквозь узлы жизни. Великие времена существовали и раньше. Но где сейчас эти люди?! Не может быть, чтоб их не было вовсе!..

— Давайте здесь, — раздался позади голос хозяина. — Не угодно ли? — Хлопнула крышка портсигара. — Д-да... о провале итальянского наступления я слыхал от приехавших только вчера из Лондона. О подводных лодках тоже... Дела не блестящие...

— А вы знаете? — быстро пришепетывая, заговорил незнакомый голос. — У меня душа о союзниках не болит. Тут, когда своя хата горит... Я, по правде, приехал посоветоваться. Слушайте, Николай Яковлевич, я, честное слово, не знаю, что делать. Это же какое-то сумасшествие.

— Какие причины для такого беспокойства?

— Вот вы говорите, а я вижу, вижу по глазам, что и вы неспокойны Я сейчас был у этого. . — Он назвал одну из известнейших фамилий деятеля-финансиста. — Он ходил гоголем и говорит о спокойствии. А я из верных источников знаю, что он из всех банков изы-

мает деньги и переводит за границу. С заднего крыльца, по знакомству. Так что он мне говорит о спокойствии! Я уже месяц как не сплю. Не помогает даже веронал. Ну да! Я думаю — чем я буду кормить свою семью?

— Ну, на семью-то хватит, на молочишко. Но, в сущности, вы правы — дела дрянь.

— Хм, дрянь. Что такое дрянь? Это уже не дрянь, это могила. Ну да, могила! — крикнул он полным голосом и вдруг перешел на шопот. — Я знаю, что армия больше наступать не будет, — это факт. Это все прапорщики знают. А раз так, то все надежды на кредиты кончены. Все ползет, как паутина. Я вижу... Я теперь беру в руки сто рублей или акцию, смотрю на нее и себе не верю, что это у меня в руках — акция или пипифакс. Мы больше не союзники. Денег нам больше не даст никто. Ай, я не знаю, что это за время. На эту русскую армию все так надеялись.

— Ну, не век же будет все так итти. Должно же что-то измениться...

— Так когда же оно изменится? Слушайте, мне этот говорил, — опять громкая фамилия, — что Керенский имел беседу с послами и они ему прямо все и сказали. Они ему нарисовали картину. Они ему показали, кто хозяин. Он, как угорелый, помчался на фронт... Ай, от всех этих дел болит голова. Послушайте, вы в промышленном комитете... Скажите, что теперь будет с нашей промышленностью? Можно теперь деньги вкладывать в промышленность? Что это такое, что банки теперь дерутся с промышленностью? Что это значит? Что они, с ума сошли?

— Банки ведут правильную линию.

— Какая же это правильная линия, когда фабриканту нельзя получить рубль в кредит. Когда банки дерутся за каждый аванс. Чтобы от них рубль получить, так нужно просить, как милостыню.

— Вы читали «Банковский вестник»? Там достаточно отчетливо сказано, что банки не считают социально-экономическое положение в стране благоприятным для вложения капиталов в промышленность

— Но отчего же должна страдать промышленность?

— А, бросьте, кто страдает? Промышленники сами понимают положение. Если они говорят другое, так потому, что им нужно оглядываться на рабочие организации. Эти комитеты, советы берут за горло предпринимателя. Рабочие обнаглели. Надо дать хорошо по рукам. Вот на Гужоне там правление предложило временному правительству взять заводы на себя. «Пожалуйста, мол, попытайтесь справиться со всей этой шурой-мурой, которую вы же завели. А мы посмотрим, поучимся». Хозяева готовы закрыть заводы хоть завтра. Или вот Смирнов, текстильщик, закрыл фабрики — и все. Он-то как-нибудь просуществует, а вот как господа-товарищи? Вот как вылетит полмиллиона товарищей на улицу — посмотрим, понравится ли им революция. Вот банки и ведут линию на такой удар.

— Но ведь теперь война. Как же это?..

— Так ведь правительство сейчас само сокращает заказы. Союзники больше в долг не дают. Оплачивать нечем. Американцы разлетелись было, сенатора прислали, комиссию. Ну, сенатор посмотрел, посмотрел и уехал... А теперь вот Бахметьев сообщает — в Вашингтоне-де заметно охлаждение к вопросу о развитии русско-американских отношений. Из знаменитых трех миллиардов американских кредитов на нашу долю достанутся, очевидно, слезы. А как же иначе? Вот и получается — денег нет, угля нет, нефти нет, с дровами провалились, — так что же вы хотите? Вы думаете, если учредительские капиталы растут, так это промышленный расцвет. Бумажных денег много, вот и все. — Он помолчал. — Теперь так, удастся Керенскому провести смертную казнь на фронте — будут деньги, не удастся — фига с маслом. Удастся голодовкой согнуть рабочих — получим заем, не удастся — та же фига. Что ж голову под крыло прятать...

— Веселые вещи говорите, Николай Яковлевич... Значит, в учредительные общества вкладывать деньги вы не советуете?

Ответа не последовало. Должно быть, Султанов просто махнул рукой.

— Что же тогда покупать? Землю нельзя, акции нельзя, заводы нельзя, бриллианты, что ли?

— Советовать не решаюсь, слишком ответственно.

— Сумасшедший дом какой-то. Поеду к Кутлеру, у него связи с заграницей.

— Увидите Пальчинского, передайте ему...

На Плутархе липкий коленкор и кожаный корешок. Так переплетают томики Тениссона...

Голос хозяина глухо рокочет за дверью. В передней гость шаркает галошами по линолему. В столовой горничная звенит посудой.

Нет, война — это не фокус. Часы — это не циферблат и стрелки. Часы — это механизм. Но понять механизм можно только, зная механику, законы, управляющие движением колес и маятников...

На улице лицом к лицу с освежающей прохладой ночи Андрей злобно недоумевал, почему он еще никогда не дал по роже кому-нибудь из этих людей, которые издеваются над фронтом. Что бы сделал на его месте казачий хорунжий, который хлестал солдата, спрятавшегося под бабий зад от стаканов зенитки? Полная луна смеялась широкой блинообразной рожей. Выпитое за ужином вино превращало фонари в маленькие, слегка колеблющиеся луны. Улицы упирались в тяжелые дворцы. Где-то находилась власть, та самая, которая заключала займы, печатала кредитки и до февраля и после февраля требовала во что бы то ни стало наступления, победы над неприятелем...

После отъезда Султанова дом взорвался нелепым, каким-то средневековым весельем. Можно было подумать, что все баккалавры Гюго вошли в четырнадцать комнат султановской квартиры. Андрей никогда не подозревал, что студенчество семнадцатого года жизнерадостнее довоенного... От них никуда нельзя было спрятаться. За столом, с рюмками в руках, они осмеяли все, что с трудом поддается осмеянию. Они оплевали все слова патриотического арсенала, все жупелы войны,

все цветы классической романтики. Они состязались в эпитетах, доступных уху дам и способных в похабном смысле перещеголять простые заборные слова, уже утратившие для их слуха щекочущую шероховатость.

Елена сжалилась над Андреем и увела его к себе.

Она закрыла дверь и пожалела об этом. Каждый считал долгом постучать, спросить разрешения войти. Предводительствовала компанией кузина, с зубами наружу...

Прошло еще несколько дней.

Андрей от встречи до встречи откладывал решительный разговор.

Елена никогда не говорила о будущем.

В сущности, Андрей был рад, что его не торопят. Он, как страшного суда, боялся разговора со старухой Ганской. Что если эта, так легко приобревшая уверенность в себе старуха окинет его взором с ног до головы и спросит, на какие средства думает Андрей содержать свою жену? Он, кажется, получает двести пятьдесят рублей?.. Ах, двести двадцать пять? Ну, все равно... А что она спросит, — нельзя сомневаться... Это ничего, что полгода назад, по выражению Трегубенки, они сами были «рваненькие». Чорт бы взял эти деньги!

Рассечь разом этот узел он не хотел. Риск казался слишком большим. Вернуться на фронт без права думать о Елене!.. Он не мог и помыслить об этом. На месте всех его прежних рассуждений о войне поместилась сосущая пустота. На месте его любви поселится другая. Он будет подобен человеку с кавернами в обоих легких. Он будет хватать воздух руками, не будучи в силах дышать...

Каждое утро он шел к Елене, не зная, что принесет этот день: ощущение боли или надежду... На что?.. Неизвестно.

Однажды утром Елена позвонила ему и просила сейчас же притти на Потемкинскую. Андрей спросил — не случилось ли что-нибудь у них. Елена ответила уклончиво, обещала все рассказать при встрече.

Комнаты Ганских красноречиво свидетельствовали о том, что их обитатели собрались в дальний вояж Затянутые ремнями чемоданы, уложенные коробки, баулы. На секретере больше не было портрета.

Шурша черным шелком, вошла Ганская.

— Вы знаете, такое огорчение. Приходится срочно ехать этой ночью. Ничего не собрано. С билетами так сложно.

— Мама, вы запугаете бедного Андрея Мартыновича, — сказала входя Елена.

Возможно, что Андрей действительно имел вид растерянный.

— Куда же вы едете?

— В Носовку. Идите сюда, — взяла она его за руку. Андрей сел так, как садятся, не зная, не придется ли вдруг вскочить, и, оставив руку Елены, смотрел на нее выжидающе.

— Я никогда не говорила с вами о наших делах. Я уж не знаю, что лучше в наше время... Может быть лучше ничего не иметь. Управляющий бомбардирует нас отчаянными письмами. Вы знаете, как теперь сложно в деревне...

Андрей кивнул головой

— А вчера ночью от него пришел ультиматум: либо мы приезжаем, чтобы уладить спорные вопросы с крестьянами, либо он ни за что не ручается. У соседей уже сожгли дом и службы. У них, впрочем, до февраля стояли ингуши. А у дяди никогда не было охраны. Дядя был либерал и как-то умел ладить с крестьянами Мы не боялись пожаров. Но ведь теперь крестьяне не разбирают... Видите ли, они требуют, чтобы им были отданы все покосы. А это и есть самое ценное в имении. Дядя занимался искусственным травосеянием, и кроме того в имении есть большая молочная ферма Я советовала маме отдать крестьянам часть земли. Хотя бы даже эти самые покосы. Но дядя Султанов обозвал меня дурой. Он говорит, что если только крестьяне увидят, что им уступают до Учредительного, они пожелают взять сейчас же все имение и, может быть, даже дом.

Тогда уже и Учредительное не поможет. Мама волнуется, она решила ехать. Ну, а я не могу отпустить ее одну. — Она близко придвинулась к Андрею и просительно глядела ему в глаза. — Ведь вы понимаете, мой милый?!

— Я понимаю вашу тревогу о матери, но не об имении. Я ненавижу это ваше имение!

Елена успокаивала его.

— Я не ждала наследства, можете мне поверить. Но нельзя же отказываться... Нельзя же добровольно итти на бедность... Это вовсе не так красиво.

— Мне в вашем домике было очень хорошо...

— Нам будет еще хорошо, милый.

— Не знаю... — Руки Андрея лежали, как плети. — Может быть я говорю глупости. Но неприятнее всего сейчас обладать имением. Помещичья Россия кончилась. Она не вернется, как бы ни пошли дальше события...

— Не надо, милый. Мне и так тяжело. Я все время вынуждена колебаться между вами и мамой.

— Мама против нашей любви?

— Нет.. но она так нервничает... она так надеялась. Так окрепла духом. И вот опять. Она ведь все не для себя, для нас... Для Коти, для меня. Вот потому-то я и не могу пустить ее одну. Я скажу вам правду. Я все время боялась, как бы вы не столкнулись с мамой. Мама крепится, она молчит, но по ночам она до сих пор молится за Николая. Она — старая женщина. Я все боялась, что вы заспорите с нею. В особенности о Михаиле... Ну, а в деревне, там все может случиться. Вы не знаете деревни. Там люди вовсе не так безобидны, как кажется. Они алчные, ненавидят богатых и могут быть страшными. Вот мы с вами все время избегаем говорить о политике. А она здесь, рядом с нами... Помните, я не писала вам две или даже три недели. Я получила тогда ваши первые письма о революции. Такие восторженные, радостные. А в это время мы не знали, как найти тело нашего Миши, чтобы похоронить. Говорят, его пустили под лед...

— Я не знал вашего брата... — глядя в пол, угрюмо говорил Андрей. — Может быть он был очень хорошим. Я знаю только, что у нас на фронте гибли офицеры самые злые, жестокие... противники переворота. Во флоте, там тоже убили худших. Михаил, повидимому, погиб случайно. Это большое горе, но в нем не виновата революция.

Елена осторожно убрала свою руку. Она смотрела в дальний угол серьезными глазами.

— Все-таки это убийство, Андрей.

— Вы, Елена, в убийствах не понимаете ничего! — с сердцем сказал Андрей. — На фронтах сейчас двадцать миллионов обученных убийц. В окопах... — он махнул рукой.

— Так вот я не могла писать вам. Некоторое время я не могла быть с вами искренной.

— Я понимаю...

— А теперь вот мама...

— Хотите, я поеду с вами?

— Нет, нет, это никак невозможно!.. — Андрей смотрел на нее так, как будто готовился услышать что-то совершенно новое, убийственно ясное. — С нами поедет Никанор.

— Этот болван?

— Андрюша...

— Он может погубить... испортить все дело.

— Но больше некому. Не нанимать же человека. Дядя уехал. Котя на фронте.

— Лучше уж нанять...

— Мне очень жаль, что я испортила вам отпуск. Теперь уже не скоро...

Андрея захлестывала поднимавшаяся из глубины, как ядовитый газ из трещин, горечь.

— Что же мне делать, Андрей?

— Вы уходите от меня, Елена!

Она прильнула к нему всем телом. Шелк платья щекотал пальцы. Он поцеловал ее. Ее слезы скатывались на его худые, холодные щеки.

«На следующий день ее не будет!»

Когда вошла мать, они долго глядели в разные стороны, не в силах сдержать размах дыхания...

Поезд ушел. В глазах Андрея рельсы гнулись живыми змеями, стремясь к двум красным, убегающим глазам. Петроград стоял позади пустой, и страшно было к нему обращаться лицом...

Сутки он лежал в комнате с опущенной шторой, боясь показать людям тоску человека, для которого фронт замкнулся теперь полным кругом.

Потом он подсчитал дни отпуска. Их оставалось немного. Он ходил по городу и искал новых людей.

Однажды на Невском в густой толпе, очутившись у края панели, Андрей увидел на торцах широко шагающие ряды, над которыми от шеста к шесту бежали, волнуясь, красные дорожки с белыми и черными буквами. Это шли солдаты и матросы. Демонстранты пели: «Смело, товарищи, в ногу». Панели гудели сдержанным шопотом. Матросы в лозунгах и песнях обещали углубить и обострить борьбу. Черное знамя анархистов было задумано режиссером, который умеет куском крепкого тона подчеркнуть игру актеров.

Впрочем, не куски материи, не слова, смысл которых для многих еще не раскрылся, — но лица были настоящим знаменем этих двух не сливающихся человеческих потоков, которые пока еще вмещала одна и та же улица.

Бритые, сухие лица остановившихся рядом офицеров застыли. Едва шевелились усы, не то от легкого ветра, не то оттого, что губы шептали что-то напряженное, как заклинание. На панелях женщины тесней прижимались к мужчинам. Здесь было много вооруженных офицеров. Солдаты же шли без винтовок, но было видно, что сейчас они не знают удержа ни в радости, ни в смелости, ни в задоре.

— Святый боже, святый крепкий, — громко причитала, опираясь на палку, куполообразная старуха в кремовой накидке прошлого века. — Како тако время!

Проходил хвост колонны. Панели оживали по сигналу старухи.

— Морды-то отъели. Бьют баклуши в казармах, — сплюнул толстяк с лицом цвета резиновой клизмы, к которой сверху была приклеена светлая пакля.

Офицеры стояли стеной гладких шинелей. У всех руки лежали на эфесах сабель. Перед ними затерялся одинокий, маленький ефрейтор-фронтовик в шинели, познавшей прелести окопов.

— Ты вот что-то не похож на них, миленький! — обратилась к нему клизма, показывая на шагающих солдат.

Ефрейтор осмотрел говорившего, сморкнулся в пальцы, отчего стена офицерских шинелей дрогнула, как от шквала, и, отвернувшись, сказал:

— На тебя они тоже не смахувають.

— Ты вот какой жидкой и на тебе-то шинеленка замызганная. А энти, вот, по Невскому разгуливають. И этих бы на фронт не вредно. Верно я говорю, господа офицеры?

Офицеры были неподвижны, как скульптурная группа.

Фронтовик шагнул на панель и одиноко зашагал вслед за колонной. Он уносил свое, особое мнение...

XVIII

ЗА ЗЕМЛЮ И ВОЛЮ

— 'а' вам пришлась по в'усу наша трапеза, господин прапорщи'? — приветливой рукой трепал Алданов по плечу Андрея. — Офицерс'ие разносолы. батень'а, 'ончились. Небось, в пар'е все-та'и лучше было.

Кольцов без френча, со спущенными помочами, поев селедку с картофелем, плавающую в янтарном масле, откровенно облизывал широко расставленные пальцы.

— Если бы вас увидели в офицерском собрании города Николаева! — сказал Горелов Он заехал в гости и сидел на краю скамьи, опустив подбородок на эфес шашки.

— Выход из дивизиона. Очень просто! — согласился

Кольцов. Он прекрасно сознавал весь ужас своего положения.

— Не то еще будет, — буркнул молодой прапорщик с лицом в рябинах, с суворовским вихром на лбу. Это был офицер последнего выпуска, прапорщик Перцович. Его товарищ по школе, Архангельский, с упитанным лицом, старательно и молча жевал, глядя куда-то вперед. Трудно было заподозрить его в склонности к меланхолии. Скорей всего это было созерцательное равнодушие.

Батарея стояла в Кревском лесу около тех знакомых мест, где дивизион уже подвизался весною шестнадцатого года. Солдатский топор еще больше разредил чащу леса. На позиции только редкие, самые старые сосны были оставлены для прикрытия от аэропланов, и их вершины, раскачиваемые ветром, бороздили яркую полосу летнего неба. У строя орудий были вырыты солидные блиндажи. Уходя в густые заросли кустов, тянулись ряды солдатских палаток. Врытые в землю стол и скамьи офицерской столовой расположились под самой высокой сосной, и группа обедающих офицеров у всех была на виду. У избитой на походах закопченной кухни стоял солдатский хвост с бачками. Огромная ложка кашевара взлетала и опять погружалась в облако пара, и солдаты по одному отбегали с наполненной горячей посудой к группам сидевших на земле людей с ложками наготове.

— Кто это у кухни? — удивился Андрей. — Ведь это Пахомов! Каптенармус?

— Представьте себе, — сказал Кольцов. — Солдаты постановили. На первом же собрании. А фельдфебеля — в ящичные ездовые.

— Кто же теперь фельдфебель?

— Прислали нового — подпрапорщика Галкина.

— Ничего, скоро и нас поставят в очередь к кашевару, — продолжал Перцович.

— Тем батень'а пахнет, — покорно согласился Алданов

— А у вас в парке как? — осведомился Кольцов.

— Я еще не разобрался, как у вас, но возможно, что в парке спокойнее. Мы в комитете поставили все эти так называемые бытовые вопросы и разрешили раз и навсегда... Заставили каптенармуса выдавать офицерам продукты не свыше положенного пайка и, кажется, все... Это ведь справедливо.

— Тыловая часть, — презрительно сказал Перцович.

— А у нас в трех батареях, и везде по-разному. В третьей батарее лучше всего... У нас все это складывается резче потому, что завелся большевик и все ему в глаза смотрят.

— Сами офицеры виноваты, у вас всегда было хуже отношение к солдатам, — заметил Горелов.

— Кто же этот большевик?

— Он еще спрашивает, — засверкал глазами Кольцов, — ваш же Стеценко.

— А Ягода, Багинс'ий, Берзин... А Бобров? Это 'то же по-вашему? — спросил Алданов. — Они все уже записались в партию.

— Лучшие солдаты! — воскликнул Андрей.

— Вот подите же, — развел руками Алданов, — и злее всех, знаете, ваш приятель Багинс'ий. А 'а'ой был разведчи'! Он еще до революции взбесился, вдруг... после сражения под Барановичами. После этого он стал приходить 'о мне с та'ими вопросами... Совершенно умономрачительные вопросы. Ни'огда не думал, что на солдата та' может подействовать исход боя.

— Больше всего жаль Ягоду. Твердый парень. Его просто проморгали, — цедил сквозь зубы Горелов. — И уже на других батареях у Стеценки завелись приятели. Даже у нас. Тихо работает парень, без шума, но наверняка.

— Та'ое время.

— Но что у вас произошло со Стеценкой? С чего началось? — спросил Андрей.

— Приехал тихий, как овечка. Настоящий солдат, — размахивал руками Кольцов. — Я его даже в первое орудие назначил, к Ягоде. Пусть, думаю, фейерверкерские нашивки заслужит. А то — в писаря. Грамотен,

пишет, как офицер. А на первом собрании он как грохнул речь!.. — Кольцов схватился за голову.

— Да, была штука, — поддержал Горелов. — Можно было подумать, он к этой речи год подготовлялся. И капиталисты, и земля, и заводы, и кровавая царская власть, и обманщики-союзники. Солдаты развесили уши. А он дальше: офицеры спят и видят, как бы задушить революцию, офицеры за войну, им война выгодна, а если, мол, они не из-за выгоды, а из патриотизма, то пусть перейдут на солдатский паек, на унтер-офицерские оклады...

— Такое завертелось, — поднял руку Кольцов, — как в пехоте...

— Нас тогда толь'о 'аляев, Сазонов, да Перовс'ая спасли, — усмехнулся Алданов. — Да, да. После Стеценки на том же собрании выступил Шнейдеров. Вы его помните, он при вас был вольноопределяющимся, толстый та'ой, эсер... При 'еренс'ом его в прапорщи'и произвели. Он 'а' за'линатель говорил. Целый час. Всех мертвецов из гроба поднял. Вот вы бы послушали. Мыде теперь одна семья. Революционный офицер солдату брат. После революции ссорить солдат и офицеров может толь'о враг. Партия социалистов-революционеров, 'оторая идет против помещи'ов, против министров, против царя, не даст уничтожить в армии революционный дух. Словом, потеха...

— Чего же тут смешного?

— Смешно то, что за'линания подействовали. Вот вы мне и с'ажите, знаем мы солдат, знаем ли мы свой народ?

— Мне в голову не пришло бы обратиться к Каляеву и Перовской, — смеялся теперь и Горелов. — Когда Стеценко говорил о пайках и о жаловании, у офицеров в груди камни ворочались. Ничего ведь не скажешь, ничего не придумаешь. Впрочем, помогло это все ненадолго... Но тогда Шнейдеров попал в председатели комитета, повел успешную запись солдат в эсеровскую партию, а Стеценко остался в меньшинстве. Но это его, повидимому, не смущает.

— Каждый день с утра до вечера народ обрабатывает. А мы молчим, — несколько оживляясь, протянул Архангельский.

— Повара у нас отняли, — пожаловался Зенкевич.

— Да, представьте себе. Довольно, говорят, каждый день разговляться. Повара нет в штатах. Тоже законники нашлись. Теперь вестовые обед готовят — то пережарено, то пересолено...

— Хорошо еще, не отняли вестовых.

— И об этом разговор был. Не беспокойтесь.

— Все это в конце концов мелкие дрязги, — сказал Андрей.

— Бывают и серьезные разговоры. Самые разнообразные... Вот и сейчас идут зачем-то. Наверное просьба или требование. Теперь, собственно, и не отличишь...

Подошли двое. Андрей не помнил их лиц, Вероятно, новые. Они еще утирали губы рукавом после обеда. Оба одного роста, оба широкоплечие, краснощекие, с налитыми круглыми плечами — куртка лопается. Один помоложе, безусый не от бритвы, а от природы, другой — сивоусый, белесый, построже и с бомбардирской нашивкой.

— Мы к вам, — сказал бомбардир.

Кольцов подвинулся на скамье.

— Садись, ребята... Садись, Митрохин...

— Постоим, — ответил бомбардир и неожиданно присел на корточки там, где стоял. Молодой остался стоять рядом.

— Как мы письма из дому получили... Посоветоваться надо, господин капитан.

Кольцов протянул руку.

Но бомбардир, не отдавая письма и послюнив пальцы, неловко перебирал мелкие, желтоватые странички.

— Что ж пишут? — спросил Алданов.

— Пишут, господин поручик... такое, что нам здесь сидеть не выходит времени.

— Хм, мы бы тоже не сидели... если бы не война. А вы прочтите, — предложил Кольцов.

— Землю у нас делят, в Тамбовском уезде...
— Землю делят... — как эхо прогудел молодой.
— Какую землю?
— Помещика... Воротынцева... господина, делят...
— Бабы пишут, что без нас, если не приедем, все разделят. — Они смотрели теперь на Кольцова в четыре глаза, как в строю.
— Ни то до Учредительного собрания делить землю не может, — заметил Алданов.
Должно быть, эта фраза прошла незаметным ветерком мимо ушей солдат. Они смотрели все так же.
— Что же вы хотите? — спросил Кольцов.
— В отпуск бы, ваше благородие...
— А когда ваша очередь?
Бомбардир только махнул рукой.
— Мы четыре месяца на батарее... Мы из раненых, второй раз. Когда наш черед?
— Господа офицеры тоже в очередь ездят.
— А командир батареи, что месяц, ездит...
— Это дело высшего начальства, — сердито заметил Кольцов. — Не выйдет, ребята...
Бомбардир сломал щепку, которой он чертил по земле, отряхнул пальцы и поднялся. Андрею показалось, что человек в гневе.
— Явите божескую милость, — вдруг тихо заскулил бомбардир. — Землю-то всю без нас поделят. Тех, что на фронте, — позабыли. У нас в деревне одни бабы остались Не запишут на нас — не будет землицы. А помещицкий хлеб по ночам увозят... Лес порубили. Ружьёв у наших нету... А там, которые помещичью водку пьют, те по деревням ездят и сеять не велят...
— Мы на трое ден, — присоединился паренек и снял шапку.
Бомбардир энергично двинул товарищей локтем. Взглядом не одобрил снятие шапки.
— А оружие с фронта брать — это против закона, — сказал Кольцов. — За это под суд
Бомбардир опять опустился на корточки, опять нашел на полу щепку и стал ею царапать конец сапога

— Что ж получается? — говорил он, глядя в землю.— По что же мы революцию делали?

— Кто ее делал? — презрительно уронил Перцович.

— Про землю, про волю разговоры... — тосковал бомбардир. — А землица-то мимо солдатского носа идет.

— Ничего не могу, дорогой, — разводил руками Кольцов. — И землю делят у вас самочинно, и в отпуск пустить против приказа не могу...

— Что ж, по приказу и сгнить в окопах? Все равно войне конец, — поднял вдруг глаза бомбардир. Вся мягкость сошла, слетела с лица, как сброшенная в сторону маска. — А нам без землицы жизни нету. Хоть с победой, хоть как... Хоть сдыхай. — Он поднялся, резким движением сорвал шапку с головы и хватил ею о землю. — Даешь отпуск, командир, — сказал он без крика, тихо, но напористо. Он стоял теперь, подавшись вперед, и ждал. У молодого дрожали черные рабочие руки.

Офицеры почувствовали себя неловко. Андрей физически ощущал бешеную злобу, которой наливались на его глазах Кольцов, Перцович и даже Горелов...

— Я с тобой... с вами... в таком тоне говорить не буду, — сказал Кольцов и по-детски поднял на руках туловище, — и грубить не позволю... Не нравится — жалуйся в комитет. — Он опять сел плотно.

— Что комитет, что охвицеры, — один... — выругался, как сплюнул, бомбардир. — Христом богом просил, а теперь даржи! Уйду я... или еще што сделаю. — Он схватил пятерней и рывком, чуть не до пояса, раздвинул ворот рубахи. — На, вяжи, або стреляй!..

Кольцов вскочил.

— Осипов! — крикнул он на всю батарею.

К столу уже бежал огромный солдат, круглолицый, с мягким бабьим подбородком и багрово-красными щеками. За ним шли и бежали, побросав бачки, другие солдаты.

— Чего изволите? — спрашивал он еще находу Кольцова.

— Вы как комитетчик, — заговорил взволнованно

Кольцов, — подтвердите Митрохину, — могу я отпускать в отпуск кого хочу?

— Никак нет, — встал в позу и принялся обтягивать рубаху в жирных пятнах Осипов. — Условие было... Список есть, одобренный комитетом.

— А письмо? — протянул вперед руку молодой.

— Про письма нам ничего неизвестно, — упрямо закачал головой Осипов.

— А он оскорбляет... Меня ругает, командира батареи, грозит... — захныкал Кольцов. — Я мог бы под суд... Но я хочу жить в мире с батареей. Я бы отпустил всех, если бы мог, если бы не было войны. Я и сам домой не прочь, но сижу вот...

— На офицерском пайке, да четыреста жалованья, — раздался голос. Это был Берзин, наводчик второго орудия, большой, нескладный, как будто покрытый дубовой корой, с дубовыми жилами парень.

Кольцов осекся.

— Что за шум, а драки нет? — спросил кто-то уверенным тоном. Толпа раздвинулась, и в круг вошли двое. Первый был рыжеусый, похожий на казака фейерверкер третьей батареи, комитетчик Табаков, и страдающий одышкой, тяжеловесный и мягкий, председатель дивизионного комитета, прапорщик Шнейдеров.

— На ловца и зверь бежит, — сказал Алданов и очистил возле себя место на скамье.

— Слыхал я немного, — вздохнул, садясь, Табаков.— Насчет отпусков, ребята! А вот мы поговорим давайте... Мы по-демократическому. Чуть что — собранию... И всякому ясно, убедительно. Ты, что ль, Митрохин? Докладай... на что претендуешь? — Он пожимал руки офицерам. — Давно приехали? — бросил он по пути Андрею.

Митрохин опять тихо и медленно стал рассказывать все сначала. Держал в руке, не отпуская, письмо.

Жаркое солнце желтым слепящим светом обливает солдатский круг. Редкие тени от качающихся вершин бродят по лицам...

Президиум вокруг стола — как репинские запорожцы. Кольцов быстро успокоился и теперь, слушая Митрохина, сияет, как баташовский самовар. У него фуражка с широкими полями сползла на затылок. Он без френча, с закатанными рукавами рубашки, волосатый орангутанг, и конец уса, как у таракана, двигается сам. Обняв руками соседей, Табакова и Осипова, он хочет показать, что чувствует себя в кругу солдат, как свой.

Зенкевич улыбается исподлобья и сидит, собравшись, как будто его сдавили со всех сторон.

Алданов время от времени дружески треплет по плечу рыженького мелкого фейерверкера Щуся, называет его «батень'ой» и шопотом, так что слышно Андрею, рассказывает, как соседи—легкачи ручными гранатами глушили рыбу где-то в помещичьем пруду.

А вот Бобров. Это рабочий-металлист. Он прислан сюда накануне революции. Он из партии рабочих, снятых с производства за политическую бузу. У него усы еще длиннее и пушистее и табаковских, и кольцовских. Военная форма выглядит на нем по-штатскому. Голенища сапог гуляют, — на одной ноге они достигают колена, а на другой — середины икры. Он слюнявит карандаш и что-то пишет в книжечку. Алданов уверяет, что этот парень еще опаснее Стеценки...

Петра не видно. И утром не было. Где-то исчезает парень. Вероятно, здесь сложнее положение, чем в парке... Может быть лучше было бы остаться в парке.

Как провожали его парковые. Даже Кашин провел с ним весь последний вечер. Были кое-какие шероховатости, но в общем солдаты любили его. Когда отъезжал тарантас, на дорогу вышли почти все, кто был в Григоренах. Ему кричали, чтобы он не ездил на западный фронт, что комитет напишет бумажку о его культурной и революционной работе и его оставят в парке...

Он долго махал солдатам фуражкой, пока придорожная скала не закрыла деревню...

— Я вижу, тебя, парень, твоя баба письмом смутила, — сказал Табаков, когда Митрохин кончил. — А ну,

давай, робя, сочтем, кто еще заимел такое письмо с дому?

Десятком голосов ответил солдатский круг.

— Все про землю пишут, — кричали ребята.

— И мне...

— Стонет баба...

— Даешь всем отпуск!

— Гроб, печенку, селезенку... — всех перекрикивал Федоров.

— Цыц, лядащий, — цыкнул на него Табаков. — Это тебе не ярманка. Чалдон!

— А ты скобарь, чортово шило!

— Ты не лайся, а то я тебе перекручу манишку.

— Товарищи, не серьезно это, — встал вдруг Шнейдеров. — Это все-таки собрание. — Голос у него был квохчущий, булькающий, на резком отчетливом «о».

Солдаты однако присмирели.

— Дело не в письмах, — продолжал Шнейдеров. — Дело в том, что никакого дележа земли сейчас нет и быть не может...

— У тебя нет, а у нас есть, — крикнул кто-то.

— А на Волыни все переделили...

— Землю делить может только верховный орган свободного русского народа — Учредительное собрание.

— Учредительное. Это верно, — как эхо подхватил Табаков.

— А если армия разбежится... если всех отпустят в отпуск, то землю, очевидно, будут делить не русские крестьяне, а германские помещики.

— Во, видал?! — сказал Табаков Митрохину.

Сибиряки присмирели. Но Митрохин стоял сумрачный. Его не пробрало красноречие Шнейдерова. Постояв с минуту, он прошиб плечом солдатский круг и поплелся к орудийному блиндажу. За ним, раскидывая ногами, пошел младший.

— Дай слово, председатель, — раздался из задних рядов удивительно знакомый Андрею голос.

— Ну, начинается, — ткнул его в бок Зенкевич.

Шнейдеров и Табаков перешептывались.

Утром, в час приезда Андрея, Петр отсутствовал. Теперь Андрей рассматривал его с понятным любопытством. Он был худее, тоньше всех этих тяжелых, налитых сибиряков. За эти годы лицо его еще больше вытянулось и определилось. Он был похож на тех украинских парубков, каким нехватает только длинных опущенных усов и штанин с мотней до полу, чтобы пуститься в пляс в «Наталье Полтавке» или «Назаре Стодоле». Лицо правильное, нос прямой, черные усы и черные брови — чуть мохнатыми, ровно выведенными жгутиками. Цвет кожи матовый. Во всех движениях, в мимике лица, в выражении всегда чуть прищуренных глаз разлита украинская лень, горделивая, сознательная, лень со смешком, которая умеет взрываться внезапно: таится, нежится и вдруг рассыплется неудержимой энергией, порохом, ракетой, перед которой отступает тогда сдержанная северная деловитость.

Петр вышел в круг. Лениво осмотрелся. Зачем-то оглядел сапог с обеих сторон, а потом тихо спросил:

— А когда это самое Учредительное будет, господа комитетчики?

— Намечено на сентябрь, сам знаешь... Надо его подготовить.

— А чей же урожай будет? — крикнул кто-то. — Наш али господский?

— А кто в Учредительном будет? — опять спрашивал Петр.

— Кого выберут. Не валяй дурака.

— А может случиться, что Учредительное землю за помещиками оставит?

— Не думаю.

— Но может случиться?

— Что ты все спрашиваешь?

Но солдаты уже загорелись любопытством.

— А вы отвечайте, — крикнул Багинский. — Если может такое случиться, так себе возьми свое Учредительное.

— А мир когда будет? — все так же спокойно спрашивал Петр.

— Кто же это может сказать? Скажи сам, если знаешь.

— Знаю и скажу в свое время, — усмехнулся Петр.

Солдаты придвинулись ближе.

— Я не зря спрашиваю, — тихо начал было Петр и вдруг рванулся к комитетчикам. — Хвостом вертите, товарищи, — вдруг резко бросил он в сторону президиума. — Четыре месяца революции. А никто ничего не знает. Будет ли республика или опять царь? Чья будет земля? Как будто солдат-крестьянин теперь отдаст ее кому-нибудь... Хоть бы десять учредиловок решили...

— Чорта с два! — крикнул Сапожников.

— А учредиловка ваша — лавочка. Панов да буржуёв выбираете. А они разговоры начнут. Чтоб решили все правильно, надо, чтобы сами рабочие и крестьяне решили, как быть, а не адвокаты, фабриканты, офицеры... Кого от нас наметили?

Шнейдеров перебил его.

— Стеценко, я тебя лишу слова. Если ты будешь так выражаться об Учредительном собрании, придется принять против тебя меры... Ты думаешь, солдаты — дети... Так и поверят тебе? Солдаты сами намечают кандидатов в Учредительное собрание и здесь, на позициях, и в городах. Нечего нам здесь очки втирать. Люди взрослые. И о мире... Солдаты все понимают, что мир сейчас невозможен. Пойди, предложи мир немцам, они тебе ответят.

— Во, верно, они ответят... — кивнул головой Табаков.

— А мы добьемся справедливого мира без аннексии и контрибуции.

Эта знакомая фраза вызвала новое шевеление в рядах, благоприятное Шнейдерову. Бобров успокоительно тянул за руку Петра.

— Я предлагаю, товарищи, вынести порицание Стеценке за его попытки подорвать доверие к Учредительному собранию. Все революционеры за Учредительное собрание. За Учредительное боролись поколения революционеров. — Он приподнял голос. — Это оскорбле-

ние боевой партии эсеров, которая вывела русскую революцию на широкую дорогу и которая приведет крестьянство России к земле и воле.

Одобрительный рокот шел по солдатским рядам.

— Как их качает, — тихо шепнул Андрей Алданову.

Алданов склонился к нему

— Демагогия работает во-всю... И те и другие — демагоги Морочат деревенс'ие головы. У солдат мозги уже распухли. — Он опять стал слушать Шнейдерова, который продолжал ораторствовать о вреде братания и о необходимости поддержки временного правительства.

— А все-та'и, смотрите — будет Петр уходить, с'оль'о с ним увяжутся, — шепнул опять Алданов

Петр действительно ушел с собрания со свитой.

— Он свое возьмет.

— Может, хоть вы на него повлияете, — сказал Кольцов в блиндаже после митинга.

— 'а' все это грустно, — сказал Алданов. — Все рассыпается, все ползет...

— Александр Кузьмич, а вы примкнули к какой-нибудь партии?

— Нет, знаете, избегаю. Партия требует многого. Теряешь личную волю. 'адеты по-моему самая разумная, самая государственная из партий. Наше 'упечество — это еще молодая, неразвернувшаяся сила. Я очень верю в наш молодой 'апитализм. Печально будет, если свернут ему раньше времени шею...

Андрей нашел Петра в палатке. Он лежал на одеяльце, по обычаю закинув худые руки за голову. Сколько раз видел его Андрей в такой позе на берегу Днепра, в зеленом садочке на окраине Горбатова.

— Вставай, старик! — протянул он ему руку.

Петр вскочил на ноги.

— Пошли, что ли, побродим? — предложил, поздоровавшись, Андрей.

— Пошли, — заправляя пояс, согласился Петр.

Они шли, и Петр с любопытством оглядывал Андрея.

— Ты как и не был студентом. Встреть тебя в трам-

вае или на дороге, подумаешь — с рождения офицер

— У тебя ненависть к офицерам

— Всякие бывают офицеры... Но вообще верно, не люблю вашего брата. И вот так... умом не люблю, понимаю, что нельзя любить, не следует.. и нутром тоже. Наверное, вот как кошки и собаки. Встретит собака кошку на дороге, — на забор рвется.

— А ты тоже изменился. Вытянулся в версту, а плечей не нагулял. Как тебя в гвардию взяли?

— Второй сорт, разумеется. Я ведь писал.

Петр имел привычку вышагивать широко и старательно, как будто рассчитывал каждый свой шаг.

— После пехоты здесь, — продолжал Петр, — трудненько работать. Сибиряки — «хозяева», чалдоны. Тут такие есть, что и за царя при случае голоснут. Один тут кулачок из семейских рассказывает, как его дед царю мед со своих пасек возил. А царь на то время в Ницце оказался. Так он в Ниццу попер. Через фрейлину передал и сидел, ожидал, пока ему все туесы вернут. Потому, чтоб не осквернить, не перепутать Ведь царь-то не старовер. А сыновья у него и внуки в солдатах служили. Солдат солдату тоже, брат, рознь Тут у нас солдаты есть — короли. У Ханова промыслы, у Пахомова мельница, у Волосова землицы за сто десятин, копни только. А у вас в парке что ж, наверное не хуже? Оренбургские...

— Ты людей, как яблоки, сортируешь.

— Ну да, — спокойно ответил Петр. — А как же иначе? Вот ты поговори с полтавским или подольским мужичком. Семья, как у курицы, а землицы с воробьиный нос. А кругом Бобринские, Барятинские, Балашевские имения. Не имения — моря, не оглядеть, не объехать, и земля, как сахар. Вот ты его возьми, поспрошай, в какой он партии. Та его партия, которая ему землю даст. Как рабочий с Выборгской. По-моему он уже и родится партийным. Что же, тебя из дивизиона легко отпустили?

— Не отпускали... солдаты ко мне привыкли.

— К эсерам в лапы еще не попал?

— Нет... Признаться по совести, я еще не встречал партии, которая пришлась бы мне по духу, вот так целиком, чтобы всего захватила.

— Интеллигент... Потому тебя так и болтает. Ты что ж, я, собственно, не пойму, ты же писал, что стоишь за революцию... Или тебе тоже приказ номер первый настроение испортил?

— Признаться, я не вижу последовательности. Я понимаю так: кто этот приказ выпустил, должен был сразу и мир заключить, и землю делить, и все такое. А эсеры и эсдеки приказ состряпали, дисциплину сорвали, а теперь за оборону, за войну до победы. Чушь это.

— Чушь и есть. И еще какая чушь, — со смехом покачал головой Петр.

— По-моему сейчас многие вступают в партию без достаточной уверенности...

— Если кто идет в партию своего класса — приживется. А кто так вообще, наобум Лазаря — ну, ничего и не выйдет.

— Какая же по-твоему партия подходит для таких, как я? — натянуто улыбнулся Андрей.

— Для тебя настоящей партии нет. Не настоящий вы народ, интеллигенты. Ну, а потом к какой-нибудь примажешься, а то и так до смерти проболтаешься.

— Не знаю, — вспылил Андрей. — Откуда у тебя тон пророка в уездном масштабе? Безапелляционно, как приказ станового.

— Деликатно ругаешься.

— И твое поведение сегодня мне не понравилось. Солдаты и без того сбиты с толку, а ты выступал, как демагог. Ведь ты же знаешь, что армию разрушить нельзя, что землю делить так, как это угодно Митрохиным, тоже нельзя. Это будет грабеж.

— Награбленного.

— Что?

— Грабеж награбленного, говорю.

— Знаешь, перед таким заявлением надо, конечно, пассовать. Что же возразить, когда невежественные люди

отбрасывают в сторону, как шелуху, культуру веков, цивилизацию, плюют на сложность общественных отношений и все представляют в зверином виде... Пещерные отношения... Что же может возразить на все это интеллигентный человек?

— И это еще дипломатично. Иные резче выражаются.

— Давай лучше говорить не о политике. А то, боюсь, у нас дружба пойдет в рознь.

Петр остановился.

— Если ты так революцию понимаешь, то, боюсь, о дружбе нам и говорить не стоит. Все равно не сегодня — завтра передеремся.

— Ты, я вижу, все еще возбужден после собрания.

— Не больше, чем ты.

— Дружба моя не очень-то тебе нужна.

— Тут, браток, игра такая идет, что и не такие дружбы, как наша с тобой, летят. Я прямо скажу. В этом деле для меня тот брат, кто со мной. А кто против, хоть отец, хоть мать, хоть сестра, — к чорту. — Лень растаяла. Петр глядел теперь широко раскрытыми черными глазами.

Возвращались молча. Андрей убеждал себя, что Петр — это просто ограниченный, малообразованный, тупой человек, все это знали, но он, Андрей, до сих пор по слабости характера не хотел согласиться с этим. Сначала он был искренно огорчен встречей. Потом решил, что все это детские сентименты. Петр играет с огнем. Все, что он делает, — безответственно. А шутить сейчас не приходится. Тут же спохватился. Но ведь это совсем то, что говорил Петр. Он рассердился на себя и пошел в офицерский блиндаж.

В этот вечер вернулся на батарею Соловин. Он сидел на своем необъятном чемодане со стаканом горячего чая и рассказывал о госпитале и о своих дальнейших планах. На утро он отправился в штаб корпуса, пообещав вернуться к вечеру.

В связи с приездом Андрея на батарее произошли перемены. Алданов был временно назначен начальни-

ком связи, Зенкевич ушел в адъютанты, а Андрей был назначен командиром первого взвода.

В офицерском блиндаже стало уныло и тихо. Архангельский (может быть к счастью для других) был неразговорчив. Он много спал, не разбирая времени. Часами резал из деревянных чурбанчиков птичек и ящериц и раскрашивал их карандашами. Перцович исчезал на соседних батареях или в солдатских блиндажах, где у него была дружба с некоторыми из солдат. Кольцов томился бездельем и одиночеством и то и дело выдумывал самые разнообразные комиссии, должно быть, чтобы убить время и найти выход своей энергии. Он осматривал с комиссией сбрую, проверял батарейные книги, ревизовал каптенармуса, на досуге учил молодых солдат чистить лошадей, рисовал бесчисленные панорамы позиций.

Соловин относился к кольцовским комиссиям отрицательно, но молчал. Опытным глазом он усмотрел, что в эти комиссии уходит часть буйной, разбуженной солдатской энергии. Пока Кольцов спорил с членами комиссий, он раскладывал бесконечные пасьянсы.

Отношения с солдатами налаживались у Андрея с трудом. В каждом взводе нашлись такие, которые почти целиком вернули ему прежнее расположение, но рядом были и такие, которые под внешней сдержанностью затаили недобрые чувства.

Андрея угнетало это отчуждение солдат. Нарастало чувство обиды. Казалось ему — он ничем не заслужил такого отношения, он рад был во всем итти им навстречу. Но вместе с тем он понимал, что причина такого недоброжелательства лежит не в личных отношениях, но в тех больших событиях, которые совершаются в стране и на фронте, и к досаде, к обиде присоединилось ощущение бессилия.

Он начал регулярно заниматься с номерами своего взвода. Уделял в день два часа на беседы и письма. Читал вслух газеты. Но теперь уже не получалось тех бесед, когда слушатели были полны доверия.

В июле по дорогам потянулись обозы со снарядами

и патронами. В блиндажах и палатках заговорили о наступлении. Посыпались приказы, требовавшие от офицеров подготовки солдат к предстоящему бою. Участились митинги. Керенский разъезжал по фронту. Газеты печатали горячие статьи о верности союзникам, о спасении революции, о борьбе до победы.

Андрея мучило раздумье. Каждый приказ вызывал сомнения, каждый разговор с солдатами приводил в уныние.

Он с нетерпением ждал газет, как будто они могли сообщить ему, что не вся армия похожа на те части, которые он знает, что есть где-то солдаты, готовые итти в бой на проволоку и пулеметы.

Офицеры говорили в повышенном тоне о юго-западном фронте, о генерале Корнилове, о порядках в его армии, о громадных запасах снарядов и орудий, присланных союзниками, о возможности каких-то побед...

Алданов как-то вечером вошел в палатку и устало сел на койку.

— Вы к нам, Александр Кузьмич?

— Нет, собственно... Рядом тут. Пехотный резерв. На армейс'ом съезде выбрали меня в члены дисциплинарного суда. Слышали о новых законах? Не дошло? Дойдет. Смертную 'азнь хотят ввести. Вот, — поднял он усталые глаза, — я и ратую теперь за новую дисциплину. Рядом тут, от дороги налево. Приходите. — Он поднялся и вышел...

Задний угол густого зеленого леса. Все кругом вытоптали сапожищами, заплевали окурками. Обрывки бумаги на иссохшей хвое, как спутанное кружево. Серое, желтое бельишко болтается у самой земли, от сосны к сосне на телефонной проволоке. Поближе к опушке, на пригорке, штабная, только недавно срубленная изба отпускает от себя ход сообщения вниз, к берегу реки. Бараки пехотного резерва курные, низкие, глубоко ушли в землю. Строем стали вдоль опушки. По опушке — елочки, как нарочно, зеленым, непроглядно густым барьером. Но овраг, вихляя в стороны, прорвал зеленый кордон, забрался далеко вглубь, за ба-

раки. В овраге, на его песчаных, осыпающихся бортах, пирком сидят пехотинцы. Снизу, из самой глубины, с утоптанной, посыпанной желтым песком площадки наверх выкрикивает что-то Алданов.

Андрей и Стеценко сели, опустив ноги в овраг.

Пехотные сидели группами, крутили цыгарки, шопотком переговаривались между собою.

Шинелишки замызганные. Шапки походили на кухонную ветошь. Сапог не было ни у кого. Обмотки, десять раз побывавшие в грязи, неловко обтягивали тощие ноги над громоздкими английскими ботинками. Рнизу у ног Андрея в рваных и грязных подштанниках, в расстегнутой гимнастерке сидел солдат. Рыжие волосы одним вихром завились от самой макушки до висков. Огромной иглой он зашивал ветхие шаровары. Сосед его, чернявый, горбоносый малыш, лежал на боку и вертел в руках пустой патрон. Налево особняком разлеглись пехотные прапоры.

— Помнить надо, — старался Алданов, — о государстве. Наше государство слиш'ом обширно. Вот почему мы часто забываем о нем, помним лишь о себе, о своей деревне. А вот сообразить, немного — и станет 'аждому понятно, что без государства не прожить.

— Кто налоги брать будет? — громко спросил Клементий Горев.

Рыжий солдат отставил далеко в сторону иглу, посмотрел наверх, сощурился и мигнул глазом понимающе.

Алданов будто не слышал.

— Я, ребята, не полити', не мастер говорить на митингах. Но я хорошо знаю, что без государства жить нельзя. И когда на твое государство нападает враг, ты защищать его должен. Мы все знаем, что в государстве нашем до сих пор были плохие поряд'и, не наши...

— Ваши, а не наши, — сказал Багинский и двинул крутой плетью по песку.

— А какие же будут? — крикнул Петр.

— Я не знаю 'а'ие. Учредительное решит... Но старых не будет. А если мы не будем защищаться...

— Хучь так, хучь сяк, хучь этак, все выходит в наступление итти, — откусывая нитку, сказал рыжий. — А когда мир будет? — крикнул он вниз.

— Когда все дырки залатаешь, — крикнул кто-то снизу.

— И то, штаны — хоть рыбу лови... Чем не штаны, — помахал рыжий в воздухе шароварами. — Царские. Временное еще не давало.

— Оно даст!..

— Дулю!

— Само без штанов!

— Лаптёв воз прислали...

— Нихай сами носят!

Смешки перебегали по оврагу.

— Ребята, хорошо, что весело, — крикнул Алданов. — Но о деле тоже поговорить надо.

— А ты выкладуй.

Председатель-комитетчик дулом нагана постучал в доску.

— Робя, слушай! От партии говорит человек!

Алданов наклонился к председателю.

— Ну, все равно, — мотнул головой председатель — Все одно, как от партии.

Алданов еще ниже приник к уху председателя.

— Открещивается бедняга, — ухмыльнулся Петр.

Но Алданов уже выпрямился и говорил.

— Надо раз навсегда решить: будет у нас дисциплинированная армия или нет. Не будет армии — не будет государства, не будет...

— А мир будет? — крикнул пехотинец, сидевший на другом берегу оврага.

— Мы должны завоевать мир.

— Навоевались. Мине евонного не нужно... Нехай сам лопает, — крикнул другой, махнув рукой в сторону фронта.

Над Алдановым на краю обрыва поднялась фигура солдата.

— А вы бы, господин поручик... дело... И с чем ты приехал?

— На наступлению уговаривать, — пояснили снизу.

— Чтоб ты свою башку на немецкий штык снес.

— За рупь пятьдесят еще не отслужили!

В овраге зашевелились люди.

— Трудненько разговаривать у нас, — подсел к Андрею прапорщик.

— Ребята! — кричал Алданов. — Не хотите слушать — не надо, я ухожу.

— А ты дело!

— Вот всегда у нас так, разве поговоришь? — продолжал прапорщик.

— Что ж, совсем дисциплины нет?

— Да нет... оно так... день за днем ползут, как-то вертится. Но не дай бог приказ какой. На разведку там, или ночные работы. Тогда хоть пулю в лоб. И ничего сказать не дают. Как что о войне и мире — так и начинается.

— А вам в наступление хочется, господин прапорщик? — спросил Стеценко.

Прапорщик вскинул на него глазами. Что, дескать, такое спрашивает

— Так ведь рано или поздно надо же кончать эту... канитель.

Солдат с иглой, задрав лицо кверху, слушал. Он даже толкнул в бок соседа. Сосед медленно повернул горбоносое лицо

— Кончить придется, — подтвердил Стеценко.

— Ну так вот, я и говорю... И не сразу его кончишь.

— Кого его?

— Немца.

— А я так полагаю, — нарочито громко сказал Петр. — что кончать нужно вот их. — Он отвел через плечо большой палец к лесу, в тыл. — Тогда уж наверное конец.

Прапорщик посерел в лице.

— Я думал, только в пехоте... так думают...

Солдат с иглой весело смеялся.

Алданов, перекрикивая шум, широко жестикулируя, показывая золотую челюсть, говорил опять о необходи-

мости дисциплины. Солдаты шумели, но не перебивали.

— Для того и учреждаются дисциплинарные суды...

— Для расстрелов? — спросил спокойно чей-то голос.

— И так мы уже усе покойнички.

— Ни надо нам судоу уаших, — выкрикнул раздельно горбоносый.

— Под хвост лешему!

Худощавый солдат играл винтовкой, перекидывая ее на руку, словно целился в Алданова, и опять отводя дуло кверху

Алданов поднял руку и что-то крикнул, но голос его потонул в выкриках

— Я говорю от имени... — взвизгнул и вдруг сорвался Алданов

Резкий выкрик вздернул толпу.

— Гони его в шею!

— Вот гнида!

Свис проносился из конца в конец над оврагом, задерживался, звенел и качался невидимыми струнами. Солдаты вскакивали с мест Они поднимались живым, движущимся амфитеатром по обрывам. Внизу, в человечьей яме, стоял налитый кровью и гневом Алданов. Худое, остроносое лицо дергалось. Мягкие серые глаза стали острыми.

— С вами и говорить не о чем!.. — прорвался он сквозь шум

Стеценко уже был на ногах.

— Ребята! — крикнул он в согнутые ладони. Солдаты обернулись. — Пошумели и будет Надо твердое слово сказать — Стало тихо. — Наступать мы не будем Государство защищать будем тогда, когда оно будет наше. Этот парнишка, — он показал на Горева, — говорит — государства не надо Нет ребята, государство нужно, но только давай нам наше государство. — Петр вспомнил, как он удивился и обрадовался простоте этой мысли, там, на Бабурином переулке Хотелось другим перекинуть эту радость. — Свое государство, рабочее, селянское! Поняли?

Овраг шевелился, отвечая взволнованными человеческими голосами...

— За такое государство мы бы и в наступление пошли... А не за ваше, господин поручик, — крикнул Петр Алданову. Но люди больше не смотрели на Алданова. Солдат с винтовкой карабкался наверх к Петру. — Хоть вы и ручки при старом строе солдатам подавали, а вот теперь скажите, за какое государство воевать пойдете? — Петр стоял во весь рост на берегу оврага, а Алданов крикнул ему снизу:

— Я с сумасшедшими не учился беседовать.

Подобрав шашку, он полез наверх в другую сторону. Ноги срывались, по колено провалились в тронутые зеленью, слегка замшелые осыпи...

Пехотный прапорщик угрюмо поднялся и отошел, не сказав ни слова.

На другой день к командиру дивизиона вызвали Архангельского. Алданов уезжал в отпуск, в Казань.

XIX

НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ

— ВЫШЛИТЕ ШЕСТЬ ТЕЛЕФОНИСТОВ —

Командир долго мял в руке телефонограмму и расчесывал переносицу. Офицеры вглядывались через его плечо в бледные буквы на серой бумажной ленте и потом вопросительно смотрели в лицо командиру.

— На кой чорт им столько телефонистов? — вполголоса спросил Архангельский.

Соловин сложил бумажку несколько раз и разорвал ее на мелкие клочки.

— Это условный текст. — Он обвел всех взором, как бы проверяя, насколько заинтересованы офицеры. — Значит, шестого в четыре утра открываем огонь, — сказал он, разглаживая бороду привычным жестом.

— Наконец догадались, сволочи! — не утерпел Кольцов. — В Пруссии приказы по фронту без шифров передавали. Да теперь наплевать, знают ли немцы, или не

гнают... Когда у меня на батарее четыре тысячи снарядов и шестьдесят саженей цель, так я плевал с высокого дерева на тайну.

— Ой, буза будет! — вскочил вдруг, потирая руки, Перцович. — Дмитрий Михайлович, а я в окоп, в передовую.

— Не терпится вам, — добродушно проворчал Соловин. — За Георгием гонитесь?

— Георгии теперь липовые, — презрительно заметил Кольцов.

— А как вы думаете, выйдет что? — спросил вдруг капитан Львов, вместе с адъютантом заехавший з гости на батарею.

— Как же не выйти, — закричал Перцович. — Задавим огнем.

— Четыре тысячи снарядов! — вопил Архангельский.

— Если не теперь, то никогда! — хлопнул его по плечу Кольцов.

— А пехота пойдет?

— Пехота? — захлебнулся вдруг Перцович, должно быть, убеждая самого себя громким голосом. — Пехота пойдет, если ей расчистят путь. Ведь это как прогулка. Ведь мы ни одного пулемета не оставим...

— Ну да! А потом немцы побегут, наши вдогонку. Перелом в настроении, — и пошла писать губерния! — Кольцов уже сверкал глазами.

— Словом, победа в кармане, — сказал саркастически адъютант, — кому какие ордена выписывать?

— А вы как полагаете? — обратился Кольцов к Кострову.

— Насчет боя или орденов?..

— Ну, он сначала с Петром посоветуется, тогда скажет, — глядя через плечо в сторону, перебил Андрея Перцович.

— И письмо своей принцессе напишет.

— Пойдут или не пойдут пехотинцы, — рассуждал, глядя в потолок, Соловин, — а мы свой долг выполним.

Андрей вышел из палатки.

Под деревьями, у орудий, у блиндажей медленно ко-

пошились люди. В вечерних тенях они то исчезали, то появлялись, сами как тени. Звуки бивуака, как всегда, были несложны: стучал топор, тихо мурлыкала, на этот раз не разухабистая, раздумчивая, способная даже тосковать гармонь. Лес глушил слова и далеко относил самые звуки голоса.

«Перелом, — Андрей переворачивал в сознании это запавшее чужое слово, как если бы оно было набрано из детских кубиков. — Почему бы не создаться перелому? Если бы немцы побежали, то преследователи нашлись бы. Самый жалкий трус бежит вдогонку, когда враг убегает. Полк за полком поднялись бы в наступление. Настроение масс все еще неустойчиво, победа же создает свою инерцию. Говорят, немцы едва удерживают фронт. Для них прорыв боевой линии — это катастрофа. Сейчас резервы врага брошены на юг, где Корнилов уже взял Калущ, — и вдруг на севере — новая неудача! Но нет. Никто не пойдет в наступление. .» Андрей никак не мог вообразить себе этих бродящих по лесу, братающихся, стреляющих друг у друга цыгарки в трепаных шинелях настойчиво атакующими пулемет.

Еще меньше можно рассчитывать на наступательный порыв против немцев этих пробуждающихся к новой жизни сильных ребят из солдатского ряда, которые сидят сейчас от зари до зари над серыми брошюрками и газетами. Эти способны броситься в бой, но не с немцами.

«А если пехота не пойдет в атаку, зачем же вся эта артиллерийская стрельба? Долг? В чем же долг, перед кем? Миллион пудов стали, миллиарды рублей в воздух. Это называется долг? Какой к чорту долг!»

Андрей опять почувствовал, что кровь приливает к вискам. Все эти мысли — как болезнь, как несчастье. Можно было бы самую дорогую цену заплатить за один ясный луч в этой неразберихе, в этих противоречиях, в этом кружении в самом себе.

— На-днях бой, — сказал он и присел на ящик к группе канониров у второго орудия. Он словно спешил

переложить тяжесть своих неразрешенных сомнений на чужие плечи.

Солдаты молчали.

— Бой, так бой. Постреляем, — сказал Сизов, третий номер, подносящий снаряды.

— Накрутит тебе спину, — ухмыльнулся наводчик Белов. — Если все эти снаряды к немцу переправить, — три дня под ряд будешь бомбы ворочать.

— Вот бы в пятнадцатом году так снарядов валили. Мы бы в Берлине были.

— Скажи, какой завоеватель нашелся, — буркнул Бобров. — На что тебе Берлин?.. Сам говоришь, — без аннексий и контрибуций.

— А тогда на что же бой? Немец стоит, не трогает.

Говорили, выжидательно смотрели на Андрея.

— Он стоит не на своей, на нашей земле, — глядя в сторону, начал Андрей. — Сегодня стоит, завтра двинется на столицы. У моря погоды ждать — можно дождаться...

— Чего же крутить? Комитет решил поддерживать временное правительство, значит, нужно слушать приказ, — веско вмешался фейерверкер Щусь, член комитета. Он был маленький, худой и нервный. Он один из первых попал под влияние Шнейдерова и зачитывался эсеровской литературой.

— А ежели пехота не пойдет, за-зря раздразним, а он как киданет по лесу чижелыми... Тут не постоишь.

— А наше место пристреляно, ребята, вот крест, — вскинулся вдруг молодой канонир Ходько, выдавая свои затаенные мысли.

— Мы сейчас могущественнее немца, — тем же ровным голосом и так же в сторону продолжал Андрей. — Мы легко можем подавить его артиллерию.

— А пехота ня пайдзет, — сказал литвин Пас. — Палки здесь ненадежные. Дярма набрали... Барадачи да смаркачи. Настоящего солдату нету. В сямсот чятвером митингу собирали. Ряшили наступаць. Известно, шумели, галасавали, а перед максимкой штаны спустють тикаючи. А в атаку ня пайдуць.

— А пойдут — дураки будут, — сказал Бобров.

«Вон ты какой» — подумал Андрей. — А на батареях как? — спросил он.

— Ну, это народ — сволота. Прикажут — стрелять будут. — Кто-то внезапно продвинулся из темноты.

Пас крючковатой палкой разворошил затухающий костер. На острое лицо подошедшего Берзина упал красноватый, переливающийся луч.

Все смотрели на большевика, все молчали.

— А ваши по естому поводу как размышляюць? — спросил Берзина Пас.

— Как вчера, так и сегодня. Нехай, когда хочут, господа офицеры да ударные б... и наступают,—решил Бобров.

— А дивчат нагнали, — ухмыльнулся Ходько, — должно, мужиков уже вовсе нет. Кругом фольварка Касимова не пройти. Солдат весь фольварк в осаду взял. По лесам так и рыщут. А они по-двое, по-трое. Одежа одна, — не разберешь, мужик али баба, али вместе.

— Надысь казаков пригнали на охрану, а вчера увели. Как огонь карасином заливать, — покачал головой Щусь.

Солдаты попыхивали папиросками, смеялись.

— А ты бы сходил, Парфеныч. Ты бы приволок на батарею какую ударницу. Пущай бы ударила.

— А есть среди их бабы змеи, — мне сапер рассказывал, — один из самокатчиков уловил такого солдатика, на самокате припер в лес да и придавил под сосной, так она ему нос перекусила. А другая, говорят, в солдата на дороге из винтовки вдарила Во сука!

— То самые стервы и есть, — сказал Берзин. — С чего бы бабе на фронт лезть? Уж котора лезет... Еще которая из господ — понятно. Свое защищает. А которая простая, то ту дурь нужно выбить...

Андрей прошагал вдоль фронта батареи и у крайнего ящика сел на горку снарядов.

Такие разговоры каждый день. Как вода ночью: на мели, на глубине не отличить. Голоса, разговоры стучат, как ступняки на Днепре.

Безликая масса солдат-батарейцев разделилась на живых людей. Раньше она, как оракулов, слушала Алданова, Горелова, его — Андрея. Теперь говорит сама. Но еще не все и не в полный голос. Больше говорит какая-то кучка солдатских аристократов, кто поразбитней, покрепче, пограмотней. Остальные попрежнему неясны в своих словах. Не то они не владеют словом, не то слово владеет ими и кружит, как вьюга в степи.

В общем батарейцы стрелять будут. Выступят комитетчики, и бой состоится. Но вот пехота. Эта таинственная пехота. Пехота, как глубокая мохнатая туча, затянувшая весь горизонт фронтов. Из этой тучи день и ночь доносится глухой подземный ропот. Иногда в ее темном брюхе гремят перекатами громы.

Когда видишь на дорогах, на лесных тропах солдатиков с газетными крутелками в зубах, в подгнивших на дождях шинельках, в потертых, потерявших волос папахах, — она имеет жалкий вид. Но у нее миллион голосов, ртов, ушей, голов, рук и, главное, винтовок. И голоса ее становятся все громче.

Офицеры в пехоте — это заложники. Они, как жуки, стремящиеся окраситься в цвет скрывающей их листвы. Все они теперь проще одеваются, нарочно мнут фуражки, носят высокие кудластые папахи, ходят в смазных сапогах, предпочитают мятые золотистой тряпочкой погоны, не бреются, матерят в третье слово и ночами смотрят в темноту несмыкающимися глазами, мечтая, как бы уплыть с фронта куда угодно, хоть в Сибирь, хоть к чорту на рога, только из этой не растворяющей их и не позволяющей больше жить особняком — человечьей массы.

В сущности, артиллеристы переживают то же, хотя и в меньшей мере. Даже он, Андрей. Как хорошо было в начале, в марте, в апреле... как носили его на руках в Румынии. Как он чуть ли не тоном пророка, захлебываясь, учил солдат. Здесь он застрял между офицерами и солдатами. Вот и сейчас он сидит здесь на снарядах потому, что ему, в сущности, физически некуда деваться. В офицерской палатке опять плачутся, бес-

сильно злятся, шепчут, чтобы не слышали вестовые. Архангельский строгает из чурбанчиков все тех же птичек и лягушек. Перцович спит. Остальные клокочут маленькими вонючими вулканчиками, — как это на Камчатке? — кажется, грязевые сопки — и изо дня в день учатся надевать маски на офицерские непокорные, избалованные жизнью лица.

Солдаты принимают его, слушают, даже зазывают, но все это почему-то напоминает теперь сеанс домашнего фокусника, секреты которого уже давно разгаданы даже детьми и которого можно смотреть только в дождливый вечер, когда нельзя пойти ни в сад, ни в кино, ни в цирк. Он, Андрей, насквозь скомпрометирован золотыми погонами, прежней близостью к офицерам и, главное, неясностью политических взглядов. Ведь они чувствуют его колебания и не прощают их.

Солдата больше не купить рассказами о звездах и четвероногих прародителях человека. Увы, оказывается, не так просто заряжать пушки Вальми и Жемаппа! Надо сначала узнать, в какую сторону стрелять. Легко можно пустить гранату в своих.

Самое обидное, — когда пришла настоящая жизнь, он держится в ней не по-настоящему. В детстве всегда можно было оправдать любой свой поступок, любую слабость. Ведь это еще не настоящая жизнь! Казалось, в настоящей жизни все непременно будет по-другому, по-настоящему. Андрей вспоминал картины из римской истории на квадратных картонах, развешанные по стенам гимназических классов. Он сам выбирал их и развешивал вдвоем с Костей Ливановым.

Тяжелый таран с бронзовой головой барана долбит стену, выложенную из кубических камней. Сверху языками летучего пламени падает кипящая смола. Летят камни и стрелы. Двадцать загорелых бородатых мужей, с мускулами-канатами, упорно раскачивают таран. Командир только дает сигналы рукой, но каждый мускул его участвует в общей работе. Стрела засела в плече ближнего к бараньей голове легионера. Таран бьет

неумолимо, стена уступает, крошится... А еще... В битве при Арбеллах Александровы солдаты идут в наступление на холм. Персы скатывают на них с вершины ассирийские колесницы, утыканные остриями и ножами. Македонцы принимают эти катящиеся громы на щиты. Уцелевшие встают и, не отряхнув даже пыли с колен, идут в атаку. Такой запомнилась Андрею «настоящая жизнь», отброшенная в зеркала детского воображения. При этом казалось ему, стены должны быть обязательно толсты и высоки, баранья голова тяжела, бег колесницы подобен электрическому разряду. Казалось, сам он в настоящей жизни сможет стать на место любого легионера... А теперь у него вялые руки, сомнения и путаница. Он бьется, как муха, попавшая в паутину ночью. Клейкая, липкая, не пропускающая ночь. Опять остается пойти в офицерскую палатку и, делая вид, что читаешь, смотреть в строки вложенного между страниц письма Елены. А между тем кругом бушует настоящая жизнь. История заряжает пушки, которые оповещают приход новой эпохи. Можно ли сомневаться в этом?

Ветер донес голоса. В лесу затрещал валежник. Часовой, оправляя бебут и наган на поясе, прошел мимо Андрея навстречу шуму, но, узнав своих, успокоился. Петр вступил в полосу света и направился прямо к Андрею.

— Ты что нахохлился, как сыч?

— А ты чему радуешься?

— Вероятно, тому именно, что тебя печалит.

Позади Петра, попыхивая крученками, стояли Багинский, Берзин и Ягода. Голос Петра звучал задором. Он был весь налит какими-то бродящими соками и возбуждал зависть Андрея своею слитностью с этой тревожной и бурной эпохой, от которой он брал все лучшее, на призывы которой он отвечал, как верно настроенный и умело поставленный резонатор. В его словах, сквозь мягкий юмор, все чаще кстати и некстати звучал вызов. Солдаты, помявшись на месте, двинулись дальше.

Петр присел тут же на снарядах.

Андрей опять почувствовал себя как перед стычкой. После приказа о наступлении он обязан доказать Петру необходимость боя. Петр должен все-таки уважать вдумчивый подход к событиям.

— Киснешь? — спросил Петр, глядя в темноту.

— Плохое начало для обмена мнениями.

— Начни лучше.

— Я не ищу бесед с тобой, ты ищешь.

— А ты избегаешь — боишься?

— Утешай себя этой мыслью. У тебя ведь все просто, — и уже зло добавил, — как у свиньи под дубом.

— Тоже не плохой переход...

— Слушай, Петр, мы с тобой общий язык утратили. Может быть лучше нам не вступать в дискуссии.

— Как хочешь... По совести, мне жаль. Из тебя мог бы получиться толк.

— Спасибо.

— У тебя — одно неоценимое преимущество перед прочими господами офицерами. Тебя к прошлому, кроме дурацких сентиментальностей, ничто по-настоящему не привязывает. Ни имение, ни капиталы. И о какой-то там борьбе даже мечтаешь. А вот с кем бороться, за что, так ты не удосужился поразмыслить... Этак, щуплые интеллигентские мыслишки и игра настроений...

— Что за тон! Старое, новое... Как будто по твоей указке история готова проложить черту между эпохами там, где тебе это угодно. — Андрей забыл, что сам только что думал о несомненных признаках наступления какой-то новой эпохи.

— История делает свое дело, хотим мы с тобой или нет. Ни одного солдата не найдешь, который остался бы таким, как был. А ты топчешься на месте. Неужели ты способен сейчас гнать людей на пулеметы?..

— Измени тон, Петр. Ты прекрасно понимаешь, что речь идет о сложном явлении. — Андрей старался вспомнить все свои, казалось, убедительные мысли «о сложности». — На фронте стоят сейчас не войска царя, а войска революции. Мы сейчас подобны солдатам Па-

рижа, вышедшим против австрийцев, против Европы, королей.

— И Керенский выходит — Дантон?! Да очухайся ты, парень! У тебя кулеш в голове. Французская революция сама по себе, наша сама по себе. Почему это немцы плохи, а союзнички хороши? Вор на вора напал. Ну, словом, что тут... Я знаю, что воевать ни за царизм, ни за доходы русских фабрикантов ни один из солдат не будет — и баста! Дураков нет!

— Ты скажи лучше, что просто устали от войны. Труса празднуют.

— А ты вот тронь этих трусов. Попробуй отнять у них то, что они завоевали!

— Слушай, Петр, не сказывайся глупее, чем ты есть. Погоди, погоди! Ты сам понимаешь, что интересы и царизма, и русской буржуазии для меня не закон, и чорт с ним с Константинополем. Кто в России думает сейчас о завоеваниях? Но ведь всякому ясно, что наша слабость будет на руку только германской военщине. Развалится армия, и германцы и австрийцы набросятся на страну. То, что собрано веками, — пойми, веками! — будет потеряно в несколько дней. И ни рабочим, ни крестьянам от этого легче не будет.

— А что выиграют рабочие и крестьяне от победы русских помещиков и фабрикантов? То, что, победивши, господа эти расправятся и с революцией. И вот случай, когда пятнадцать миллионов солдат — крестьян и рабочих — держат в своих руках винтовки и пушки и легко могут стать хозяевами своей земли, — вот этот случай может быть утерян. Что же ты думаешь, мы будем таскать каштаны из огня для буржуев, чтобы одна буржуазия обобрала другую? Как же, дудки! А ты думаешь, немецкий солдат сделан из другого теста, или французский фабрикант не жмет своих рабочих? Ты смотри шире. Тут решаются не русские национальные вопросы, а вопросы всего человечества.

Мысли, которые развивал сам Андрей, давно не казались ему неоспоримыми. И в том, что говорил Петр, была какая-то чужая, но непобедимая правда. Она при-

тягивала своею силой и ясностью. И никакой середины между этими взглядами нельзя было найти. Это были два потока, идущие из разных верховьев к морям различных выводов и мироощущений. Эти два разные мироощущения уничтожали друг друга.

— Ты где был? — спросил он Петра машинально.

— В дивизионном комитете.

— Тоже спорил?

— Конечно.

— И кто кого?

— Мы — в меньшинстве, конечно. Потом, свобода слова на нас больше не распространяется.

— Чему же ты рад?

— А чему же печалиться? Как бы ни голосовали комитеты, какие бы приказы ни публиковал ваш Керенский, — наше дело растет, как на дрожжах, а ваше дело — табак. Ведь не комитеты же пойдут в бой и не адвокаты.

— О наступлении говорили?

— Ну, а то о чем же?

— Решили наступать?

— Решили до победного конца. Держись, герман!

— Чего ты смеешься?

— Смеяться-то и вправду нечего. Народа переложат уйму. Но зато бой будет последний. Крышка! Ша!

— Ты думаешь, что с такими, как ты, так и будут без конца цацкаться?—с подрывателями дисциплины...

— Вот вы как заговорили, Андрей Мартынович, ваше благородие! И такое мы уже слышали. Что ж, попробуйте.

— Поди ты к чорту! — разозлился Андрей.

— Сам иди!

Андрей двинулся к офицерскому блиндажу.

У первого орудия из-за солдатских шинелей рвалось алое пламя костра. Кто-то читал по складам. Газетный лист отбрасывал чудовищную тень на деревья, на офицерский блиндаж. Никто не обернулся, когда подошел Андрей. В красноватом свете легко было прочесть название газеты: «Правда».

XX

НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ

Проходили последние дни перед боем. День боя по-прежнему оставался тайной для солдат, но скрыть близость решительного сражения больше никто не старался. «Тайна» выпирала тучами марширующих из тыла на фронт солдат, небывалыми вереницами обозов, двумя сотнями сбитых в кулак артиллерийских батарей, пододвинутыми к самому фронту парками, которые не в силах была скрыть сильно поредевшая шапка большого Кревского леса.

На больших дорогах, несмотря на матерую, хорошо размешанную грязь, творилось столпотворение. Обозники с криками наседали на лошадей, тела которых в крайнем напряжении становились похожими на таблицы анатомического кабинета. Артиллеристы сами то и дело хватались за спицы колес и края лафетов. Автомобили застывали в жижах проезжих деревушек. И только первые гусеничные тракторы, на удивление всему военному люду, победоносно тянули через болота, через черные и бурые в белой пене топи поезда тележек, груженных артиллерийским добром. Так снабжались механизированные батареи крупного калибра, — новинка на русском фронте, — пришедшие через Мурманск и Владивосток с заводов Англии и Америки.

Девятидюймовая складная пушка подняла черное прямое дуло выше елей и берез, почти в уровень с кронами сосен. Вокруг толпились громко ахавшие и молчаливо удивлявшиеся солдаты. Ее подвезли ночью на двух громоздких гусеничных ходах; на одном — казенную часть, на другом — дуло. Чтобы установить эту махину, нужно было четыре часа.

По опушкам, по переселкам, которые бахромою обошли Кревский лес, на проселках у околиц, у колодцев стали небольшие пикеты казаков, с легкими привьюченными к седлу пулеметами.

— Будет преследование, — говорили одни.

— Какой чорт! Это для того, чтобы не было дезертиров, — шептали другие. — Уходящих будут стрелять на месте.

На батареях у самых орудий рыли узкие окопики. В случае обстрела наводчик будет дергать шнур из окопа.

На фронте было тихо. В разведку ходили ударники. Хватали зазевавшихся, распустившихся за последние месяцы германских сторожевиков. Волокли их в штабы, где ударникам немедленно и шумно цепляли Георгиев. По ночам иногда строчили пулеметы. Пехота ворчала на беспокойство. Пулеметчики-ударники нервничали, посматривая не столько вперед, в темноту, сколько по бокам, в полумрак своих же окопов.

По утрам черные таубе носились над лесом. Дерзко снижались, столбиком уходили кверху, простреливали весь лес пулеметным огнем, били бомбами в перекрестки, с которых до света не успевали убраться застрявшие в грязи парки и обозы.

Роли на время боя были распределены так: Соловин — на наблюдательном, Кольцов и Костров — на батарее, Перцович — с наступающей пехотой, Архангельский — на пункте у Крево, с которого удобнее глушить замеченные батареи противника.

Но порядок был сорван уже накануне боя. У Соловина опять сказалась контузия. Он отбыл в Молодечно. Кольцов пошел на главный пункт. Андрей оставался на батарее один.

Лес казался теперь Андрею таким, как и в первые дни войны. Он весь был наполнен неизвестным. Он мог жерлами тысячи орудий изрыгнуть победу. Мог прикрыть от ясного неба и прохладных полей смерть многих. Пульс бился учащенно. Неврастеническая мысль перескакивала с предмета на предмет. Люди мелькали тенями, не останавливая на себе внимания.

Между тем солдат стал молчаливей и покорней. Офицеры незаметно приобрели уверенность в голосе, и гаубицы снова стали дороже человеческой жизни. Так перед бурей на мятежном судне развязывают руки капитану, и румб опять окружается всеобщим уважением.

В эти дни часто приходили письма и даже телеграммы.

Елена писала дважды. На каждое письмо у нее теперь находилась какая-то семейная неудача, новые лишения, беспорядки в имениях, неприятности с родственниками. Слово «революция» не упоминалось, но именно она была виновата во всем... Усадьбу Ганских не сожгли, но покосы потравили. Ферма вдруг перестала давать доходы, приплод исчез, часть работников разбежалась. Имение стало бездоходным. Никанора избили ночью в деревне. Елена писала, что в этом неприятном инциденте был повинен он сам.

«Донжуанские подвиги, — сообразил Андрей и подумал: — мало».

В каждом письме две-три страницы неуловимого и в то же время напряженного смысла, полупризнания, намеки, а в конце несколько фраз о событиях, и в них всегда — плохо скрытая, злая тревога.

Девушка издали казалась бесплотной, какой-то накрепко усвоенной идеей. Даже желания шли мимо нее. Она казалась ему такой, какой бывают люди у Гаварни. Отчетливо вырисованные лица, и тела волной непросматриваемых линий, уплывающих в блеклый фон рисунка.

Злость, досада, пусть даже понятная, зачем она? Она как черта углем на белом мраморе. Неужели со временем возникнет в его представлении об Елене рисунок какого-то нового лица?

Офицеры готовились к бою, и таинственные большевики чувствовались повсюду. Прежнее пренебрежительное отношение к ним сохраняли только глупцы. Даже на второй батарее было уже четверо настоящих партийных большевиков: Стеценко, Берзин, Ягода и Багинский. Но всему виной, конечно, Стеценко Это он собрал вокруг себя этих ребят и заставил их связаться с пехотными и штабными организациями. Командир батареи легкомысленно отпустил их в июне в Минск, где какой-то Позерн, не то земгусар, не то доктор, так зажег их своими речами, что они приехали совсем

взбудораженными. Фамилию Позерна Андрей встречал потом в газетах, и в армейской и в столичных. Теперь вокруг большевиков люди роятся, как пчелы, целый день. К Стеценке приходят чужие солдаты, приносят листовки и брошюры Комитет заигрывает с ними. И Табаков и сам председатель Шнейдеров в выступлениях всегда забрасывают удочку в угол, где сидят большевики. Кроме них, никто не критикует действий комитета. Никто не выступал против временного правительства. Но после запрещения братания, с началом похода на большевиков, они не поддаются на провокацию, они теперь больше молчат, разве бросят удачную острую реплику, но после собрания ведут свою работу повсюду, у орудий, в передках, в обозе, подрывая в солдатах доверие к офицерам и к комитету.

Встречаясь с Петром, Андрей всегда переживал внутренний зуд. Ему хотелось спросить Петра о многом. Узнать побольше о Ленине, чтобы для себя, для самых тайников своего мышления разрешить вопрос, кто же эти большевики: узколобые сектанты (недаром их не приемлет весь мир — даже самые известные революционеры!), или это действительно люди, которые хотят сказать какое-то совсем новое слово. Но Андрею казалось, что такие расспросы поставят его в положение ученика, тогда как это именно, он, Андрей, сообщил Петру первые сведения о человеческом обществе и о месте человека в жизни. Это он, не без труда, довел до сознания извозчичьего сына эти огромные, раскрывающиеся в книгах богатства знания. Без него Петр мог остаться полуграмотным оборванцем из провинциального городка. Он, в лучшем случае, кончил бы приказчиком в какой-нибудь грязной бакалейке или плотовщиком на Днепре. С какими же глазами он должен теперь осведомляться у Петра о том, что он должен был узнать первый? Искать помощи в делах убеждений у слабейшего... Нет, это было так же невозможно, как поехать в дивизионную большевистскую организацию и сказать: вот я приехал узнать, кто вы такие. Я узнаю и решу, как я буду к вам относиться.

Почему это такие естественные поступки кажутся невозможными? Страшно быть смешным, что ли? Остаются окольные пути. Но где они, здесь на батарейной позиции, от которой ближайшая библиотека в двухстах километрах? Да и в какой это войсковой библиотеке можно найти книги о большевиках?

Большевики! Когда обозленный плохим чечевичным обедом канонир Марков ни с того, ни с сего ударил дубиной по морде кухонную лошадь, офицеры обозвали его большевиком. В мортирном батальоне отдали под суд каптенармуса, который изнасиловал четырнадцатилетнюю деревенскую девушку. Судьи в приговоре заклеймили его разбойником и большевиком.

«Русское слово», «Биржевка» и кадетские газеты, широко распространившиеся на фронте, кричали о том, что большевики оптом и в розницу продают Россию, что их вожди проехали через Германию в запломбированном вагоне, получив от Людендорфа не только пропуска, но и изрядный куш фальшивых ассигнаций, на которые они теперь издают какие-то газетки и содержат армию шпиков, снующих в массе тыловых и фронтовых солдат. Недаром они науськивают крестьян на помещиков и всячески срывают мирное развитие революции, словом, делают все, что на руку врагу.

За все эти месяцы Андрей не встретил ни одного большевистского оратора, который сказал бы ясно, что большевики с негодованием отвергают все эти обвинения. Казалось, большевики не заботятся о своей репутации у офицеров и готовы, не рассуждая, поднять на свои плечи все негодование, всю неистовую силу противления войне солдат.

Офицеры считают, что большевики проповедуют только то, чего хочет солдатская масса, без всякой оценки этих желаний, — разбойничья демагогия, поход на культуру и общественность.

Лучшие из солдат батареи, былые его друзья, Ягода и Багинский, тянутся к большевизму потому, что они подхвачены стихией и обольщены большевистскими брошюрами. Багинского совратил тот земгусар на

фольварке у местечка Камень. Сам Андрей долго не мог забыть эту ночь и неотразимую, казалось, логику большевика. Теперь ясно, что он был большевиком-агитатором и, рискуя головой, возил с собой чемоданы, набитые листовками.

Отрицать долг народа участвовать в национальной обороне, отрицать собственность, отрицать превосходство и привилегии образованной, культурной части человечества! Не есть ли все это разгул какого-то нового нигилизма?

Подавляя в себе инстинктивное отвращение к комической фигурке человека, стриженного ежиком и носившего декоративно черные перчатки, Андрей без всякого огня, с чувством внутренней неловкости, повторял его слова о чистоте бескровной революции, о взбунтовавшихся рабах, о верности союзникам. Он видел, что эти слова умирают, едва произнесенные. Они звучат в этой обстановке разложившегося фронта еще нелепее, чем забытые теперь слова об освобождающей миссии этой «великой войны». Офицеры отвечали на них грубым матом по адресу, точно не указанному, но достаточно ясному. Солдаты вежливо слушали и проходили мимо.

Бой, который временное правительство дает австро-германцам, — это одновременно и бой большевикам. На юге наступление состоялось. Оно, кажется, остановлено, но победа все же была достигнута. Были захвачены пленные, орудия... Что-то будет на севере? Ворвутся ли русские солдаты в Вильно, как корниловцы в Калущ, или же из всей этой чудовищной артиллерийской подготовки, из всех этих гор снарядов ничего не выйдет? Тогда смерть армии! Костяк, который еще кое-как держится на гнилых ногах, упадет, рассыплется облаком пыли...

Батарее был дан участок из двух германских линий обороны в шестьдесят саженей по фронту. На этот клочок чуть-чуть побольше батарейного фронта четыре гаубицы должны были швырнуть четыре тысячи двух с половиной-пудовых бомб. Она будет вспахана, эта

полоска земли, и гремящий плуг пройдет в ее глубину на два-три метра... Тела людей, застигнутых огнем, будут истерты в порошок... Кровь выкипит и высохнет от жара...

Каждый такой клочок вражеских линий отдан на растерзание особой батарее. В то же время дальнобойные пушки будут громить тылы. Сорокадвухлинейные займутся артиллерией противника. Такая артиллерийская атака неотразима. Это будет месть за Горлицу, за позор пятнадцатого года!

Позади батареи устраивался восьмидюймовый взвод. Справа стала автомобильная батарея, слева — батарея Викерса. На опушке, на сложных конструкциях открывали небу широкие жерла одиннадцатидюймовки. Девятидюймовое разборное чудовище все еще не обнаруживало себя. Оно пользовалось для пристрелки трехдюймовкой. Его снаряды явятся сюрпризом для врага. Оно бьет на двадцать один километр. Его цель в этом бою — штаб германского корпуса.

Осторожно, как стеклянную посуду, ночью подвозят к окопам укрытые брезентами стальные громады. Это мины Лихонина, способные взбросить в воздух, смолоть и просеять целое звено окопа со всем живым и мертвым. Солдаты то и дело выбегают на дорогу, по которой ползут невиданные доселе победители литовской грязи — гусеничные тракторы. Новые пушки, груженные на автомобильные платформы, внушают уважение. На великанов артиллерийского парка даже артиллеристы смотрят издали. Свои гаубицы кажутся теперь скромными пушчонками. Трехдюймовки — это хлопушки, разбросанные по всему лесу.

— Молодцы союзнички, стараются! — радостно говорит Кольцов, хлопая в ладоши.

— Это все через Мурманск? — спрашивает Архангельский. — Значит, окончили дорогу?

— Какие, наверное, деньги плачены! — качает головой Перцович.

— Миллионы, — вторит Зенкевич.

— Какие миллионы, — миллиарды!

— Ох, и дорого же стоит эта война, — качает головой Архангельский.

— Ничего не поделаешь, — убежденно разводит руками Кольцов.

Небо над позициями, как большая дорога. Враг обеспокоен. Черные таубе каждый час небольшими стайками проходят на Молодечно. Зенитки устилают синеву августовского неба белыми и черными катышками густого дыма. Иногда русские летчики пытаются пробиться через линию фронта к Вильно, чтобы установить, действительно ли немцы эвакуируют тылы, как об этом сообщают пленные. Иногда быстрой, собранной и хищной птичкой кувыркается в воздухе французский истребитель. Это — тоже подарок союзников. И аэроплан, и летчик. Русские ньюпоры кажутся неподвижными там, где играет с пространством эта удивительная машина. Пехотинцы презрительно зовут ньюпоры тяжеловозами, биндюгами, а иногда с оттенком трагизма и сочувствия летчикам — летающими гробами.

Газеты большими заголовками кричали о малых делах союзников. На Западе десятки метров траншей покупались ценой большой крови. Километр по фронту, сто саженей в глубину. Но при этом захвачены десятки орудий, тысячи пленных и, значит, десятки тысяч убитых и искалеченных. Расстояния от Вердена до Кельна и от Бельфора до Берлина вырастали в астрономические и, следовательно, непреодолимые пространства. Давно было признано, что война на Западе идет на истощение, но никто не мог представить себе отчетливо ни самое истощение, ни какой-нибудь его предел, действительно способный завершить войну. Германия организованно голодала. Но голод не казался больше смертельной болезнью. Казалось, это что-то вроде ревматизма или ишиаса. Мучительный недуг, который заставляет страдать и морщиться, но еще не толкает ни к гробовщику, ни к нотариусу.

На батарее бодрее всех чувствовал себя Перцович. Он только в мае окончил одесское училище. Получил

вакансию в одну из тех береговых батарей, которые выросли у всех населенных пунктов крымско-кавказского побережья и в Финляндии, но предпочел пойти на фронт. В училище он перекочевал непосредственно с гимназической парты. Война даже в 1917 году казалась этому юноше блистательным ристалищем, за которым следит вся страна, и то, что он попал на это состязание храбрых только на третий год войны, обязывает его к еще более быстрым темпам в борьбе за славу и воинские награды.

На фронте все уже были так пресыщены давно обесцененными знаками отличия, что ретивость Перцовича была принята и признана без всякой злобы и зависти. Его охотно посылали в окопы, на пункты, в пехотную разведку, а он, бравируя мальчишеской храбростью, стремился выделиться всюду, не понимая, что в окопной войне храбрость прежних штыковых схваток неумна и ненужна, и попытки проявить ее могут вызвать брезгливое чувство, какое бывает от неопрятного, шумного или пьяного поведения.

— В этот бой я иду на Георгия, — говорил, улыбаясь бесцветными губами, Перцович, и все верили и в его намерения и в то, что Георгий обязательно достанется этому молодому парню. — Но только без веточки! Фальсификацию предоставляю любителям. Предложат — откажусь, честное слово, откажусь! — кричал он с азартом.

«Георгии с веточками» были только что установлены правительством Керенского. Это был орден, который могли пожаловать офицеру только солдаты. В период послефевральского широкого разлива солдатского великодушия такие ордена раздавались направо и налево, но опять-таки больше в артиллерии и в спецчастях.

Архангельский теперь целыми днями играл в городки на лесной тропинке. Солдаты любили, чтобы города были расставлены далеко друг от друга, палки тяжелы, как оглобли, а чурки неповоротливы, как кирпичи. Из офицеров только Андрей и Архангельский

могли состязаться с широкоплечими, железнорукими сибиряками. Архангельский бил метко, почти без промаха. Он и фейерверкер Ягода своей мастерской игрой собирали зрителей из соседних частей. Соперники всегда были в разных партиях. Палки свистали в воздухе. За игрой забывали о золотых погонах и разнице в окладах...

Накануне боя приехал из отпуска Алданов. Офицеры всех трех батарей собрались в палатке Кольцова. Каждого приезжего теперь опрашивали долго и тщательно. Все чего-то ждали. События шли неудержимо, быстро и шумно, как катится сильно пущенный шар по кегельной дороге. Что-то будет? Что творится там, в России?

Алданов сиял улыбкой отдохнувшего. Он привез коньяк, лимоны, икру. Все это давно исчезло из офицерского обихода. Андрею он показал чемоданчик, набитый газетами, книгами, брошюрами.

— 'а' вам с'азать, — пробовал он шутить. — Все 'лючи в армии. На армию смотрит сейчас вся страна. 'огда приезжаешь в провинцию, все глядят в рот: а что же творится в армии?

— А мы ждем, не дождемся вестей из тыла...

— Да вы не морочьте голову, — нетерпеливо перебил Скальский. — Что в столицах? Какое настроение?

— Столиц не видно, — утонули в подсолнухах. Господин 'еренс'ий побеждает сердца дам и морочит мужчин. Совет рабочих депутатов — второе правительство. Сам 'еренс'ий утром и вечером бегает туда на по'лон. А больше ничего не видно. Ничего не видно... — Лицо Алданова угасало, как керосиновая лампа, у которой вдруг опустили фитиль. — Впрочем, говорят, 'еренс'ий будет премьером.

— Как? — вскинулся Кольцов. — Главой правительства? Кадеты не допустят.

— Увы! 'адеты уходят из правительства вовсе...

— Шелкоперы! — заблистал глазами Скальский.

— Ораторы!

— Но тогда что же будет? — растерянно смотрел на Алданова Львов.

Офицеры молчали.

— Ну, а в провинции? — спросил, наконец, Кольцов.

— Провинция провинцией и осталась. расные флаги на губернаторс'их домах, а остальное... — Алданов махнул рукой. — Не вижу я пути нашего 'орабля, — вдруг прибавил он серьезно. — Нет ру'и направляющей... Становится и голодно, и бедно. Деньги падают. Транспорт ни ' чорту. От 'азани на Мос'ву на тридцать часов опоздали, и говорят — нормально... Помещичьи земли не убраны. Зерно птицы 'люют. А иные и не запаханы. По деревням пьянство. Делят землю. Жгут усадьбы.

— Весело... мать, — сказал Скальский. — Какого же чорта думают эти министры из кабатчиков? Ведь и 'их добро тонет.

— Барахтаются в... Родная стихия. Вот, сволочи, до чего довели страну! — схватился вдруг за голову Кольцов.

— Кто, капитан, кто? Кто довел, кадеты? — спросил его в нарастающем гневе Горелов.

— Те, кто народ мутил...

— А не те, кто войну затеял? Кто отказывал народу в самых скромных реформах?

— Студентишки! Чорт бы их побрал, — крикнул Архангельский.

— Тише вы, петухи! — резко оборвал расходившихся офицеров Скальский. — Еще нам передраться! — сказал он с горечью и презрительно бросил в сторону Архангельского: — А вы бы лучше в городки играли.

— 'ажется в город'и играть толь'о и остается, — сказал Алданов.

— Достойная русского офицера сентенция.

— А что же делать, полковник? — спросил Перцович.

— Перестать мальчишничать! Осознать момент! Думать! — как команды выкрикивал теперь Скальский Он встал, держась, как всегда, прямо, закинув назад плечи — Гибнет страна, — сказал он тоном ниже, должно быть, для того, чтобы вышло внушительней. —

Гибнем и мы все. Надо понять почему. Надо за-щищаться!

— Народ не ультурен, — сказал Алданов. — Смысла революции ни'то не понимает, 'аждый хочет хапануть.

— Вы, поручик, кажется, намерены устроить плач на реках вавилонских. Оставим тем, кому это подходит. Некультурный народ не воспитывают революциями, милостивый государь. А офицерство должно найти для себя выход...

Он, не попрощавшись, вышел из палатки. Крепкий, собранный, такой, каким каждый из этих офицеров хотел бы видеть со стороны себя самого...

— Вот это я понимаю! — восторженно крикнул ему вслед Перцович. — Это офицер!

— Да, кто бы ожидал! — кусая ногти, пробурчал Кольцов.

— Солдафон, монархист... Взал'ал по царе, — возмутился Алданов.

— А что еще осталось? — крикнул Перцович.

— Молчите вы, щено'!

— Не смеете ругаться!..

— Господа, давайте успокоимся, — предложил Малаховский. — Какой смысл ссориться?

Встреча не удалась.

Коньяк роспили свои и Малаховский, который пристроился к икре и ушел только после того, как коркой хлеба вытер дно жестяной коробки.

Вечером Алданова вызвали в дивизион. Он был окончательно назначен начальником связи.

— Может и ' лучшему, — говорил он Клементию Гореву. — Надоело все хуже перца.

— Идиотская компания! — уверенно ответил молодой человек.

— А! Всюду та'ие. Для нас специально не отбирали. А ты 'а'?

— По-моему весело. Здесь группа анархистов образуется. Думаю примкнуть.

— Остальные партии для тебя слиш'ом глупы?

— Да... Все как-то мямлят... А у анархистов все ясно, как стеклышко.

— Дура' и ты, я вижу.

— Спасибо. Один вы, дядя, умный.

— Пошел вон, мальчиш'а!

XXI

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ БОМБ

Наблюдательный пункт батареи был ближе всех других к окопу. Здесь лес выходил на песчаный косогор над разросшимся и обмелевшим оврагом. В крепкие глинистые массивы у выбившихся наружу цепких корневищ были глубоко врезаны красные срубы-клетки для наблюдателей. В бинокль легко можно было рассмотреть три линии германских окопов, широкие полосы проволоки, кольца и полукруги межокопных укреплений.

— Крепость, — сказал Кольцов. — Но мы ее смешаем с грязью. Дайте срок!

Направо и налево шевелились наблюдатели легких.

— Но такой пункт нельзя не заметить, тут все разрыто, и вам не дадут покоя, — сказал Андрей.

— Да, густо. Но ведь это неважно. Все цели пристреляны. Долби и долби.

В передовой линии было полно народа. У пехотинцев на поясах маленькими зубчатыми палицами висели гранаты. Офицеры суетливо бегали по траншеям, веселым разговором старались поддержать дух бойцов.

Окоп гудел бодрыми голосами. Немцы, зачуяв подготовку наступления, больше не отвечали на попытки братания, но по окопам, чтобы не дразнить пехоту, не били, предпочитая поражать шрапнелью леса, в которых притаилась артиллерия. Ударники собрались у пулеметных гнезд, в вынесенных вперед укреплениях. Саперы рыли проходы, которые должны были приблизить наступающих к проволоке противника.

Андрей прошел в такой окоп с молодым толстощеким, как бульдог, прапорщиком. Прапорщик носил

охотничьи сапоги, оканчивающиеся кожаными штанами до пояса, и держался героем по призванию. Удивительные сапоги позволяли ему с пренебрежением относиться к грязи, заполнявшей окоп. Он, не разбирая, шагал по жижице, слегка прихрамывая. Унтер-офицер, пулеметчик, сказал Андрею, что у прапорщика в ягодицах сидят две шрапнельные пули. Прапорщик не пожелал эвакуироваться и за это представлен к Георгию.

Понимающе подмигивая, подстреленный герой сказал Андрею:

— А у вас там здорово готовятся. Эх, и дерганем мы немцев!

— А вы в своих уверены?

Лицо прапорщика на мгновение выразило тоску, но сейчас же подобралось и налилось благоприобретенным выражением уверенности.

— Мы сейчас выявляем солдат покрепче и группируем их вокруг себя. Ведь если вы стукнете немцев как следует, наступать будет легче легкого, а прорвемся — кавалерия подхватит наступление. Казачки не выдадут! А у нас на каждого ударника по пулемету. Да мы их пулеметным огнем замучаем. А то, может, и вообще настроение у солдат переменится. Я бы, знаете, — сказал он, помолчав, — погнал бы к чортовой матери всю эту шушеру, что воевать не хочет, большевиков, меньшевиков и каких там еще... Не хочешь воевать — вали домой! Они в тылу были бы полезнее, и армия сразу бы освободилась от гнили.

«А ведь он дурак, — подумал Андрей. — Но первая часть его рассуждений — увы! — совсем похожа на мои вчерашние мысли». — А как бы вы это сделали? — спросил он вслух. — Кого отпускать, кого нет, сколько нужно оставить? А если разбегутся спецчасти и тыл? Только объявите демобилизацию — все хлебопеки и кашевары первые уйдут по домам. Останетесь с сотней ударников...

— Да, конечно, — быстро сдался прапорщик. — Но и толку от этой шушеры мало. Я вот еще иногда думаю,

хорошо бы, если бы немцы по окопам стукнули сейчас, разозлился бы народ, а то никакого духа нет.

«Окончательный дурак» — решил Андрей и пошел обратно.

Дороги грохотали двуколками. Тяжело ступая плоскими лапами, на которые переваливались высокие в сажень колеса, передвигались при свете факелов старомодные медные пушки. Телефонисты с кондукторскими фонарями, похищенными на железных дорогах, копались в мшистых прожилинах леса, упрятывая проволоку под землю. На батареях, согласно инструкции, тщательно убирали все, что могло бы обнаружить расположение артиллерийских частей для наблюдателя с аэроплана. Свертывались выгоревшие на солнце, поблекшие от дождей палатки, убирались бумажки, белье, строганые доски. Еловыми ветками и охапками папоротника забрасывали ящики и штабели снарядов.

В офицерской палатке Кольцов готовился к походу на наблюдательный. Он набивал распухшую сумку еще какими-то кроками, картами, полевыми книжками. Архангельский, подражая ему, складывал по-новому карту участка. Перцович спал. Ему предстояло итти в окопы сейчас же после артиллерийской подготовки.

Подали коней, и наблюдатели уехали. Андрей остался на батарее единственным офицером.

Наводчики еще вечером сняли чехлы с орудий, проверили панорамы. В пять фейерверкеры прошли по блиндажам, и номера принялись укреплять деревянные упоры для хоботов гаубиц. Свободные канониры, зевая и разминаясь, уселись на бревнах блиндажей, на краю защитного окопика, крутя вертушки. Лес просвечивало неясное, предосеннее утро. Ветерок заставлял дрожать высоко вознесенные вершины.

В пять где-то впереди ударил гулкий пушечный выстрел. Все вскочили на ноги. Номера окружили орудия.

Телефон наблюдательного загудел настойчиво. Проснувшийся в окопе телефонист продувал трубку. Собачьим, частым лаем первыми вступили в бой легкие батареи.

Как барабанная дробь, усиленная огромными резонаторами в тысячу раз, неслись их выстрелы. Слышно было, как снаряды уходили на запад, шурша и посвистывая, как будто по лесным вершинам влекли километровые листы гибкого певучего железа.

Баритонами заревели гаубицы.

Басами пошло в небе эхо от выстрелов гигантских орудий, ставших на опушке.

Андрей скомандовал:

— Огонь!

Взводы один за другим оглушительно рявкнули. Дождь сухих игл посыпался на голову.

Пункт требовал частой стрельбы.

Андрей стоял с книжкой в руках и громко кричал слова команды.

Его не слышали. Лес, как большой орган, раскрылся тысячью медных глоток. Но солдаты видели руку Андрея, и наводчики по его сигналу дергали шнур.

Теперь над батареей порывистыми, злыми птицами, с шуршащими отяжелевшими крыльями, пронеслись чемоданы поместившихся позади тяжелых батарей. От каждого выстрела над этим общим гулом оставался только робкий звуковой след.

В этом реве останется незаметным даже близкий разрыв немецкой гранаты. Немцы наверняка сейчас громят лес. Может быть в шахматном порядке — квадрат за квадратом. Но кто услышит эти звуки, приближение шрапнельных очередей? Тысячи батарей создали такое звуковое прикрытие, над которым не мог бы подняться даже гром из низко нависшей тучи.

Батарея каждую минуту выбрасывала снаряды в ореоле вихристого пламени, вылетавшего из гаубиц пучками алых стрел. Невидимый снаряд шел в вершины сосен, и ближние деревья на глазах, как рукой, пригибало к земле.

Солдаты на дороге наклоняли головы, когда шел вихрь залпа, а лошади рвали постромки и поводья. Пехотинцы с испуганными глазами спешили перебежать фронт батареи, хотя через двадцать-тридцать саженей

их поджидала другая ревущая свора пушек или гаубиц.

Уже через час номера и сам Андрей утратили чувство слуха. Фейерверкеры, беззвучно раскрывая рты, подбегали с паспортами гаубиц, пытались что-то кричать на ухо и, отчаявшись, принимались писать на клочках.

Все батарейцы были при деле. Палатки и блиндажи пустовали. Только вестовые, как случайные пассажиры на штормующем паруснике, бродили по опустелой части бивуака.

В двенадцать Мигулин принес стакан чая. Чай остался невыпитым. Бутерброд лежал на срезе пня, укрытый равнодушными к бою мухами. Через час Мигулин подошел, посмотрел на стакан, покачал головой и ушел.

В час дня вершина сосны упала на гаубицу. Ее, как бритвой, срезал немецкий, никем не услышанный снаряд. Хвоя усыпала листы фейерверкерской книжки. Наводчик дрожащей рукой водил перед глазами и долго протирал объектив панорамы.

Наблюдательный требовал продолжать огонь.

К полудню Станислав понес Кольцову на наблюдательный завтрак. Вернулся через два часа. Щеголеватые синие штаны были облиты жирным борщом. Кольцов послал его к чорту.

— Сиди як тигра. Только кшиче: огонь, огонь! Телефонистув еле не бие, жебы презай трубили. Они там все сказились. А по лясу такие дееси, же й пройти немыслимо. Надо мною сосну своротило. Я юж разбил колено, и борщ весь пошед в болото.

От гаубиц шел пар. Тела орудий, всегда мертвенно холодные, как будто начинали дышать, оживая. Солдаты утирали пот грязными платками и рукавами рубах, как металлисты у плавильных печей.

Штабели снарядов быстро уменьшались. На странице записной книжки колонками выстраивались цифры. Из передков неустанно подвозили бомбы. Но теперь некому было укладывать их этажами, и они валялись в траве, на коричневом перегное, как большие бутылки после оргии великанов.

В лесу, казалось, замерло обычное кропотливое движение. Кто мог сказать, есть ли теперь в листве и хвое дятлы и сойки, живы ли красные солдатики — рыжие муравьи, бегают ли у корневищ маленькие серые мыши?

Андрею казалось, что весь лес — это охапка сухого, несмятого сена, и в этой запутанной зеленой и рыжей чаще букашками копошатся у своих тяжелых машин люди, безголосые и обезумевшие.

Устав, солдаты ложились на землю и дышали высоко поднимающейся грудью, харкали в сторону и били по земле ладонями, как молодой тюлень ластами. Потом вскакивали, бросались к орудиям, опять ворочали стопудовые хоботы, немеющими руками подносили снаряды, которые с каждым часом наливались какой-то дополнительной тяжестью.

Только в три часа прекратили стрельбу. Разведчики двинулись к немецким окопам.

— Все в кашу! — хрипло кричал Кольцов в трубку.

Где-то за лесом водопадом свергались частые разрывы, образуя отчетливую линию звуков.

Немецкие батареи открыли заградительный огонь.

В четыре опять ураганный огонь. Проволочные заграждения еще были местами целы.

На орудия пришлось бросить большие мокрые тряпки. Они дымили и, быстро высыхая, становились горячими и ломкими, как прогоревшее железо.

К восьми огонь несколько утих.

Батареи получили задание продолжать всю ночь методическую стрельбу по своим целям. На точке наводки вокзальным огоньком повис красный фонарик.

Андрей испытывал теперь то же, что пассажиры быстроходного автомобиля, которым из-за аварии пришлось пересесть на телегу

Теперь на срезе пня лежали часы, Андрей сидел на бревне и каждую минуту подавал знак одному из орудий. Тяжелые снаряды приобрели теперь отдельные голоса, и только легкие напоминали прежнюю, несколько замедленную барабанную дробь гигантов. Но-

чью гаубицы полыхали пламенем, дорога шумела колесами, и временами казалось, что тысячи огнедышащих паровозов пробегают по лесу, как по стрелкам большой станции, которая распределяет их по всем направлениям.

Номера получили возможность отдыхать в очередь. Плечи солдат немели, ныли от боли, руки, весь день таскавшие снаряды, дрожали, выплескивая чай из жестяных и фаянсовых кружек. Кружка бесила своей неприятной, неожиданной после снарядов легкостью. Некоторые хлебали из бачков, в которых неприятно застыл еще дневной суп. Андрей отказался итти в палатку, и Мигулин опять принес бутерброды и чай.

Кольцов вызвал Андрея к проводу в полночь. Захлебываясь и горделиво хрипя, он рассказал, как вспахала батарея свой участок, как точна была его, кольцовская, пристрелка, как сорокадвухлинейные заставили замолкнуть германские батареи, как ходили разведчики к немецким окопам. Кое-где все еще не была уничтожена проволока, и из разбитых, казалось, гнезд по разведчикам ударили пулеметы.

Сейчас, ночью, пойдет разведка из добровольцев. Утром — опять ураганный огонь.

В три часа ночи загудел телефон. Кольцов приказал немедленно открыть ураганный по основным целям. В ту же минуту загрохотали соседи. Опять поднялся ад, который на этот раз перенесли, казалось, в большой темный погреб.

Легкие батареи из-за спешки больше не вкладывали пламягасители в заряды, и пламя рвалось и гуляло над орудиями, над лесом как подхваченные вихрями из-под земли красные флаги демонстрации.

В шесть утра пошла разведка. Кольцов сообщил с наблюдательного, что первая линия германцев пуста, исковеркана, разбита и не может больше служить опорой ни врагу, ни нам.

Перцович ушел с разведкой и установил телефон в полуразрушенном каземате германской траншеи.

К утру огонь германской артиллерии вышиб разведчиков из разбитого окопа.

С девяти утра шел методический обстрел германского тыла.

В двенадцать — ураганный по второй линии.

В четыре часа обволокло дымом четвертую гаубицу. Люди бежали во все стороны, закрыв глаза руками. Чьи-то ноги бились у края дымного облака...

Снаряд, разорвавшись в канале, развернул тело орудия, отогнул стальной щит, как сыгранную карту, и снес часть колеса. Гаубица стояла теперь, задрав неповрежденный край щита кверху и припав на одно колено.

Через два часа на ее месте была новая, присланная из армейского запаса...

Даже солдаты были огорошены такой быстротой. Так еще никогда не бывало. Давно ли вышедшее в тираж орудие заменялось только после многих месяцев переписки и канцелярской волокиты, доходившей до штаба фронта.

В семь вечера батарею огласили крики. Так кричат в операционных полевых госпиталях, когда нехватает морфия или не действует хлороформ.

Русский восьмидюймовый снаряд, ударившись о ствол сосны, преждевременно разорвался перед батареей. Часть осколков пропорола палатку, в которой пили чай приехавшие из передков со снарядами ездовые. Кононов, чернокудрый цыган, беспечный балагур, лежал с разорванным животом. Медлительный и мягкий, как мешок с мукой, Матюшенко был ранен в ногу. Еще одному ездовому, Козлову, оторвало два пальца руки.

Кольцову доложили о случившемся. Он крикнул в телефонную трубку:

— Огонь!

Андрей поднял руку. Четыре наводчика дернули шнуры.

Красный крест на сером брезенте санитарки, покачиваясь, уплывал на дорогу.

День закончился в грохоте ураганов стали. Вечерние тени смешались с дымным облаком, которое ползло по лесу.

Ночью — опять стрельба по часам, размеренная, как работа медлительного, тяжелого молота.

Страница записной книжки стала памятником этого замечательного дня. Дождь оставил на ней фиолетовые химические пятна. Карандаш, срываясь с аккуратной колонки цифр, — то ли грянул в уши выстрел, то ли германский разрыв заставил вздрогнуть пальцы, — начертил крючки и запятые, как будто книжка после артиллериста попала в руки ребенка.

Колонка цифр бежит по странице сверху вниз. Это какой-то гросбух капиталистической фирмы. Вот столбик подчеркнут дважды. Это умерла одна из гаубиц. Наследница приняла дело находу...

Говорить Андрей больше не в состоянии, но странно, — не слипаются глаза. Нервы. В голове шум; он больше не вырастает, не уменьшается с ходом стрельбы. Голова шумит ровно, своим собственным шумом, как погреб, у стены которого несется быстрая, ровная река. Шум помогает. Он сам по себе — какой-то суррогат мысли. Потому что настоящей мысли нет. О чем думать колесику мясорубки, у которой пока еще исправно работают винт и ножи?

Из тыла к вечеру второго дня привезли почту. Очевидно, за пределами леса жизнь ступает шагами почтальона, стучит колесами поездов, люди зевают, ложась спать...

По почерку — письмо от Елены. Но нельзя было улучить минуту... А главное, нельзя было читать ее письмо в этом механизированном аду.

Ночью лежал на досках — принес, конечно, Мигулин, чтобы прапорщик не ложился на землю, — и по часам следил за стрельбой. Номера спали тут же на земле, подостлав шинели.

Утром лес взорвался раскатами. Этот новый хор был не похож на предыдущие два дня.

Это били германцы.

Снаряды ложились немного впереди вдоль дороги.

Осколки свистали среди ветвей, щелкали по сучьям, ударяли в щиты орудий.

Солдаты прятались в окопике, иногда высовывая наружу робкие головы.

Только наводчики и третьи номера оставались у гаубиц.

Разрывы ушли к опушке, но над лесом застрекотал самолет. Германские машины шли низко, словно желая крыльями пригладить вершины. Сквозь стрекот пробивался стук не то своих, не то аэропланных пулеметов. Выстрелы гаубиц отсчитывали теперь медлительное время.

В восемь — ураганный.

В девять перенос огня на третью линию.

Атака.

Наблюдательный кричит время от времени:

— Наши во второй линии!..

— Заняли всю вторую!..

Значит, наступление состоялось!

— Перенести весь огонь по тылам! — кричит кольцовские слова телефонист.

Значит, фронт прорван?

— Легкачи снимаются! — кричит с дороги батареец.

По дороге упряжками скачут артиллерийские кони.

Кольцов кричит:

— Пошлите в передки, чтобы были наготове!

Волнение охватывает всех людей на батарее

Вестовые сами, без приказа, собирают офицерские вещи.

Трехдюймовки затихли. Теперь только тяжелые перекатываются по небу. По дороге вскачь летит казачья сотня.

Кольцов кричит:

— Усилить огонь!

Гаубицы смотрят в зенит, — они бьют на пределе

Значит, немцы уходят? Победа!

Но огонь опять переносится на вторую линию.

Ничего не понять. Чем же кончилась атака?

Кольцов неистовствует на пункте. Телефонист, забывший за дни боя революцию и приказ номер первый, с воспаленными глазами и неуверенными рабскими жестами, с дрожащим голосом, как в зеркале, отражает кольцовскую истерику.

Кольцову кажется, что батарея недостаточно быстро и часто посылает свои бомбы в тыл врагу.

А между тем фейерверкеры все по очереди уже подходили к Андрею, докладывая, что тела орудий перегрелись, и они боятся, как бы не случился преждевременный разрыв в теле орудия. Снаряд входит в замок как в печь. Андрей щупал пальцами раскаленные жерла, тучные, ставшие маслянистыми округлости казенных частей и едва успевал к телефонному окопику, чтобы по требованию Кольцова снова кричать:

— Огонь!

Германцы жестоко били по лесу. Казалось, до сих пор они сознательно копили энергию для третьего, решающего дня. Артиллерийский огонь гулял над брошенными окопами, создавая сплошной, непроходимый занавес. Потом вдруг он перешагнул через русскую линию и ливнем гудящей стали понесся над резервами вглубь леса, к артиллерийским позициям...

Гул разрывов теперь побеждал шум стрельбы. Деревья на глазах роняли срезанные осколками ветви, посыпали батарейцев сухой хвоей. Тонкие сосны ломались с сухим треском и высокой кроной ложились на плечи соседей, как припадающие к чужому плечу обиженные девушки.

В спадающем солнце зашуршали над лесом аэропланы. Летчики шли штурмом на артиллерию.

В просветах, среди вершин, неся на себе отблеск солнечного красного луча, сверкая полосками крыльев и бронированного фюзеляжа, проносились таубе. Самолеты кружились, едва не касаясь колесами деревьев, и сыпали пулеметным горохом, не столько поражая, сколько деморализуя артиллеристов. Там, где летели стальные птицы, — прекращался огонь. Их налетающий бурею рев загдушал даже грохот пушек. Но в море ар-

тиллерийских звуков они прокладывали тропы молчания....

Один из таубе появился над батареей. Он шел сравнительно высоко.

Деревья спешили закрыть его, но, сделав круг, он опять прошел над батареей уже совсем низко. Артиллеристы бросаются в окопик, прижимаются к смолистым телам сосен.

Фейерверкеры, виновато сгорбившись, приседают у щитов гаубиц.

Андрей видит, как сверкнула стальная полоса фюзеляжа. Он мог бы поклясться, что видит летчика в шлеме, с оскалом зубов...

И опять летчик ушел, и опять возвращается. Еще круг. Еще угроза.

Андрей прыгает в ров...

Летчик уходит. Самолет имеет свои законы. Он должен итти, как застоявшийся заводский рысак, раскачавшееся сердце которого не терпит внезапных остановок.

Медленно выползают из рвов и блиндажей канониры.

— Почему нет стрельбы? — кричит телефонист словами Кольцова.

— Огонь! — поднимает руку Андрей.

Лес опять неистовствует взрывами и грохотом выстрелов.

Что творится теперь на фронте — не разобрать. С наблюдательного передают одно, проезжие ординарцы уверяют в другом. Солдаты по очереди дежурят на дороге. Раненые присаживаются на пни, подняв кверху бело-розовые куколки забинтованных рук, стреляют махру, просят им закрутить. С соседних батарей несутся свои слухи. Солдатская почта в ходу.

Первая линия занята. Это ясно. Огонь больше не возвращается к прицелу 120. Вторая линия, вероятно, местами прорвана. Но что же дальше? Почему не бежит враг? Где кавалерия? Почему германская артиллерия все еще в состоянии громить артиллерийские по-

зиции русских? Почему не передвигают вперед легкие батареи?

А Кольцов требует:

— Огонь! Огонь!

Уже три тысячи тротиловых бомб отправлены к немцам.

— Огонь! Огонь!

— Господин прапорщик, — кричит Щусь, не отходя от орудия.

Андрей видит, как канониры, окружив дымящееся орудие, заглядывают в его дуло. Они, как коня, шлепают гаубицу ладонями по казенной части. Один из них перекладывает тряпки, над которыми стелется пар.

Закрыв книжечку, Андрей спешит к орудию. Ну, конечно! Пересекая ровные рубцы нарезов, бежит, извиваясь к выходу, черный волосок трещины. Это новое орудие из армейского парка. Оно дало лишь три-четыре сотни выстрелов.

— Снаряды тоже! — презрительно говорит наводчик.

— Банником загоняем.

— Это пятнадцатого-шестнадцатого года, — подходит Бобров. — Они вам все орудия рассадят. Они на полмиллиметра толще нормы.

Бобров — слесарь. Его слова слушают уважительно. Качают головой.

— Огонь! — кричит из окопика телефонист.

Андрей сам идет к телефону.

— Господин капитан, — говорит он официально, — третье орудие дало трещину.

— Как? новое? — Кольцовский шопот хрипит в трубке.

— Так точно.

— Совсем?

— Нет, трещина, как волосок. Но стрелять, очевидно, нельзя.

— Стрелять батареей! — хрипит Кольцов. — Я приказываю!

— Но орудие...

— Прицел сто семьдесят! — не слушая, трещит телефон.

Андрей кричит:

— Огонь!

Взвод ревет двумя почти слитными выстрелами.

— Огонь! — кричит Андрей и машет рукой в сторону Щуся.

Щусь, бледный, подходит к нему.

— Невозможно, господин прапорщик.

— Приказ командира батареи! — орет ему на ухо Андрей.

Щусь опускает руку, но не спешит на место...

В его лице Андрей читает что-то новое. Он забыл в эти дни о революции, о новых солдатах, о комитетах. Три дня машина работала без отказа...

— Огонь, немедленно! — кричит Андрей.

— Не будем стрелять, — тихо, но внятно, может быть даже лениво, говорит Щусь и поворачивается совсем по-штатскому.

— Зарядить! — кричит Андрей третьему номеру.

В замок, стуча тяжелым металлом о металл, входит серый конус с зеленой головкой.

Наводчик, подняв руку к лицу и зажмурив глаза, как будто вот-вот у самого лица разорвется снаряд, говорит не то про себя, не то Андрею:

— Разворотит... Святой крест, разворотит!..

— А ты не стреляй. Ну его к матери! — вспыхнув вдруг, как вспыхивают обыкновенно интеллигенты, закричал Зятов, четвертый номер, молодой, с лошадиным набок лицом парень. Он тут же вытер рукавом пот на затылке. — Говорят им, треснуло тело орудия!

Первый взвод без команды рявкнул двойным выстрелом.

— Третье, огонь! — кричит Андрей.

— Солдаты стоят как манекены.

«Что делают в таких случаях? — лихорадочно думает Андрей. — Стрелять в солдат? В кого? Легче в себя!»

— Ложись за деревья! — кричит он, сам еще хорошо не разобрав, что будет делать.

Солдаты глубоко, как в подушку, западают лицами в хвою и сухие травы под защитой самых толстых стволов.

Номера первого взвода один за другим прыгают в окопы.

Закрыв глаза, Андрей дернул грязный, намасленный потом шнур.

Выстрел грянул, пошатнув почву под ногами...

Обычный спокойный дымок курился над гаубицей...

Щусь бежал от ближней сосны к дулу, заглядывая внутрь.

— Огонь! — командует пункт.

Кто-то бежит уже с длинной веревкой. Это тот же Зятов...

Теперь у орудий — только наводчики. У третьего — никого. Веревка от курка тянется за сосну. Там, лежа на земле, дергает ее наводчик.

Андрей глядит уже изо рва.

Взрыв глухой, подземный. Дым ползет по всей позиции белым, черным, бурым облаком.

Теперь вся батарея бежит к третьему орудию. Андрей спотыкается. Щит гаубицы повернут ребром на запад. Из-за щита глядят острые щепы... Отслужившее и выброшенное в мусор ведро... Струйки дыма ползут из широко раскрывшейся казенной части, как будто там еще тлеет какой-то фитиль.

— Эх, туда твою, господи! — хватается за голову Щусь. — Ну и дернуло!

Дуло развернулось веером закоптелых острых стальных полос. Они разошлись в стороны и даже загнулись назад, хотя сталь на них в дюйм толщиной. Даже кожух дал трещину. Только казенная часть стоит нерушимо. Плоская сталь щита согнулась, как картонная коробка, в которую попали булыжником. От панорамы нет и следа. Колеса глядят кверху сломанными спицами. Кусок кованого обода валяется рядом.

— Ну, спасла вас богородица! — говорит старик Костюченко. — На один раз хватило.

Андрей смотрит на него непонимающими глазами, только потом смысл доходит до сознания.

— Да, разорвало бы в клочки, — смеется принужденно, — снесло бы голову. — А сам думает: «Хорошо, что третье, хорошо, что Щусь!»

— Огонь! — кричит пункт.

— А, чтоб тебе чорт! — не выдерживает Андрей и бежит к телефону.

— Орудие разнесло вдребезги!

— Огонь! — хрипит Кольцов: — идут атаки!

«Он с ума сошел» — думает Андрей.

— От орудия остались только лафет и казенная часть...

— Послать за другим!

— Слушаю!

Через полчаса ураганный огонь приказано прекратить. На фронте трещат пулеметы и винтовки атакующих.

Этот вечер запал Андрею в память так, как запоминается картина мастера, не задумываясь нарушающего соотношения пространства, перспективу и обычные законы красок.

Паникеры с выпученными глазами сообщали о германской кавалерии, о газовых атаках...

Телефоны кричали наперекор один другому.

Штабы лгали в сводках тылу и в приказах фронту.

Где-то за лесом совершались события, но никто здесь в лесу толком не знал, что происходит. Раненые ординарцы, вестовые, казаки, — все охотно сообщали новости, и все по-разному.

Кольцов кричал с наблюдательного, что все три германские линии заняты нашими, что под Сморгонью кавалерия уже гуляет в тылу противника, что под Крево германская линия прорвана и теперь армия каждый час может двинуться вперед...

Шли часы. Приказ о передвижении не приходил. Легкие батареи вернулись на свои места. Время от времени над лесом раздавался сухой треск шрапнели, показывавший, что германская артиллерия все еще держит на прицеле позиции русских батарей.

Андрей сидел на ящике, пил, ел за три дня и, не-

прерывно работая челюстями, жадно слушал все, что говорили вокруг, все, что приносили случайные вестники.

Батарейцы походили на футболистов, только что сыгравших решительную схватку.

Они разминали плечи, потирали руки, ходили вперевалку. Жаловались друг другу на тяжесть прошедших дней с улыбками усталых победителей.

Минутная вспышка неповиновения была охотно забыта обеими сторонами. Щусь видимо чувствовал себя смущенным. Ведь он — комитетчик... Андрей казался и себе и другим героем. Он один бессменно стоял на посту. Он не спал, не ел трое суток. Он сыграл со смертью десять против ста...

Люди ходили, перебрасывались словечками. Интересовались, как на стрельбище, результатами своей работы и незаметно опять становились солдатами-профессионалами, для которых смысл существования так долго заключался в повиновении, в выбрасывании во врага тяжелых снарядов.

Петр лежал под деревом, закинув по привычке руку за голову.

Неужели же он и его товарищи просчитались, и этот бой создаст поворот не в пользу мира, а в пользу войны? Неужели солдатам мало трехлетней бойни?!

Армия царя все еще не хочет рассыпаться. Она поворачивается, покачивается, как флюгер на ветру революции, но стоит. Ее нужно толкать ежеминутно, какой угодно ценой. В эти месяцы Петр чувствовал в себе такой приток жизненной силы, как никогда, и каждую минуту думал, что́ еще может он сам сделать для революции, для мира?!

Первые месяцы после переворота день не проходил без того, чтобы он не чувствовал каких-то общих с революцией своих побед. На батарее хозяевами были эсеры. Он отнял у них Багинского и авторитетного среди солдат Ягоду. Затем Берзин. Сухов. Сонин один за другим переходили на его сторону. А Орлов из первой батареи, комитетчик, силач, первый в дивизионе

после Табакова солдат, — оратор. Он уже колеблется. А сколько пехотинцев, встреченных по дорогам, на митингах, на дежурствах... Он видел, как одновременно выпадает из рук офицерства та непререкаемая власть, с которой нельзя было бороться, от которой нельзя было уйти никуда, кроме могилы. И в этом есть его доля...

И с самого февраля Петру казалось, что стоит он в начале большого пути. И путь идет вперед прямой и верный, и не нужно оглядываться, — все прямо. Наверное в море хорошо рулевому. Никаких поворотов. Пусть скрипит руль, но нос ножом режет один за другим кудлатые, сверкающие гребни.

На Бабурином переулке Петр принял все до последнего слова и не вынес никаких сомнений.

В детстве все было просто. Бежать хотелось от этой простоты. Мать через день в слезах, отец тихий, приветливый, но всегда с бутылкой. Конь пал, жрать нечего. Чего проще?! Учиться нельзя. С облучка весь город ходил перед Петром простой, знакомый и понятный. Барин торговался за гривенник и наклонял пролетку до земли тяжкой слоновой ногой. Кости выпирали у кобылы. «Ты еще не доедешь!» — презрительно отворачивалась барынька в шляпке — блюдечко с пером цапли, торчащим кверху. Городовой садил пьяного и до самого участка под покровом ночи тузил его в бок. В дверях раздавался стон от мастерского приветственного тумака. Ночью позади стонали, пищали, ахали, бранились, томно объяснялись в любви. Мир с облучка был ясен, как птичий двор ключнице с крыльца. Романы, приносимые Андреем, пришли тогда, когда все уже было понятно, и все книжное поместилось над известным уже миром особым, вторым этажом.

Второй этаж оказался обманом. Его нигде в жизни не было. Ни в Киеве, ни в Николаеве, ни в Петербурге. На сахарном заводе Петр понял, что таких, как он, — много. В Николаеве на верфи решил, что таких как он, — большинство. Но только в Петербурге Васильевы растолковали Петру, почему в жизни одним дано все,

другим ничего, от кого это зависит и что нужно сделать, чтобы такой порядок изменился.

Это было то самое, что так нужно в молодые годы, чтобы смотреть только вперед и дышать круглые сутки так, как дышат на легком морозе в быстро бегущих санях.

Эти мысли Петр носил в казарме так, как изобретатель проносит мелькнувшую ему на улице идею, спеша добраться до лаборатории, чтобы на опыте проверить свое открытие. Петр напряженно думал, придирчиво проверял, вся ли виденная им с облучка и из окон вагона и в праздники на своей улице жизнь подходит под то мудрое учение, которое старались втолковать ему на Бабурином. Он радовался удивительной силе и простоте этих идей и считал себя с каждым днем богаче, увереннее и сильнее.

Но только революция сделала его таким, каким он сейчас.

Петру казалось, что он скороход у революции, и там, где прошел он, ее колесница может мчаться уверенно, — никто не задержит, никто не вставит палку в тяжелое колесо.

С Бабурина больше не писали, как раньше, намеками, нехитрыми загадками между рассказами о здоровье своих и знакомых. Теперь письма походили на прокламации, иногда на приказы, и Петр никогда не справлялся, именем какой власти Иван и Алексей Васильевы пишут ему, что он, Петр, должен теперь все двадцать четыре часа своего дня вести работу среди солдат, внушая им отвращение к войне и к тем, кто стоит за власть буржуазии, разоблачать двуличную роль временного правительства и агитировать за вторую, настоящую революцию.

В письмах крохотные листовки, смятые, должно быть, подхваченные на улицах, иногда печатанные на серой бумаге брошюрки, большевистские газеты, которыми отказывались торговать фронтовые киоски. Изредка бандеролью приходили книги.

Письма самого Петра походили на рапорты по ко-

манде. Только в конце он срывался с делового тона и прыгающими буквами кричал туда, в Питер:

— Наша берет. Ей-богу, ребята! Солдат с каждым днем меняется. Скоро все будут наши!

Но в последний месяц как-то все стало неясно.

Началось с приказа, запрещавшего братание. А потом вдруг эта декларация солдатского бесправия! Права фронтовых бойцов внезапно были урезаны против приказа номер первый. Что-то случилось там, в Питере. Он написал Алеше Васильеву, и тот ответил, что дело может обернуться и хуже, но робеть нечего. Все зависит от того, за кого станут в решительный момент рабочие и вооруженный народ на фронте.

Но последнее время кругом началось и что-то такое, что шло наперекор революции, правило в сторону, а иногда и назад.

Особенно это чувствовалось в артиллерии.

Чтобы проверить себя и не утерять ощущения хода революции, Петр чаще ходил теперь в пехоту.

В пехоте, там о войне говорили только с ненавистью. О наступлении выражались только непечатно. Братались, несмотря на приказ. Готовы были разойтись по домам. Открыто грозили всем, кто осмеливался стоять за войну до победного.

На митингах, в строю офицеров выслушивали молча. Злобно мяли шапки в руках. По дорогам глядели волками на золотые погоны. Всех, кто поддакивал начальству, обдавали взрывами презрения.

Но как же тогда могло случиться, что этот дурацкий бой начался и тянулся уже третьи сутки? Почему пехота не заткнет глотку артиллерии?

Он сам выступал с таким предложением в семьсот третьем полку, в том самом, где солдат стальным шлемом ударил се[illegible]ора эсера Соколова, автора приказа номер первый, приехавшего агитировать за наступление. Пехотинцы в ответ грозили пойти на артиллеристов, если те будут срывать братание.

Какие-то элементы незаметно вели свою линию. Эсеры и меньшевики не то поддерживали, не то молча-

ливо сносили эту паучью работу. Офицеры собираются, шепчутся. Из тыла наезжают кадетские ораторы. Сами эсеры клянутся социализмом и советами, но спят и думают, как укрепить старую дисциплину. У солдат голова идет кругом от умных речей, газет и брошюр. Вот такой путаник, как Андрей! Увлекающийся и, значит, способный увлечь других, — скольких он сбивает своей проповедью, в которой все философские системы соединились в клубок спутанных мыслей. Потерявший голову либерал!

Артиллерия вообще держится ни то, ни се. Насчет революции один шум, а глядишь, вышел приказ — стреляют. Даже в пехоте втихомолку, с благословения комитетов, подбирают людишек, которые готовы нацепить на рукав треугольник или адамов череп с костями и бить своих во славу союзников и собственных буржуев. Что союзные деньги гуляют по фронту — это ясно. Об этом писали и из Питера.

Лес гудел выстрелами. За эти дни Петр устал не меньше других. Волей-неволей пришлось принять участие в работе. Десятка два ребят пошли бы за ним, не оглядываясь, но этого мало. Их изолируют, может быть, арестуют, и тогда пропала вся работа.

Петр возил снаряды, скакал ординарцем в передки, решив, что угар этих дней быстро рассеется и на смену придут еще более революционные настроения. Хорошо громить врага с солидной дистанции, не подвергаясь риску, и шагать по разбитым в кашу окопам, а вот когда начнется наступление и связанные с ним походы и лишения, тогда солдаты заговорят иначе.

Больше всего беспокоило — неужели все-таки пойдет в атаку пехота? Ведь победа может изменить настроение солдат. Не всех, но значительной части. На эту часть обопрется начальство, и мало-по-малу перестроит армию по-своему.

В этот вечер Андрей ждал вестей о победе. Петр — о поражении. Оба лежали под деревьями бивуака обессиленные, взволнованные, еще неспособные уснуть...

Андрей заметил сидящего на земле Ягоду, поднялся

и пошел к нему. Заметив, что рядом с Ягодой лежит, распластавшись на спине, Петр, он хотел было пройти мимо, но Ягода уже поднимался ему навстречу.

— Сидите, сидите! — сказал Андрей, опускаясь рядом. — Ну и устал же я!

— Потрудился? — насмешливо заметил Петр. — Небось, зато чувствуешь себя победителем?

— Еще неизвестно, будет ли победа, — уклонился Андрей.

— А что слышно, господин прапорщик? — спросил Ягода.

Андрею захотелось попасть в тон этим ребятам.

— А разве что-нибудь разберешь? Каждый врет по-своему. Одни говорят, у Сморгони наша кавалерия прошла в тыл германцам, другие утверждают, что дальше второй линии наши не двинулись. Вот и разбери!

— Да, — сказал, пожевывая травку, Ягода. — Не разобрать что-то. А капитан Кольцов что говорят?

— Он сейчас едет на батарею.

— А поручик Перцович?

— Где-то в окопах.

— Георгия зарабатывает, — усмехнулся Петр.

— А вот, если солдаты представят...

— Представят, почему не представить? Они и тебя представят.

— Меня не за что.

— А не все ли равно? Вот я предложу, и дадут.

— Издевательство!..

— Ну, не злись, пожалуйста. Видел я, как ты старался. Со стороны можно подумать — большое дело делаешь. Все равно ничего не выйдет.

— Фронт немцев уже прорван. Окопы смешаны с землей.

— Ты же сам только что говорил, что ничего не разобрать. Ну, а если так, так какой толк? Пехота далеко не пойдет.

— Ручаешься?

— Ручаюсь, — поднялся на локте Петр. — А пойдет, так вам же хуже будет.

— А тебе?

— Мне что! Мне важно, чтобы больше солдатских голов поняло положение. Тогда вам не придется производить с ними такие опыты. — Он сделал рукой круг, как бы обводя и рокочущий лес, и звеневшее снарядами небо, и все еще раскаленные гаубицы, и отдыхающих солдат.

— Но как же ты представляешь себе, что же тогда будет?

— Будет революция.

— Революция уже была.

— Еще будет... вторая... настоящая!

— Но что же тогда будет с Россией? Нашей национальной Россией?

— Это не самое главное.

— А что же для тебя самое главное?

— Самое главное, что будет с рабочим классом всюду — в Европе, в Америке, на всей земле.

— Я не знаю, что может случиться с рабочим классом. Я не думаю, чтобы и ты мог знать, но я хорошо понимаю и знаю из истории, что бывает с побежденной страной. Ты просто не думаешь о последствиях.

— Больше, чем ты, — резко перебил его Петр. — Больше! Разве для меня не одинаково у своих господ, у чужих господ. Сейчас есть случай сковырнуть тех и других. Десять миллионов не пошлешь в Сибирь, не разгонишь полицией. Понимаешь? — Он поднялся весь возбужденный, встрепанный. — И ты не кичись, пожалуйста, своей решимостью умереть. Мы тоже умирать умеем. Только уж мы будем умирать с бо́льшим смыслом. Не за раздел Африки между союзниками...

— Но если революции на Западе не будет? Если все кончится тем, что раздавят русскую революцию?

— Мы не будем дожидаться гарантий...

— Солдатня хочет только по домам.

— Брось, Андрей, — хлопнул Петр ладонью по мягкому лесному ковру. — Посмотри кругом, осмотрись. Попробуй сейчас тронуть кого-нибудь из этих серошинельников. Он таким ежом обернется. И о доме за-

будет... А ты знаешь, отчего братание на фронте сейчас уменьшилось? Ты думаешь это оттого, что временное правительство запретило? Как же, держись!.. Это германское командование срывает братанье. Боятся. Свои люди оттуда говорят — целыми дивизиями угоняют на запад.. от заразы. Понимаешь, чем это пахнет? Солдат в России пятнадцать миллионов. А на Западе? Разве это по-твоему не сила?

— Пока в рядах... а распадутся ряды — пыль человеческая...

— Неверно. Она вся — фронтом против господ, золотопогонников и всех тех, кто охраняет господ. Наша партия сумеет повернуть эту энергию в нужную сторону. Одна армия распадется, другая сложится.

Андрей старался побороть в себе раздражение, которое возникало всякий раз, когда он сталкивался с Петром и его товарищами. Это раздражение было нестерпимо и появлялось само собою, наперекор желанию. Как будто какая-то посторонняя сила не позволяла Андрею быть объективным и спокойным в споре. Может быть это раздражение — последний щит уже падающей, побежденной веры.

Когда в его сознании проплывали абстрактные, бесплотные, но выношенные с любовью слова: Россия, слава России, победа, демократия, — казалось, какая-то боль терзает и мучит сердце.

Так прощаются с уходящим за горизонт городом на высоком берегу родной, но оставляемой реки, с могилами провинциального кладбища, с классами гимназии, с прошлым, которое развенчано во всех отношениях, кроме доброй памяти и непобедимых лирических воспоминаний.

«Не легко разобраться сейчас в событиях, но чего бы это ни стоило, — разобраться надо. У Алданова одни взгляды, у Горелова другие, у Горева третьи. А есть ли свои взгляды у Кольцова? Вероятно, остались те же старые, юнкерские... Они отложены до лучших времен. Духовный анабиоз. У Петра взгляды ясны. Но он слишком упрощенно разрешает сложней-

шие вещи. Во всяком случае взгляды эти ясны для самого Петра и, следовательно, могут быть ясными и для всех таких, как Петр... Но откуда у него эта ясность — от скудости знаний и мысли или оттого, что он лучше вооружен каким-то новым, неизвестным Андрею оружием?»

Андрей размышлял молча. Молчал и Петр.

К ужину приехал Перцович. Станислав позвал Андрея в палатку. Перцович казался усталым. Дышал тяжело. Но старался сдерживать дыхания. Он нес на себе тяжесть собственных подвигов, которые, по его мнению, были достойны того, чтобы о них узнали. Но как рассказать о них? Это так же трудно, как и перенести все то, что он перенес за эти два дня.

Кольцов сидел небритый и злой. Казалось, из-за колышащейся решетки камышей глядят глаза неукрощенного зверя.

Архангельский, Зенкевич торопили Перцовича с рассказом.

— Да дайте же, черти, пожрать! Я съел утром кусок хлеба, а вчера похлебал борща в окопе — и все!

Он ел жадно, чавкал и пальцами ломал хлеб от каравая.

— В третьей линии был, — сказал он, вращая глазами в такт движению жующих скул.

— Да ну? Где?

— У Новоспасского леса. Там наши прорвались и окопались.

— Кто же там?

— То есть как кто?

— Пехота, ударники?

— Там — кого хочешь. Не разберешь. И бабы там — ударницы, и казаки.

— А пехота обыкновенная есть?

— Ну, разумеется, есть. Только там все части перемешались.

— Ну, ты лучше кончай есть и тогда рассказывай.

— Рассказывать, собственно, нечего...

Подвиг никак не укладывался в слова. А ведь только ради славы, ради хорошего рассказа на удивленье то-

варищам стоило трижды лежать под заградительным огнем.

— Три раза в атаку ходил, с винтовкой... Ползли, как по кавказским горам. Ну, и вспахали же вы немецкие позиции! Ни шагу — ровного места. Я был и на участке нашей батареи, так там, кроме лисьих нор, ничего не осталось. Пулеметные горки, блиндажи, кольцевые укрепления, все — каша с маслом.

— А народа перебили много?

— Да там наверное никого и не было. Дураки немцы оставлять народ на убой? Пулеметчиков оставили, а остальных отвели на вторую линию.

— А в лисьих норах?

— Там оставались пулеметчики с гранатами. Ведь вот черти! Тридцать пять аршин в глубину вырыли лисьи норы. Никакая артиллерия не откопает.

— Зато закопает.

— Да, брат Это — верная могила. Но это уж на страшном суде объявится.

— И искать их не будут? — наивно спросил Архангельский.

— Кому это нужно? — пожал плечами Перцович. — Но, когда мы ворвались в первую линию, из некоторых лисьих нор повыскакивали немцы в шлемах, — и ну во все стороны чесать из пулеметов! Ну, их всех и прикололи. Их там с десяток оставался... Оглушенные, обалделые. Я одного видел — стреляет не целясь, а у самого глаза, как у пьяного, и пот по лбу грязный течет. Ну, его ударник один штыком в брюхо кольнул, а другой кричит: отойди, и гранату зачем-то в мертвого пустил.

— Зачем?

— Чорт его знает... Наверное гранату некуда девать. А одну яму мы с Суховым открыли. Глубокую щель. Мы туда бросили камешек, а оттуда — бац из парабеллюма. Пехотный подошел, да гранату туда. Только дым пошел. Ну, а там тихо. Могила!

— Страшно было? — полюбопытствовал Архангельский.

— Страшно... — сознался просто Перцович. Это вышло удачно. Все стали серьезнее.

— Какой огонь заградительный, подлецы, открыли, прямо — стена! Не проскочить. Из воронки в воронку прыгали. А потом нет сил — залегли. Я четыре часа в одной воронке пролежал. Заснул даже. А голову трупом накрыл. Не думал, не гадал вернуться...

— А зачем назад бегали?

— Пехота бегала. Чуть немцы в контр-атаку или ураганный огонь, как наши не выдерживают — бегут. А начнет наша артиллерия крыть — опять немцев выгонит. Тогда ударники снова вперед, а за ними пехота. Вот так и ходили. Три раза заградительный огонь приходилось преодолевать.

— Но чем же кончилось?

— А еще не кончилось. Наверное придется опять атаковать.

— Я все-таки не понимаю, — горячился Андрей, — пошла пехота в настоящую атаку, или вы только пустые немецкие линии занимали?

Перцович замялся.

— Пошла-то она, пошла, да только... Ну, здесь наверное корпусов десять, а там в атаку идет рота, не больше. А где эта прорва народа, чорт его знает.

— Не помогли и казаки, — меланхолически сказал Архангельский. — А у нас под Крево так и не двинулись. Ну, первую линию и там разбили и заняли... А дальше не пошли.

— А вот, говорили, под Сморгонью — там настоящий успех?

— Говорят, что кур доят, — сострил молчавший до сих пор Кольцов. — Там прорвали, пустили кавалерию. А ее никто не поддержал. Кавалерия попрыгала, попрыгала, — двенадцать верст в тылу была — и вернулась.

— Сильно пощипанная? — спросил Перцович.

Кольцов кивнул головой.

— Так, значит, дело проиграно? — спросил Андрей.

— Ну, пока еще неизвестно.

— Ну, если пехота не идет?

— Трам-та-ра-рам, — вдруг стал громко выбивать пальцами по столу Кольцов.

— Это уже не Мальбрук, — с тоской сказал Андрей.

— А ну ее к чорту, вашу философию! — заорал Кольцов. — И так тошно. Станислав!

Ночью по дороге с пункта заехал Горелов. Он был, как всегда, серьезен и подтянут. Даже грязь на сапогах не лишала его изящества. Старался казаться спокойным, умным, главное, не как все.

— Еще не утеряна надежда, — говорил он, — но, кажется, вся наша работа пошла впустую. В сущности артиллерия одержала решительную победу. Мы уничтожили все препятствия. Пехоте оставалось церемониальным маршем итти на Вильно. Если даже при таких условиях ничего не вышло, боюсь, что пути к победе для нас закрыты. Посмотрим, что скажет завтрашний день. — Он оперся на шашку и стал напевать: «Что день грядущий мне готовит?»

Кольцов стягивал сапоги. Архангельский, вытянув длинные ноги и отвалившись на бок к столу, пускал в потолок большие плотные кольца дыма. Зенкевич усердно давил прыщ на подбородке.

— Офицерству пора бы подумать о своей позиции, о событиях, — сказал вдруг Горелов.

— То есть как о позиции? — словно проснувшись, спросил Кольцов. — Какая позиция?

— Солдаты и те в партии вступают, — продолжал, не отвечая на его реплику, Горелов, — а офицеры, как кудрявые барашки, бегают по полю под небом, не заботясь, будет ли гроза или вёдро.

— Что вы все на офицеров? — выпалил Кольцов. — Офицеры, офицеры. Что революцию офицеры затеяли, что ли? Не понимаю я.

— Ну, не понимаете и не надо, — грубо вставил Горелов. Он поднялся. — Слушайте, Перцович. Мне нужно с вами поговорить конфиденциально, по частному делу... Я, собственно, за этим к вам и заехал.

Перцович положил кожаный порт-табак в карман и

поднялся. Звеня шпорами, они вышли в лес, пронизанный отсветами костров.

— Секреты завелись, — бурчал, укутывая голову одеялом, Кольцов. — Тоже выискался образец доблести и дворянства! Из вяземских купчиков. Десяток книг прочел и ломается!

— Он в кадетскую партию всех агитирует, — сказал Архангельский.

— Скажите, — удивился Зенкевич. — А я думал, он эсер или эсдек. А он кадет. Значит, он левый?

Никто не помог его недоумению...

Петр видел, как из палатки офицеров вышли Горелов и Перцович и, не выходя на дорогу, пошли прямо в лес. Ординарец повел вслед лошадь Горелова.

Петр тихо побрел вслед за офицерами. Офицеры шли медленно, оживленно о чем-то беседуя. Они обошли восьмидюймовую батарею и подошли к бивуаку первой. В командирской палатке светился яркий огонь. У входа стояли верховые лошади. Повидимому, у Скальского были гости.

Горелов и Перцович прошли в палатку и аккуратно задернули за собою полог. По теням, которые откладывались на тонких полотнищах, можно было судить, что палатка уже полна народа.

Петр прошел к блиндажам и вызвал Орлова, орудийного фейерверкера и комитетчика. Он отвел его в сторону и, взяв крепкой рукой за пояс, спросил:

— Чего это у вас офицерье собирается?

— А что?

— А что? А ты посмотри, полна палатка.

— Ну, так что-нибудь, — лениво зевая, говорил Орлов.

— Нет, ты, брат, все-таки не зевай. Смотреть за офицерами надо...

— Что ж, я в палатку-то не полезу.

— А часто они?

— Что?

— Собираются.

— А кто их знает.

— Слушай, Орлов... Я вот жду все время, что офицеры что-нибудь выкинут... Не может быть, чтобы им революция по вкусу пришлась.

— А что же они могут? — снисходительно улыбнулся Орлов. — Вы, большаки, и кустов боитесь...

— Сейчас ничего, но могут сготовить какую-нибудь штуку. Словом, ты, парень, гляди в оба. Хочешь «Окопную правду»? — спросил он, вынимая из-за пазухи смятый газетный лист.

— Давай, давай! — оживился Орлов.

— Ребятам передай. Вообще пусть по рукам гуляет.

— Не залежится. Ладно, — сказал фейерверкер, пряча газету в записную книжку, которая легко ушла в раструб сапога.

— Ты хоть и эсер, а парень добрый! — хлопнул его по плечу Стеценко.

XXII

ГЕРОИ НОВО-СПАССКОГО ЛЕСА

На повороте большой дороги, из-за частых стволов выходили все новые толпы и цепочки серых людей с папахами назад, набекрень. У многих на руках — повязки, знакомые розово-белые куколки, первые вестницы боя. По настилу из прыгающих бревен катились санитарки. Утро пробивалось на дорогу еще косыми, до неправдоподобности розовыми лучами, превращая кору сосен и зелено-желтую бахрому хвои в декоративно разрисованные полотна. Этот невероятный лес, насыщенный людьми и орудиями, походил на балаган-панораму, которая вдруг завертелась сложной каруселью.

Среди раненых шагают здоровые. Они идут, покуривая, часто присаживаясь у корневищ чудовищных сосен, видимо, не зная твердо, что им делать. Иногда деловито проходят какие-то партии людей, нагруженных странным, не военным, добром. Эти идут твердо, показывая из-под ворохов решительные курносые и острые лица. Они правили кратчайшим путем на выход из

леса, пренебрегая казацкими заставами и слухами о репрессиях, которые грозят всем самовольно ушедшим с фронта. Винтовки тащились на буксире, прыгая по бревнам.

Где в немецких позициях они умудрились раздобыть эти пестрополосые матрацы, офицерские одеяла, груды палаточного материала, чемоданы, седла, саквояжи, термосы, примусы и даже настольные лампы?!

Артиллеристы шпалерами стояли у придорожной канавы, провожая пехоту шутками и насмешками.

На рассвете была произведена еще одна атака. Теперь из окопов возвращались полки, только накануне поздним вечером прошедшие лесными тропами на позицию.

На батарее еще не знали исхода новой атаки. На фронте пулеметы продолжали ровную строчку в шумной трескотне ружейных залпов. Минометы глубоко вздыхали то на одном, то на другом участке Кревского фронта. Солдаты говорили разное. Больные и возницы санитарных двуколок подтверждали, что атака состоялась. Конные ординарцы, идущие на резвом аллюре, не снисходили до рассказов. Своих на наблюдательном не было. Вся тяжелая артиллерия молчала, только несколько легких батарей посылали шумные очереди куда-то далеко в тыл германцам, должно быть, по тяжелым батареям.

Горелов опять пришел на батарею и предложил Андрею итти в окопы. Андрей надел портупею, и теперь они оба шли по дороге.

— Вот чего добиваются большевики, — сказал вдруг Горелов Петру и пальцем показал на солдата, изнывающего под тюком матрацов.

Петр стоял, прислонившись спиной к дереву, с руками за спиной.

— А вы где-нибудь читали, что большевики призывают к этому? — спросил он насмешливо. — Это — ваша наука. Но, если говорить правду, лучше тянуть матрацы, чем крошить друг друга. — Он отвернулся.

В это время из лесу вышла окруженная многочисленным караулом партия германцев.

— Пленные? — удивленно крикнул кто-то из артиллеристов. Рокот голосов пошел по дороге. На голоса выбегали из лесу новые люди.

— Гляди, германцы! — удивлялся телефонист Сонин.

— Из-под Крево? Значит, наши работают.

Даже пехотные останавливались и выжидательно пропускали длинную колонну мимо себя. В первом ряду шел великан в светлосером сукне, широкоплечий, грузный, нескладный, видимо мягкий, как немецкая перина. На полном розовом лице смешно и наивно торчали большие золотые очки. Он шел, припадая на одну ногу.

— Сволочей набрали, — сказал, вдруг останавливаясь, маленький пехотинец с мешком.

Эти слова неожиданно нашли отклик у таких же беглецов с фронта.

— А перебить их туда-сюда, гроб, душу... и делу крышка! — сказал ровно, без злобы, какой-то бородач.

Маленький солдатик, неожиданно для всех, подкатился к великану и пятерней снес с его переносицы очки, а другой рукой ударил в брюхо.

Великан остановился, беспомощно выставил ладони вперед, но сразу же закрыл ими зардевшееся лицо. Он полагал, должно быть, что пришел его последний час.

Среди немцев поднялся ропот. Но колонна и теперь стояла, не нарушая рядов. Караул ничего не предпринимал в растерянности.

Маленькому хулигану понравилась его выходка.

— Ах ты, стерва! — Он еще раз ударил по лицу великана и в ту же минуту отлетел в яму. Петр, внезапно сорвавшись с места, отбросил солдата и подал немцу упавшие в песок очки.

Рассвирепевший солдатик хотел было броситься на Петра. Уже поднимаясь с земли, он осыпал его матерной руганью.

Пехотинцы, побросав свои ноши, окружили артиллериста.

— Ты что, шкура, лапами мотаешь?—закричал один.

— Бей его, мать богородицу! — поддержал другой.

Солдатик уже наступал, неся впереди кулачонки.

Петр не двигался с места. Артиллеристы не знали, итти ли им на помощь товарищу, или ждать, что будет дальше.

— Брось, ребята, — раздался с легкой хрипотцой голос Петра. — Чего взъелись? Сами на фронте братаетесь, а тут вдруг с безоружным войну затеяли.

— А тебе, сука, жаль, что братаемся? Это вы, барбосы, шрапнелью по нас жарите? — кипятился бородач.

— Ты угол-то нашил? Покажи, сволочь. Ударничек! Я тебя ударю по сопатке.

— Изобьют его, — сказал Андрей. — Надо выручить.

— С ума вы сошли? — удержал его Горелов. — Офицерская помощь! Уж тогда они наверное разорвут и его, и вас Это своя своих не познаша. Чорт с ними, пусть дерутся.

Петр медленно двинулся к позиции, плечом раздвигая солдат.

— Пусти, ребята, брось баловать! Вали своей дорогой!

— Стой! — схватил его за грудь высокий усатый солдат в рваной пахахе. — Не унесешь ноги.

Петр отвел руку усача, но уже отовсюду к нему тянулись другие.

— Брось ребята! — Ягода сразу разорвал кольцо рук. Он был на голову всех выше и крепок, как дуб между соснами. За ним толпились артиллеристы — рослые богатыри-сибиряки. — Разгалделись! Нашли ударника, чортовы дети! Большевик он, а не ударник. А что за немца заступился, правильно. Чего пленного бить? А этого малого еще пощупать надо. Подумаешь, — ненавистный какой! Что он за птица, поглядеть надо. — Ягода за воротник взял и едва не поднял кверху глядевшего теперь растерянно солдатика. — Ты, может, тоже за войну до победы?

— Правильно, — радостно закричал вдруг пехотинец с матрацами. — Крой его, мать печенку! Офицерьев

бить надо. Туда, сюда, енаралов, прапоров. Попили нашей кровушки.

Петр уже смеялся.

— Верно, ребята! Мы лучше кулаки поберегем, еще помахать придется. А ты не сердись, парень, что я тебя смазал. Не туда ты нацелился.

Азарт сразу спал. Даже солдатик перестал сверкать глазами и теперь, косясь, озирался на Петра и Ягоду.

— А я его за очки. Чего стеклы вылупил? Пучеглазой? Глядит, как чехоня сонная.

— А может, он свой парень. Что же, что немец? Немцы все пучеглазые. Хоть он и германец, а может, он и сам против войны. Солдат ведь, не офицер. Видишь, в плен пошел...

— Ну, вот видите, — сказал Горелов. — Без вас разобрались. Милые бранятся, только тешатся. В морду плюнут, оботрутся и поцелуются. В привычку. Хамы! — Последнее слово едва процедилось у него сквозь зубы, словно и не вылить было ему все презрение к солдатам.

«Либералы начинают кусаться. Ох, и раздражено же офицерство, — думал Андрей, шагая по песку дороги. — Почти все, без различия оттенков!» И ему показалось таким приятным, что самого его вовсе не захлестывает эта ненависть.

— Как это вас угораздило перетащить в дивизион эту сволочь? — все еще, видимо содрогаясь от внутренней злобы, говорил Горелов. — Вот уж, поистине, паршивая овца все стадо портит.

— А разве вам не нравится его поступок, вот сейчас?

— Только показывает, что — тонкая штука. Но работа, которую он ведет, разлагает дивизион больше, чем все листовки и газетки вместе. Уверяю вас, что если у кого-нибудь в дивизионе есть сейчас настоящая власть, то это у него. За ним идут самые боевые солдаты.

— Но в комитете большинство за эсерами.

— А! Ваши комитетчики хороши, когда все спокойно. А вот вообразите, что начнутся события, — полетит ваш комитет кверху тормашками. И таких сол-

дат из-под своего влияния упустить, как Ягода! Ай-ай-ай! — он покачал головой.

— Какие события?

Горелов смотрел теперь на Андрея, пытая взглядом: говорит он серьезно или шутит, таится.

— Что же вы в самом деле думаете, что все тут так и будет итти. Ни богу свечка, ни чорту кочерга... Что может случиться? Могут немцы начать наступление. Могут союзники перебросить армию в Россию. Могут выступить какие-нибудь силы в стране. Могут солдаты окончательно разозлиться и пойти по домам. Мало ли что может быть. Ко всему надо быть готовым.

— Но к чему именно? Ведь вы имеете в виду что-то определенное...

— Может быть... Вот я и хотел поговорить с вами. Вы все как-то норовите остаться одиночкой. Не понимаю вас, — то ли вы за солдатскую революцию, то ли вы за порядок. Нельзя болтаться между берегами, — надо примкнуть к какому-нибудь лагерю.

— Я не вижу никаких двух лагерей. Не вижу берегов, по вашему выражению. Правда и справедливость бывает то на стороне одних, то других. Я никак не могу заранее сказать, что во всех столкновениях буду на стороне офицеров. То же самое и о солдатах. Вот даже Петр заступился за немца и двинул своего же товарища-солдата.

— Но как же вы не понимаете? — начал кипятиться всегда щеголявший своей сдержанностью Горелов. — Ведь дело не в отдельных случаях... Ну, а в конечном итоге к чему вы стремитесь? К порядку, к устойчивой, твердой власти или анархии? Ведь мы катимся в пропасть!

— Вы принуждаете меня голосовать за порядок. Я ведь не идиот. Разумеется, я за порядок. Но если мне предложат опять режим Николая второго, то благодарю вас за такой порядок...

— Что же, лучше то, что есть?

— Лучше.

— Как можно говорить такие вещи?

— Лучше, потому что из этого может выйти многое: и демократия, и республика, и может быть что-либо совсем новое, а Николай второй — это значит опять кляп в рот всему народу на десятки лет, на всю мою жизнь. Понимаете ли, на всю мою жизнь!

— Но то, что творится... Можно ли вынести? Ведь это же издевательство!

— Не знаю, может быть и издевательство, но, к сожалению, оно заслужено теми, против кого направлено.

— Ну, пошла писать. И голос у вас даже становится печальным. Народнические настроения. К чортовой матери! — вдруг крикнул он так, что шедшие впереди остановились и проводили споривших офицеров глазами. — К чортовой матери! Все мы либеральничали. Все. Все. Не хуже вас... Теперь пожинаем плоды. Каждый хам может плюнуть в лицо!

— Но не плюет.

— Не плюет потому, что еще боится... остатками страха. А завтра — плюнет. Так я хочу застраховать себя от этого позора.

— Можно узнать, как?

— Своему я сказал бы. Но в вас я не чувствую своего. Мне очень жаль. Вы культурный и развитой человек, но вы ни свой, ни чужой. Лучше бы вы были глупее. Ну, как Кольцов или Перцович, но только определеннее. Нет, я очень жалею, но вижу — нам не по пути.

— Даже сейчас, в окопы? — болезненно усмехаясь, спросил Андрей.

— Нет, что ж, в окопы пойдемте... — помолчав сказал Горелов. — Но все-таки жаль, жаль... — Он зашагал молча.

Поле за лесом лежало встрепанное, бугристое, нечистое, как будто здесь разворотили огромную мусорную кучу, рассыпали, растащили по слегка холмистым просторам. Деревушка была разбита снарядами. Торчали белые, обнажившиеся до самой земли трубы. Стены были разодраны взрывами. Вывороченные с корнем и

сломанные деревья, падая, ложились вершинами на крыши, на низко кланяющиеся заборы, плетни лежали в грязи, оборвав ивовые кольца. На улицах не было даже бездомных собак. Солдатские шинели мелькали у брошенных изб, еще больше подчеркивая оставленность этих жилых мест.

Опушки леса походили на заросли осеннего высохшего бурьяна, по которому воинственной стаей прошли ребятишки с деревянными мечами. Деревья-инвалиды стояли над упавшими деревьями-мертвецами. Дороги были изрыты чашами снарядовых ям. Окопы кротовыми и барсучьими норами сложной системой ходов изрезали землю. В окопах за деревней было пусто.

Андрей и Горелов поднялись на руках на бруствер и разом выпрыгнули на западную сторону траншеи. На большом пространстве редкими живыми точками ползали люди. Среди разбитой артиллерией проволоки они походили на осенних мух, которые легкомысленно не замечают паучьих сооружений. Отважная, все преодолевающая походная кухня, западая колесами в провалы воронок, перебиралась напрямик вразрез покинутым неприятелем боевым линиям.

Никак нельзя было поверить, что это — поле сражения, место еще не решенного боя. Кругом было тихо, только за поднимающимся впереди лесом состязались минометы, траншейные пушки и пулеметы.

Спотыкаясь о рваные завитки проволоки, добрались до первой германской линии. Не легко было даже догадаться о том, что еще три дня назад проходил здесь ровно, как выведенный на кальке, аккуратный окоп. Снарядами вспахана была широкая полоса. Земля была взбита, как пыль, на многоколейной дороге среди засушливых полей. Казалось, ее старательно просеяли и уже потом неровно, кучами разбросали по полю.

Ямы помельче, поаккуратнее — это воронки; ямы глубокие, неровные — это остатки окопа или следы мин. Бруствер, доски, крепившие стены, пластины бетона — все это торчало теперь из земли кусками и щепами.

Иногда в глубине узкой щели подозрительно торчал кусок еще ровного, гладкого бетона. Можно было заподозрить, что здесь когда-то было пулеметное гнездо.

В более глубоких щелях группами сидели солдаты. Нельзя было определить, что это за части и с какой целью они засели в этих остатках траншеи. Кое-кто копался в земле, повидимому, что-то выискивая. Человек пять лопатами раскапывали разбитый и засыпанный землей склад или кладовую.

Вторая линия шла по окраине леса. Она и после бомбардировки сохранила свой общий контур, часть блиндажей и многие бетонированные казематы.

Эта линия была наполнена русской пехотой.

Солдаты лениво перекраивали окоп, насыпали бруствер на тыловой его стороне, прорезывали бойницы и обкладывали их земляными мешками.

— Где начальник участка? — спросил Горелов солдата, который стоял, опершись на лопату, мечтательно устремив взор в поле.

Одной рукой солдат зажал клочковатую бороду. Осмотрел офицера с ног до головы и, как будто не слыша вопроса, отвернулся и пошел по траншее.

— Животное! — проскрипел Горелов.

В амбразуре, которая когда-то, видимо, служила выходом в глубокий ход сообщения, на деревянном ящике с надписью «Conserven» сидел прапорщик с усталым, невыспавшимся лицом.

На груди его желто-черной дорожной георгиевской ленты белел серебряный крест с веточкой.

— Скажите, прапорщик, где начальник участка? — спросил Горелов.

— Чорт его знает, — отрезал, не вставая, офицер. — Мы только что пришли.

— Какой вы дивизии?

— Мы не знаем, какого мы корпуса, какой армии, не только дивизии, — продолжая сидеть, буркнул прапорщик. — Здесь не боевая линия, а бардак.

— Чего вы злитесь? — спросил Горелов.

— Потому что не понимаю, зачем нас сюда затащили Какого чорта мы здесь будем делать?

— Вы напали на нас, как будто мы во всем виноваты, — засмеялся, наконец, Горелов. — В чем дело?

— Вы видѐли этот сброд? — показал прапорщик рукой в окоп. — Тут же всякой твари по паре. А нас смешали с пехотой по приказу какого-то комиссара... какие к чорту комиссары? Какой чин у этого комиссара, вы не знаете?

— Ах, да ведь вы сапер, — рассмотрел, наконец, Горелов серебряный погон офицера. — Так вы что здесь укрепляете, окопы?

— Ничего мы не укрепляем. На чорта его укреплять. Тут же впереди Ново-Спасский лес, и он занят. Бабы там, правда, но все равно... Тем более, раз бабы. На чорта же нас сюда пихнули? Какой-то комиссар в автомобиле собирал людей по дорогам. Кричит: сейчас все должны итти в атаку. На грузовиках везли сюда. Сволочи! Согнали пехоты чуть ли не десять корпусов, а когда надо наступать, так народ по человеку собирают по дорогам. А может, я и винтовкой-то не владею.

— Н-да, — сказал Горелов, — понимаю ваше негодование. Действительно, вас используют не по назначению.

— Ну конечно же, — обрадовался прапорщик.

— Вам бы в тылу клозеты строить.

Прапорщик смотрел недоуменно.

— Пойдем, — сказал Горелов. — Что солдаты, что командиры — один чорт.

Он вышагивал теперь по окопу с вытянувшимся от злости и без того острым носом. Идя, он толкал солдат, никому не уступал дорогу. Казалось, он ищет ссоры с кем угодно, какой угодно ценой, чтобы разрядить свое личное настроение, ненавидит даже проволоку и щепы, которые попадаются под ногами...

Окоп сделал поворот и широкой дугой пошел к опушке леса.

В воздухе звенящим следом пронеслись шрапнели.

Андрей остановился.

— Немцы, — сказал он.

Новая очередь прошла над головой и рассыпалась, загрохотала между первой и второй линиями. Серые фигуры поднялись из-под кустов, из воронок и ложбин и побежали по полю.

— Что они здесь делали? — спросил Андрей.

— Мародеры, сукины дети!..

Вдалеке одно за другим стукнуло несколько орудий. Над головой пошли тяжелые снаряды.

— Начинается, — сказал какой-то солдат и стал затягивать пояс, как будто собирался в поход.

Огонь быстро усиливался. Немцы били по всему пространству оставленных ими боевых линий. Солдаты прижимались теперь ко дну, к стенам окопа. Работать бросили. Целыми группами, толкаясь и ругаясь, спешили в глубокое убежище, отделанное бетоном. Два офицера переносили на новое место пулемет, которому нехватало обстрела.

— Пойдем в Ново-Спасский лес, — сказал Горелов. — По крайней мере, увидим, что делается впереди.

Солдаты неодобрительно смотрели, как два офицера в промежутке между очередями выскочили на бруствер и сначала поползли, потом побежали к опушке леса. Шрапнели грозно пели и кракали где-то близко вверху и позади. Воздух ходил свежими плотными струями, как будто его выталкивали из лесу широкими тугими полотнищами. В голове шумело от грохота.

Лес зеленел узкой, но густой полосою. В нем было темно, несмотря на ясное утро, и шумы пробивались сквозь его лиственную шубу измененными и как будто менее грозными. Чуть отступя от опушки, неожиданно, почти миражем поднималась пустынная деревушка. Второй такой не сыскать бы на всем протяжении от линии фронта и до берегов Тихого океана. Она была похожа на искусно выделанную лепную крышку бомбоньерки которую взяли под сильное увеличительное стекло. Из белоснежных веточек березы, из крашеных досок и разрисованных листов фанеры построены были домики, избушки, терема, коттеджи, каждый не

больше четырех метров по фасаду. Между постройками затейливо вились усыпанные крупным желтым песком дорожки. Клумбы кудрявились настурциями, петуньями, табаками и бегониями. Лавочки и столики, казалось, были сооружены для фей. На увитых еловыми ветками воротах — миниатюрах триумфальных арок из ивовых прутьев и белых веточек — были выделаны буквы «Villa Berta», «Villa Maria», «Villa Gretchen»...

Это, повидимому, были офицерские дачки, спрятанные в лесу, у бараков.

Под соснами сидели солдаты.

Офицеры шли прямо на круглившееся за листвой и мерцавшее плавленным серебром солнце.

— Женщины, — сказал, останавливаясь, Андрей.

— Нам ведь говорили, что лес занят женским батальоном.

Андрей и сам прекрасно помнил об этом, но не раз встречал ударниц на дорогах, но до сих пор не представлял себе по-настоящему, что здесь, на вынесенном далеко вперед участке окопов, под огнем минометов сидят настоящие женщины, которые в тылу носят длинные волосы и играют лучистыми глазами, у которых такие хрупкие пальцы рук, женщины, которые боятся молнии и мышей, у которых дрожат колени, когда на дороге встретится тупо жующая корова.

Женщины в коротких и слишком широких шинелях казались солдатами нестроевой роты. Они сидели редкими группами по две, по три и провожали офицеров или вызывающими, или испуганными глазами.

— Что у них здесь, резерв? — спросил вслух Андрей.

— Едва ли, — ответил Горелов. — У самого окопа?

Шли напрямик, раздвигая кусты, круша сапогами ряды папоротника. Иногда по верхним сучьям и веткам щелкали пули. Впереди тяжелыми шагами шли по фронту редкие, но внушительные разрывы.

— Кто это? — вскрикнул Андрей.

У ног его, в густых папоротниках, приникнув всем телом к гниющей коре дерева, лежала женщина в

одной гимнастерке без шинели. Фуражка лежала рядом.

— Что с вами? — нагнулся Горелов. — Вы ранены?

— Н-н-н-ет, — клацали зубы девушки.

— А что же с вами?

— Б-б-б-оюсь...

Разрыв ударил близко, взорвав деревья, рассыпал дождем сухую хвою и поднял вверх лежалые листья. Офицеры инстинктивно припали к ближним деревьям.

— И-и-и-й! — залился солдатик.

— Ну, успокойтесь, — взял ее за плечо Андрей. — Идите в тыл.

— Я н-ниче-е-его, — рыдала сухими, горловыми спазмами девушка. — Я в-ведь ничего. Два месяца... А тут м-мина. Подругу унесло... Рядом. Не могу! — крикнула она вдруг, бросаясь на землю грудью. — Не могу!..

— Нервный шок, — сказал бледный Горелов. — Что с ней делать?

— Идите в тыл, — твердо повторил Андрей. — Вам надо успокоиться. Здесь вы на других будете действовать. Слышите? Сейчас же, быстро в тыл. Вот туда, — показал он пальцем на офицерский городок.

Девушка послушно, заплетающимися тяжкими шагами пошла к опушке леса.

— Дурацкая затея! — выругался Горелов.

Андрей поглядывал назад. Над кустами плыла, качаясь, фуражка и вздрагивали узкие плечики...

Уже в лесу начались наскоро вырытые ходы в третью германскую линию. Она лежала серой полосой в полукилометре от леса. Если бы ее не было видно по взрытой земле и густым заплетам проволоки, то ее отчетливо указали бы встающие один за другим высокие разрывы, столбы дыма, пыли и щеп. Еще не привык взор к этой картине, как Андрей и Горелов, схватив друг друга за руки, сели на песок.

В ста шагах, над взрывами тяжелых бомб поднялся черно-белый веер, и грохот наполнил уши надолго не убывающим шумом быстро бегущей воды.

«Мина, — подумал Андрей. — Зачем мы идем туда?» — защемила надоедливая, все крепнущая мысль.

Горелов долго отряхивал землю с новеньких синих бриджей.

Андрей стоял, полузакрыв глаза.

Из прохода выбежали два солдата, увидев офицеров, метнулись в сторону и исчезли за стволами леса.

— Пошли, — сказал Горелов.

Андрей, согнув плечи, двинулся вперед, как раз туда, где резко, словно с усилителем, тикал пулемет.

Окоп у Ново-Спасского леса был вырыт немцами фронтом на восток. Теперь казалось, что он нарочно сделан такой дугой, середина которой подбегала к лесу. Он, как рыбу, заманивал наступающих в сеть укреплений.

Германские саперы, видимо, имели время на отделку этой укрепленной позиции. Германские же снаряды слегка потрепали бетонную ее одежду, но все же она и сейчас поражала четкостью голых линий, строгим контуром, прямыми углами, под которыми плоскости стен сходились с гладким цементированным полом.

Окоп был неожиданно пуст. У пулеметов, для которых с трудом соорудили прикрытие на задней, теперь фронтовой стороне окопа, возились ударники. Несколько женщин, поджав ноги, комочками сидели на полу у бойниц.

Офицеры прошли по окопу и остановились у края гигантской воронки. Мина развороти́ла окоп, не считаясь с бетоном и строгим рисунком траншей, о котором так заботились строители. Разрушали так же основательно, как строили.

Воронка захватила оба края окопа, разделила его на две части, и офицеры, спотыкаясь о куски вывороченного бетона, о какие-то палки и присыпанную землею проволоку, перешли по ее влажному дну в другую часть окопа. Здесь была та же пустота, редкие винтовки на бруствере и вздрагивающие при разрывах комочки в серых шинелях. Андрей уследил на лицах сидевших здесь женщин тупое равнодушие. Казалось,

они были оглушены и перестали воспринимать действительность.

Солдатской, шумливой даже в окопах, толпы здесь не было. По всему было видно, что настоящая пехота сюда и не доходила. Удивительно было, что немцы отступили и оставили этот окоп в руках таких слабых противников. Эти женщины-ударницы были острием русского наступления. Наступление выдохлось, и острие повисло здесь над пустотой. Победа артиллерии явно не имеет никаких шансов вылиться в победу пехоты, в победу армии. Если в ближайшие часы не придут сюда новые свежие силы, — окоп вернется в руки прежних хозяев.

Женщина, сидевшая на полу по-турецки, вытянула ногу, и изогнувшись колесом и оголившись, расчесывала позади поясницу, как будто никого кругом не было.

Она не перестала водить рукой по желтому прыщеватому телу, когда Андрей заглянул ей в рябое курносое, мальчишье лицо.

Потом она встала, не по-мужски поправила кушак, пряжка которого свисала на боку, щелчком плюнула на стену и повернулась к офицерам спиной.

Немцы методически били по окопам. Звуки разрывов, как по клавишам рояля, переходили от фланга к флангу. Бомбы часто ложились у самого края окопа — должно быть, место было хорошо пристреляно, — земля сползала по стенам, засыпала гладкие полы, но было заметно, что защитники окопа боятся только могучих, как геологический переворот, ударов мин.

Ход в блиндаж был поставлен косо, с таким расчетом, чтобы осколки разорвавшегося в окопе снаряда не могли залететь внутрь. Здесь, при свете свечей, — те же прямые углы и гладкие серые плоскости стен. За столом две женщины и два офицера-ударника наклонились над телефонным ящиком и нервно выстукивали сигналом.

— Штаб Сибирского? Алло!.. Штаб первого Сибирского, — кричала высокая бесцветная женщина с глазами селедки и пальцами ведьмы.

Офицер-ударник принадлежал к числу людей, которые, волнуясь, сразу переходят с уверенного барского баритона на высокий, срывающийся голос, приличествующий подростку. Он что-то доказывал женщинам, которые тупо отрицали все, что он говорил.

— Немцы не наступают потому, что они физически выбиты, уничтожены, — кипятился ударник. — У них по роте на километр. Это же с карандашом в руках можно вычислить. Артиллерия выбила у них здесь несколько дивизий. Здесь некому вести контр-атаки. Нам следовало бы итти дальше.

— Ходили, — угрюмо сказала круглолицая ударница с ефрейторской нашивкой.

— Ну и что же?

— Туда ходили, назад бежали.

— Зачем бегали?

— А нас поддержали? Наобещали огород: и такую дивизию, и такой полк... А как пошли — одни мы и остались.

— Ну, не одни, положим...

— А кто же? Ударники? А кто их видел?

— Ну, это вы зря. Что же, немцы перед вами бежали?

— Немцы бежали от артиллерийского огня, а не от ваших атак.

Ударник поднял голову и, увидев артиллеристов, спросил:

— Вам кого-нибудь нужно, господа?

— Нам нужно начальника участка.

Ударники переглянулись между собою в нерешительности.

— На нашем участке, наверное, командир батальона ударниц. А где он — мы сами не знаем. По телефонам разыскиваем.

— Мы хотели ознакомиться с положением вещей...

— Какое же положение? Никакого, собственно, положения... — Женщина с главами селедки деловито указала офицерам на скамью. — Перед нами нет ни-

кого. Мы впереди всех. Ждем контр-атак. Надеемся на поддержку нашей артиллерии.

— Но ведь мы сюда не достаем, — сказал Горелов. — Ведь артиллерия на старых позициях. Легкие, вероятно, тоже. Может быть сорокадвухлинейные? Надо вам связаться с начальником артиллерии. А кто же у вас на флангах?

— Ничего и никого.

— То есть как так?

— А вот так. Наши доблестные соседи разворовали немецкие окопы и ушли торговать в Молодечно.

— Почему же вы не отступаете?

— Вот все обещают подкрепление... казаков, ударные батальоны... Комиссар звонил, просил держаться. Не можем же мы отступать, если нас никто не гонит...

— Но долго здесь не усидеть, вас перебьют штурмовками...

— Ну, посмотрим, — сказала женщина и опять начала давить нескладными жесткими пальцами сигнал аппарата.

— Пошли к себе, — предложил Андрей.

— Да, — щелкнул Горелов хлыстиком по голенищу сапога. — Здесь делать нечего.

Лес опять гудел взрывами. Позади живой щетиной вставали фонтаны земли. Теперь и во второй линии не было никого.

— Э, да их действительно поддерживает пустота...

Офицеры прибавили шагу. В первой линии работала саперы, разрывая перемолотую снарядами землю.

На наблюдательном сидели Кольцов и Скальский.

— Ну, что? — спросил Скальский Горелова.

— К вечеру все будет кончено.

— Что значит?

— В Ново-Спасском лесу одни бабы, а в первой линии саперы и хлебопеки...

— И все?

— Все.

— Вы на батарею?

— Куда прикажете, господин полковник.

— Зайдите по дороге на передки и отдайте распоряжение, чтоб все было готово к походу. Никаких там палаток, бебехов, сундуков. Чтобы все было этой ночью на колесах. Понятно?

— Андрей Мартынович, по второй батарее то же самое. Слово в слово. Повторять не надо? — сказал Кольцов.

XXIII

ФЕЙЕРВЕРКЕР ТАБАКОВ

«Мои письма к вам Елена, дороги мне тем, что связывают меня с реальной жизнью, потому что фронт я больше не ощущаю как реальность. Но если это сон, то сон тяжелый. В этом — суровый для меня приговор. Я принадлежу к числу людей, которым жизнь за отрыв от нее платит жестоко и немедленно. Иногда я задумываюсь, не возбуждаю ли я искусственно в себе эти переживания. Не слишком ли близко принимаю все к сердцу? Нельзя ли отодвинуть от себя все эти события, пройти мимо них, как обходят случайный пожар и шумящую вокруг него толпу, когда есть свое спешное дело и не хочется даже спросить, чей дом горит и кто поджег его. Но, во-первых, у меня нет никакого своего важного дела. Мне некуда спешить. А во-вторых, я никак не могу вынести этот пожар за скобки своих переживаний.

«Жизни нашей части незачем даже стучаться к нам в двери потому, что никаких дверей у нашего деревянного сруба нет. Мы живем обнаженной жизнью, как клерки американской фирмы, которых от улицы отделяет только зеркальное стекло. Еще это похоже на жизнь большой семьи в одной комнате. От зари и до сумерек — мы на глазах у солдатской массы, на глазах друг у друга. В нашем блиндаже или срубе пять коек. Пять лиц всегда обращены к стенам, как будто посередине курится дымный, колющий глаз костер.

«Третьего дня мне приснился сон. Я никогда не вижу снов. Я сплю крепко, одним массивным куском. Но если

таковы кошмары, о которых рассказывают нервные люди, — то это страшно. Пожалуй, страшнее, чем в жизни. Мне снилось, что я стою на самой вершине Исаакия, на золоченом блестящем шаре, на месте креста. Только одна нога умещается на крохотной скользкой площадке, и ветер рвет волосы и одежду. У меня закрыты глаза, и все мои мускулы до плотно сжатых век исполнены одним желанием — во что бы то ни стало сохранить равновесие. Страшно открыть глаза. Кругом пустота. Внизу тупые, щербатые камни. О такие камни хорошо разбивать бутылки крепкого синего стекла... И никакой опоры. Кровь застывает в пальцах.

«Я проснулся и не испытал счастья от того, что лежу на низкой поскрипывающей койке. На все эти дни у меня осталось впечатление бездны, раскрывшейся у ног...

«Мы стоим в глубокой ложбине, забившись в эту щель, как забиваются насекомые в трещины сосновой коры. Гаубицы глядят в небо, потому что нас отделяют шесть километров от линии окопов. Это, должно быть, для того, чтобы немцы не захватили тяжелую артиллерию внезапно. Передки — рядом в другой ложбине. Две другие батареи — по соседству. Германской артиллерии больше ничто не угрожает, — мы едва достаем вторую линию неприятельских окопов.

«Русской армии больше нет, Елена. А люди русской армии — как муравьи, жилище которых растоптали прохожие и занесло дорожной пылью.

«Они тянутся в разные стороны за случайными вожаками. А я не знаю, к кому примкнуть. Потому что примкнуть так себе, на день, чтобы перевести дух, я не могу и не хочу, а навсегда... Еще нехватает силы...

«Я знаю, что многим покажутся странными мои колебания, что многие уже давно нашли бы себе и товарищей и дорогу, но...»

Перо остановилось. Все это письмо — это слабость, позорная попытка приникнуть к чужому плечу. Но что написать после этого повисшего над пустой страницей

«но»?.. То, что назад нет возврата, то, что впереди нет ни одного маяка, и только смутные контуры осознанных, но все еще каких-то нереальных берегов, которые притягивают только потому, что в бурю тянет всякий, даже самый предательский берег. Елена сейчас полна ненавистью. Эта творческая ненависть формирует ее настроения и родит ту нервную бодрость, которой зажжены сейчас многие женщины падающего класса. Она просто, не рассуждая, ненавидит в громящих помещичьи усадьбы крестьянах — только пьяных мужиков, провокаторов, хулиганов. Чтобы не стыдиться этой ненависти, она отделяет всех этих причиняющих беспокойство ей и ее семье людей от народа, от крестьянства. Народ целиком она инстинктивно не смеет осудить. Ей кажется, что это выпущенные революцией из тюрем бандиты грабят и мстят господам. А народ, конечно, безмолвствует. Но разве можно остановиться на этой мысли здесь, в армии, где до дна кипит и бунтует человечья масса?

Письму суждено было остаться недописанным...

Ударницы ушли из Ново-Спасского леса при первой попытке немцев наступать. Немцы заняли все свои траншеи и спокойно, под сеткой мелкого теплого дождя, восстанавливали боевую линию. Русское командование ждало сильных контр-атак, но неприятель нигде почти не вышел за пределы старых позиций.

Ночью по артиллерийским бивуакам прошла тревога. Телефоны пищали придавленными западней зверьками. Люди извлекали из мешков и чемоданов большие жестяные банки с тонкой резиновой кишкой. Кашляли и задыхались в угольной пыли примитивных противогазовых масок. На рассвете успокоил дождь. Какие газы в дождь!

Тяжелые батареи поспешно отвели на новые позиции.

На пологих холмах гигантскими грибами стояли пни. В падях серели высохшими травами болота. Люди были злы на чечевицу и ржавые, вызывающие жажду селедки.

Лес был милостив и уютен. Это же лысое место, казалось, дано было в наказание. Холм перед батареей вздымался глинистым обрывом. Там, где стояли теперь орудия, вероятно, бурлил по весне ручей. В стене обрыва вырыли норы и изнутри обложили их бревнами. Офицеры спали в своей пещере день и ночь.

Батарея походила на пожарище внешне спокойное, тлеющее, но затаившее в себе возможности неожиданных взрывов. Сюда в злую и пыльную жару пришли вести о Тарнопольском разгроме...

Представители комитета каждый день посещали батарею. Все заседания неизменно превращались в общие собрания. Корпусный комитет, весьма левый, прислал копию своего протеста против введения смертной казни. Предлагал присоединиться к протесту. Шнейдеров сначала растерялся, но на митинге дивизиона энергично высказался против смертной казни. Офицеры робко говорили о дисциплине, о необходимости беспрекословно выполнять приказы правительства. Шнейдеров говорил, не глядя в сторону офицеров, внезапно и неглубоко воодушевлялся. Неожиданно для самого себя он произнес речь о благе жизни, о смертной казни — остатке феодализма и в конце с подъемом прочел резолюцию корпусного комитета. Он предпочел присоединиться к левой резолюции вопреки приказу лидера своей партии, чтобы не потерять авторитет у солдат. Солдаты в ответ на резолюцию кричали «ура».

Андрею же казалось, что все это ни к чему, так как, чтобы казнить всех, кто против войны, кто братается, кто агитирует за мир, нужно было бы обезглавить половину армии. Вся процедура показалась пустой и надуманной, как мещанский, утративший древний смысл обряд.

В палатке командира первой батареи шумно обсуждали новости.

Говорил Горелов.

— Вы недооцениваете, господа, случившегося. У этих болванов были на глазах какие-то розовые очки. Они слетели теперь и... вдребезги. Теперь люди одума-

ются. Но надо, чтобы в армии было кому поддержать эти новые настроения. Наш комитет совершил очередную глупость...

— Д-да, — сказал вдруг Львов, прочитав в углу какие-то листки.

— Дай мне, — потянулся к нему Кольцов.

— Я раньше! — перехватил листки Ладков.

Кольцов двинул Ладкова кулаком в бок.

— Тише, дьявол! — закричал Ладков.

Скальский смотрел на обоих, как преподаватель, который ждет удобного момента, чтобы одернуть шалунов.

Первым сник под этим взглядом Ладков.

— Господа офицеры забавляются, — резко, медлительно и ядовито протянул Скальский. — Удивительная публика! — Он отвернулся.

— Этот приказ, — продолжал Горелов, — надо подхватить. Затем об офицерском союзе... До сих пор мы относились к этой организации несерьезно. Не было, правда, никаких оснований придавать ей какое-нибудь политическое значение. Да и не привыкли мы к общественности. Но сейчас, повидимому, дело меняется. Подпись Деникина и самый тон воззвания...

— О Деникине говорят — он очень дельный, — перебил Ладков.

— А я слышал, что краснобай, и только, — возразил Малаховский.

— Деникин сейчас представляет высшее командование, — сухо перебил Скальский. — Кроме ставки, никто не может сорганизовать офицеров. Вождей выбрать успеем. Важно найти организующую силу, дисциплину. Я думаю, нам нужно, не теряя времени, выбрать делегатов.

— Но ведь здесь не все офицеры. И потом как выбирать? Открыто?

— Что же, офицерам запрещено то, что можно солдатам? — вызывающе поднял голову Скальский.

— А если комитет будет против?

— Какое дело комитету?

— А я, господа, откровенно предупреждаю, — отозвался Шнейдеров, — что на комитете я буду против посылки делегатов и даже сам подниму об этом вопрос.

— Прислуживаетесь! — крикнул Ладков.

— Мои убеждения известны... Не с сегодняшнего дня, — обиделся Шнейдеров.

— На каком основании? — кричал Кольцов.

— Потому, что офицерские организации не нужны. Они неизбежно будут контрреволюционными.

— Союз беспартийных офицеров. Прочистите уши! — кричал Ладков.

— У нас есть общая организация — комитет. Комитеты надо укреплять, — кричал Шнейдеров. — Есть партии...

— К чорту ваши комитеты, — орал Перцович. — Эсеровщина!

— А вы хотите дождаться большевистских комитетов? И дождетесь.

— Лучше большевистские, чем такие б...

— Замолчите вы, щенок!

— А вы — жидок!

— Молчать, — стукнул по столу Скальский. — С вами действительно не сговоришься. Участие в офицерских союзах — наше гражданское право, — обратился он к Шнейдерову, у которого дергалась губа и правое веко. — Вы хотите пустить в ход демагогию!

— Я не буду отвечать, прежде чем меня не обеспечат от мальчишеских и хулиганских оскорблений.

— Вы вызываете на оскорбления, — свирепел Кольцов.

— Перцович погорячился, и мы осуждаем его, — сказал Скальский.

— Ну, это другое дело. Я удовлетворен, — сказал Шнейдеров.

— Но вы не правы, срывая нам связь с нашей профессиональной организацией. Наконец, нам самим до сих пор досконально неизвестен характер этого союза, а познакомиться с ним мы должны. Мы пошлем человека неофициально.

— Это другое дело.

— Значит, вы не возражаете?

— О человеке я ничего не знаю... — уклонился Шнейдеров. — Но выборы, это знаете... — он развел руками, сделав чрезвычайно серьезное лицо.

— Ну, так и решили, — сказал, вставая, Скальский.

Листок попал, наконец, и к Андрею. Это был призыв участвовать в офицерском союзе.

— А что ударные батальоны? — спросил Архангельский.

— А вы что, собираетесь в ударники?

— А может быть и так.

— В городки надоело играть?

— С ударными батальонами чепуха получилась, — сказал Малаховский. — Мне брат писал. Он в штабе фронта (о высоком назначении брата Малаховского давно знали все). Брусилов высказался за набор ударников в тылу, а Алексеев за выборку лучших частей из всех армий. Ну, и пошли неполадки.

— Безобразие! — выругался Кольцов.

— А я вам дополню, — заявил Шнейдеров. — В тылу пробовали набирать — никто не идет.

— Довольно политики! — тяжело уронил Скальский.

Офицеры выходили из палатки.

— Я бы ему морду набил! — слышался голос Перцовича.

— Я ведь всегда стремлюсь к установлению внутреннего мира, — бубнил в палатке Шнейдеров, оправдываясь перед Скальским, — это — единственная моя цель, но, согласитесь, нельзя же строить новые отношения на барском...

Вокруг палатки бродили солдаты. Иные очевидно прислушивались к разговорам офицеров, не стараясь скрыть свое любопытство...

На батарею Андрей шел один. В передках сам оседлал коня и поскакал к станции. На дорогах было людно, как у старых посадов перед храмом или ярмаркой. Люди были отмечены тоской бездеятельности, которую усиливала прикованность к месту. Скучаю-

щие солдаты встречали и провожали проезжих прибаутками. Дымные костры теперь были откровенно выброшены на самые обочины дорог. На Андрея глядели черные, голубые, серые, больше не прячущиеся глаза. Изредка отдельные солдаты лихо козыряли, и не всегда можно было понять: издевка ли это, или же стремление подчеркнуть свою преданность старому уставу.

На беленом одноэтажном здании на фанерной дощечке надпись: «Корпусная библиотека», и маленькими буквами ниже: «Партия социалистов-революционеров». Андрей привязал лошадь к столбу и вошел в светлую, с окнами в три стороны, комнату. У двух ничем не покрытых столов, слушая оратора, сидели люди. Они лениво чертили карандашами на столах и бумажках или вертели в руках брошенные в беспорядке брошюры и книги.

Сидевший у входа солдат шопотом спросил Андрея:

— Вы делегат, товарищ?

— Нет, нет, — смущенно метнулся Андрей к двери. Я думал... библиотека...

— Пожалуйста, пожалуйста, — перебил его какой-то офицер. — У нас открыто.

Андрей, чтобы не мешать, быстро опустился на скамью.

Сначала он был захвачен врасплох, затем им овладело любопытство. За все время с февраля ему не случалось бывать на собраниях в корпусе или в армии.

Через пять минут ему стало ясно, что здесь заседает корпусный комитет эсеров.

Председатель — врач, еще два-три врача, четверо солдат, остальные офицеры.

Все без исключения говорили красно. Каждый чувствовал себя оратором и про себя любовался своим искусством. Каждый хотел во что бы то ни стало сказать не так, как говорил предыдущий оратор.

Лучше всех говорил врач-председатель.

— Революционная демократия под ударом. Приказ о смертной казни навязан временному правительству генералами. Это не секрет. (Так всегда выгоднее пре-

поднести новость.) Ставка в лице главковерха Корнилова потребовала введения смертной казни. Ставка расписалась в своем бессилии найти общий язык с солдатскими массами. Партия эсеров не согласна с репрессиями, продиктованными генералами Только укрепление комитетов на основе роста революционной демократии, на основе дальнейшего сближения между солдатами и офицерами может вернуть армии боеспособность.

— Говорите за себя... Партия вас не умолномочивала, — раздался голос из угла.

Черная борода разметалась на мятых лацканах шинели. Глаза-угольки, маленькие, но острые. Погон солдатский.

— Сиди, Черняев!

«Фамилия подходит» — зачем-то подумал Андрей.

— Временное правительство поступило правильно. А Керенский — лидер эсеров, прошу не забывать!

— К порядку! — постучал вставочкой по столу председатель.

— Черняев дело говорит. Довольно демагогии! — раздались голоса.

— Я имел в виду левую группу эсеров...

— Так ты так и выражайся, а то...

— Считаю, что нам необходимо провести по всем комитетам разработку вопросов о братании, о воинской дисциплине, о смертной казни, о дисциплинарных судах. Мы против генеральских репрессий, но мы не сумасшедшие, мы не за развал фронта Мы знаем, что необходимы героические меры. Но надо понимать, обстановка изменилась, и работать надо всем, и солдатам и офицерам, в новых условиях. Сочувствие к партии эсеров велико, но мы до сих пор организационно не охватили тех сил, которые идут за нами. Офицерская и солдатская интеллигенция должна вся быть с нами. Каждый честный офицер, если он не монархист, пойдет за нами. Мы должны развернуть систему учебы...

Двое, офицер и врач, выступили за немедленное вос-

становление дисциплины и за смертную казнь. Офицер захлебывался, описывая бесправие фронтового офицерства, двусмысленное положение его в той же среде, где оно еще несколько месяцев назад пользовалось неограниченной властью.

— Армия останется без руководства. Скоро начнется бегство офицеров с фронта! — кричал он.

— Оно уже есть. Где вы были? — спросил с места другой офицер.

Солдат говорил тихо, но внушительно:

— Конечно, дисциплину восстановить теперь трудно. Может быть смертная казнь и необходима, но на деле восстановить ее не удастся. Одно раздражение. Никто ведь не станет стрелять в своих.

— Ну, за этим дело не станет, — возразили с места.

— Тогда солдаты не дадут. Они не позволят даже арестовать. Если мы будем стоять за смертную казнь, мы восстановим против себя весь фронт.

— Так ты за или против? Не верти хвостом. Говори прямо.

Солдат посмотрел через серебряную оправу очков вниз на сидевшего рядом. Можно было без ошибки сказать, что это бывший сельский учитель.

— Мы не можем пойти в рознь с солдатской массой. Это для нас смерть. Мы должны высказаться против и постараться найти иные пути к оздоровлению армии.

— Тех же щей, да пожиже влей.

— Вы предаете армию! — крикнула борода.

— Где же поддержка временного?

Председательская вставочка показалась Андрею символом существующей власти. Она стучала тоненько, слышно, но не внушительно.

— Мы теряем с вами общий язык, — бросил в угол, где сидела борода, председатель.

— Давно потеряли, — спокойно согласилась борода.

— Мы спросим фронтового офицера, — предложил вдруг сосед Андрея.

— Правильно! — доверчиво поддержала борода.

Андрей вдруг оказался в центре внимания.

— Что вы думаете по поводу всего этого, прапорщик?

Андрей уже давно был зол на обе стороны. Одни хотят ввести смертную казнь, словно можно казнить полармии. Другие против репрессий, но рассчитывают на восстановление боеспособности армии, на офицерство, на интеллигенцию, на чудо...

— Меня застали врасплох. Я не оратор и не политик. Я здесь вижу две точки зрения, и если вы хотите честное мнение фронтовика, то думаю, что и те и другие не правы. У солдат есть свои мысли и крепкие желания. У офицеров — свои. Ваши мысли не сходятся ни с солдатскими, ни с офицерскими.

— Вы хотите сказать, что все офицеры — монархисты, а солдаты — большевики?

— Я хочу сказать, что в живой армейской среде я не вижу ваших союзников.

— А вы сами кто? — вызывающе крикнул, сверкая пенсне, молодой врач.

— Я — беспартийный офицер. Я вам не навязывал своих мыслей. А вы уже действуете окриком.

— Тише, тише, дайте говорить человеку!

— За нас голосует миллион солдат.

— Может быть. За наступление тоже голосовали.

— Это наглость!

Андрей был спокоен. Это враг не страшный.

— Вы говорите об офицерстве, об интеллигенции... Не все офицеры монархисты. Накануне революции монархистов была горсть. Но сейчас офицеры ищут, и если они найдут, то это не будет партия Керенского. Ни два, ни полтора...

— Вы наверное большевик.

— Ну, знаете, даже я, беспартийный, о большевиках знаю больше вашего.

Андрей сел. Враждебными глазами глядели все эти люди. Но смотрелось им в глаза легко и просто. Сквозь железную решетку даже дети спокойно смотрят в злые мигающие глазки зверя. Здесь решетку заменяет бессилие... С солдатами так не поспоришь

— К делу, товарищи! — застучал доктор. — Прапорщик, кажется, не уполномочен представить здесь все фронтовое офицерство. Поэтому, полагаю, не стоит тратить столько времени и красноречия. Вы артиллерист? — обратился он к Андрею. — Нашего корпуса?

Андрей сам назвал часть и фамилию и вышел.

Через три дня на позицию прискакал какой-то офицер, привязал коня к одинокому дереву и вызвал из блиндажа Андрея.

Андрей с удивлением узнал в приехавшем соседа по эсеровскому собранию, который, собственно, и спровоцировал его на выступление.

— А я к вам, — сказал он Андрею.

— Чем могу служить?

— Видите ли, у нас в Полочанах организуется солдатский университет. Я являюсь его руководителем. К сожалению, у нас очень мало культурных сил. Там, на собрании, мне показалось, что вы могли бы помочь нам. Так вот соглашайтесь, сначала в принципе, а потом поговорим, что и как.

— А как же батарея?

— Пустяки. Мы отзовем вас через корпусный комитет.

— Отказываться от культурной работы я, разумеется, не стану, но лучше было бы установить какие-то дни, в которые я буду приезжать... Если не будет боев, разумеется.

— Жаль. Мы думали, вы отдадите нам все время и займете одно из руководящих мест.

Андрей был поражен. Ему казалось, он оставил в комнате эсеровского собрания только врагов. «Большевики так бы не сделали» — невольно подумал он.

Горелов уехал в Минск. Офицеры знали, что из Минска Горелов постарается пробраться в ставку, чтобы здесь из первоисточников узнать о судьбах и планах офицерского союза.

На другой день офицеров пригласили на собрание комитета. Повестка была отщелкана на машинке без интервалов. отношение к приказу о дисциплинарных судах, вопрос об отпусках, текущие дела.

— Почему вдруг такая повестка? Что это Шнейдеров проснулся? — спрашивали офицеры.

— А вы обратили внимание на текущие дела? Посмотрите. В этом — вся соль. Остальное — высшая политика Табакова и Шнейдерова.

В текущих делах значилось:

а) связь с корпусной библиотекой и

б) командировка поручика Горелова.

О судах и о смертной казни опять горячо и долго говорил Шнейдеров. Получилась проповедь с текстами, цитатами и призывами. Резолюцию Шнейдеров составил резиновую: за суды и необходимость повышения боевой дисциплины, но против смертной казни.

— Резолюция, как всегда, паршивенькая, — сказал с места Петр. — Хорошо, хоть против расстрелов протестуете...

К вопросу об отпусках отнеслись внимательнее. Отпуска были запрещены правительством Керенского еще во время подготовки наступления. Это запрещение едва не взорвало солдатскую массу. Многие части так и не выполняли приказа. Комитет дивизиона постановил приказ выполнить, но торжественно обещал солдатам, как только наступление кончится, добиться увеличения нормы вдвое.

Табаков попробовал было отстаивать приказ. Наступление-де не состоялось, но приказ не отменен. Может быть временное правительство еще надеется на успех на северном фронте...

— Сядь, заткнись! — крикнул Багинский.

— Уже наступили, — поддержал Берзин.

Стеценко потребовал немедленной отмены приказа. Отпуска — это обмен революционным опытом между тылом и фронтом. За отпуска солдаты будут драться.

— Верно! — кричали набившиеся в избу возбужденные солдаты. — Какого чорта? Гони по десятку от батареи!

Порешили просить комитет корпуса отпуска возобновить. В корпус послать копию протокола собрания.

К концу заседания в помещение комитета вошли ко-

мандир дивизиона, Скальский и группа офицеров. В окна глядели со двора солдатские головы.

— О командировке поручика Горелова буду говорить я сам, — заявил председатель Шнейдеров. — Случай неприятный, но комитет никак не может уклониться от обсуждения этого вопроса. Многочисленные запросы солдат, полученные комитетом, показывают, что батарейцы глубоко возмущены поведением командования, и долг комитета внести в это дело ясность и добиться восстановления взаимного доверия между солдатами и командным составом дивизиона.

— Ближе к делу, — сказал кто-то из офицерской группы.

— Все в свое время, — поднял руку Шнейдеров. — Мы сейчас отказываем солдатам в отпусках, несмотря на то, что у солдат дома хозяйство, семьи...

— Верно! — загудели углы комнаты.

— ...и в то же время офицеры, военные профессионалы, разъезжают без дела, без пользы для обороны.

— Ну, это как сказать, — произнес тот же голос.

— Говорите громко, господа, — обратился к офицерам Шнейдеров. — Вы хотите сказать, что Горелов поехал не без дела. Так, что ли? Тем хуже, господа, тем хуже. Вот об этом, собственно, мы и поговорим. Я буду говорить, как всегда, прямо: солдаты подозревают, что Горелов отправлен для связи в офицерские фронтовые организации, а оттуда проедет в Могилев, в ставку. Так не хотите ли вы сказать, что солдаты правы в своих подозрениях?

— Верно. К золотопогонным барбосам! — крикнул кто-то за окном.

— Нельзя ли все-таки без оскорблений! — потребовал Перцович.

Шнейдеров оставил его реплику без внимания.

— Офицерство дивизиона, — продолжал он, — должно очиститься перед солдатами в этом обвинении. Мы просим командира дивизиона рассказать нам, куда и зачем откомандирован поручик Горелов.

— Пожалуйста, — улыбнулся полковник. — Я бы,

собственно, мог этого и не делать. Поручик Горелов получил от меня задание оперативного характера. Но, чтобы не создавать совсем уже лишних трений, как это любят делать некоторые неспокойные люди, я скажу. Горелов командирован на основании приказа по армии во фронтовую школу летчиков-наблюдателей, чтобы установить на весь летний период способы и последовательность прохождения специальных курсов для артиллерийских офицеров-наблюдателей, в чем ему и выдано соответствующее удостоверение. Все. Надеюсь, собрание удовлетворено моим объяснением полностью?

— Нет, не полностью, — заявил Петр.

— Я вам не давал слова, — перебил его Шнейдеров

— Ну, дайте!

— Пожалуйста.

— Мы, конечно, не можем доказать сейчас, что поручик Горелов поехал в Минск и Могилев с целью связаться с офицерскими контрреволюционными организациями, хотя мы уверены, что это так. Но если офицеры дивизиона действительно ничего общего не имеют с реакционным союзом офицеров при ставке, то пусть они здесь в письменной резолюции, которую мы напечатаем в армейской газете, заклеймят контрреволюционную работу союза.

— Ничего мы клеймить не собираемся, — крикнул Архангельский.

— Кажется, право на участие в общественных организациях у офицеров не отнято, — сказал полковник.

— Кроме монархических и контрреволюционных.

— Союз офицеров — не монархическая организация. Это организация, единственная цель которой — защита профессиональных прав офицерства с целью укрепления обороны страны.

— И потому союз за смертную казнь для солдат, за войну до победы в пользу союзников, за распродажу русской крови оптом и в розницу!

По стенам и у окон среди солдат загорелся и нарастал ропот.

— Солдат не даст! — раздался голос телефониста Григорьева.

— Прапорщик Шнейдеров, Стеценко здесь, по обычаю, разжигает страсти, — закричал Ладков, — а вы молчите!

Председатель засуетился.

— Вернемся к делу, товарищи. Я предлагаю все-таки потребовать у командира дивизиона документальных подтверждений о цели командировки поручика Горелова. Что же касается участия в офицерском союзе офицеров дивизиона, то мы еще раз подтвердим наше старое постановление, что солдаты и революционные офицеры не рекомендуют никому из господ офицеров участие в контрреволюционном союзе при ставке.

— Этого мало! — крикнул Стеценко.

— Что же вы предлагаете?

— Предлагаю объявить изменниками делу революции и всей стране всех, кто вступит в сношения с офицерскими контрреволюционными организациями ставки.

— Это слишком, — сказал полковник

— Я думаю, это лишнее, — подтвердил Табаков, глядя на командира.

— Не лишнее, — крикнул Ягода.

Шум захлестывал комнату.

Шнейдеров поднял руку и закричал изо всех сил:

— Товарищи, мы в нашей части живем не так, как живут в пехоте... и это очень хорошо...

— Плохо, — перебил Стеценко.

— К порядку, — звонил председатель. — Рознь и внутренняя вражда — не на пользу родине.

— Верно, — кричали одни.

— Я ставлю на голосование: кто за мое предложение, кто за предложение Стеценки? Голосуют только члены комитета.

Большинство было за предложение Шнейдерова.

— Солдаты примут свои меры, — крикнул Стеценко.

— Не вызывайте нас на репрессии, — грозил Шнейдеров.

— Всех не перестреляете! — кричал Багинский.

Заседание накалило атмосферу в дивизионе. На батареях в тот же вечер долго шумели, несдерживаемая брань неслась к офицерскому блиндажу.

На второй батарее после чая Клементий Горев, окруженный солдатами, читал вслух брошюру о партии анархистов-индивидуалистов. Федоров, забыв свое обычное охальничество, смотрел ему в рот. Анархические идеи очень нравились ему в части отрицания всякой власти, но дальше начиналось что-то непонятное. У большевиков яснее. Стеценко курил рядом, посмеивался и поплевывал. Он никогда не слыхал, как относятся большевики к этой партии, но уже инстинктивно вооружался против теории, которая шла вразрез с теорией Маркса и Ленина, этим замечательным учением, которое подарило ему ясность мысли и уверенность в действиях. Больше всего Петра интересовали впечатления солдат.

Вечером при кострах Стеценко собрал своих в ближнем лесу, и здесь еще долго продолжалась шумная беседа о последних событиях. Больше всего доставалось Шнейдерову: «Вертит парень и нашим и вашим, — сорвется».

Во всех офицерских помещениях также на все лады выругивали Шнейдерова. Считали, что он не должен был поднимать дело о Горелове. Выходит, при Шнейдерове ни о чем нельзя говорить. Кроме того, получился явный подрыв дисциплины.

Андрей не принимал участия в разговорах Перемогаясь какой-то внутренней болью, он чуждался людей и часто отсутствовал, пользуясь установившимся на фронте затишьем.

В конце июля кадеты, члены Государственной думы, выступили с правым заявлением. Комитет по инициативе Шнейдерова собрался, чтобы осудить это выступление. Офицеры в заседании не участвовали. Это было первое целиком солдатское заседание комитета. Один Шнейдеров блистал золотыми погонами

— Ничего святого не осталось! — внезапно воспылав любовью к российскому парламенту, говорили офицеры

о революции, в которой Дума была названа «гнездом черных воронов-стервятников».

Командир дивизиона представил в комитет копию выданного им Горелову командировочного удостоверения. Табаков объявил дивизиону, что постановление собрания выполнено, и командир дивизиона, как хороший боевой товарищ, оправдался перед солдатами.

Горелов был предупрежден об инциденте выехавшим ему навстречу в Молодечно кольцовским вестовым Станиславом. Он с приятной улыбкой вошел в избу, занятую комитетом, и тоном официального рапорта доложил о выполнении возложенного на него командиром дивизиона поручения.

Шнейдеров чувствовал себя неловко, зато Табаков лихо крутил усы и явно гордился своей позицией.

Горелов весь день ходил со свитой. Офицеры один за другим пытались узнать у него «хоть что-нибудь». Но солдатский глаз был на-чеку, и негде было собраться.

К вечеру почти все офицеры собрались на третьей батарее.

В дивизионе считалось, что солдаты «любят» командира батареи Малаховского. Он и прежде был нетребователен и никогда не наказывал солдат. Старший офицер Горелов все еще пользовался репутацией деликатного, сдержанного, культурного офицера. Поэтому атмосфера на третьей батарее была легче. К тому же к третьей батарее принадлежали руководители комитета — Шнейдеров и Табаков.

Решено было устроить выпивку. Кто может препятствовать господам офицерам пить в своей компании?

Звать или не звать Шнейдерова — обсуждали долго и бурно.

— Позвать, — настаивал Горелов. — У меня такие новости! Кого угодно ошарашат. Пусть послушает.

— Ерунда, — резал Скальский. — Пустить заведомого шпиона...

— А кому он донесет?

— Теперь смолчит, потом использует.

— Ну, и что же?

— Ребячество!

Порешили на том, что позовут Шнейдерова и Табакова и сделают вид, будто быстро опьянели. Шнейдеров уйдет, — он не любит пьяной компании, и все будет ладно.

— А Табакова напоим.

— Да это в сущности — существо безвредное.

— Берусь уложить в двадцать минут! — кричал Ладков.

— Доверяем и кооптируем, — кривлялся Перцович.

— А я кстати кое-чего привез, — похвастался Горелов.

Он вселял бодрость в товарищей. Его походка стала еще легче. По-молодому стучали каблуки и звенели шпоры. Нельзя так ходить, если на душе невесело. Значит, новости хороши. Разве в этом хаосе не может, наконец, появиться что-нибудь новое, поворотное?.. Горелов вел себя дипломатом. Он обошел на своей батарее все блиндажи орудийных номеров, рассказывал солдатам какие-то тыловые анекдоты, угощал монпансье из бумажного кулька, из резинового кисета насыпал сухумский желтый табак в солдатские трубки и крутелки. Он еще раз напоминал канонирам, что он — Горелов — всегда был либеральным офицером, любимцем солдат. С Табаковым он долго ходил вдоль орудий взад и вперед. Руки у обоих заложены за спину, и всякому было понятно, что офицер и видный комитетчик говорят на самые серьезные, политические темы.

К вечеру Табаков был убежден, что лучше Горелова в дивизионе офицера нет. Даже Шнейдеров, хотя он и партийный эсер, все-таки не так подходит к солдату, как Горелов.

— Чего офицеры радуются? — спросил Стеценко Станислава.

— Я не вем. Я мысли же работы нема. На наблюдательный не ездят, а поручик Горелов привез ведро вудки. Запьют на неделю.

Петр недоверчиво пожимал плечами. Он попрежнему

был убежден, что офицеры не будут спокойно сидеть и ожидать, покуда революция слопает все их привилегии без остатка...

Андрей остался на батарее дежурным. Ему не хотелось в пьяную компанию, и его не уговаривали. К тому же в одиночестве можно было попытаться закончить письмо к Елене.

В третьей батарее офицерская палатка стояла в глубине скудной, порубленной рощи, недалеко от крохотной деревушки, к которой приткнулись блиндажи орудийной прислуги. Но офицеры решили, что собираться в палатке не стоит. Все-таки материя — не стена. Решено было пустить под пьянку избу, в которой заседал комитет и постоянно жил один Табаков.

Командир дивизиона на пьянку не пришел. Он был осторожен, трезв и хитер пассивной, не смелой, не лисьей, а медвежьей хитростью. Горелов сделал ему наедине особый доклад. Полковник хмыкал, мял в руках давно потерявший форму засаленный порт-табак и ковырял во рту противной желтой зубочисткой. Не сказав ни слова, он поблагодарил Горелова и попросил рассказать ему, какое впечатление произведет сообщение о поездке в ставку и Минск на офицеров.

— Чорт его знает, — говорил Горелов Скальскому, сидя рядом с ним за составленными столами. — Не то наш командир — обыватель, не то ведет какую-то свою игру.

— Ну и чорт с ним, — сказал Скальский. — Мы о нем душой болеть не будем. Сообразит — примкнет. А не успеет — поплетется в хвосте. Тридцать лет офицер! Куда ему еще податься?.. Производство затянулось... Вот он и дуется на весь свет. Словом, чорт с ним!

Табаков пучил глаза и говорил то Перцовичу, то Ладкову что-то умное о новом солдате и о том, как ему дивизион доверяет.

— Захотел бы я, поссорил бы офицеров с солдатами, раз. два... Как в пехоте. Повернуться боялись бы. А за Табаковым как за каменной стеной... И солдаты как за каменной стеной... — спохватился он. —

Я — за солдатский интерес. Потому, я, как призван на действительную, и сверхсрочно по мобилизации... Я солдатское житье до дна выпил. А эсеровская партия нас учит...

— Пей, батя, пей, Петр Кириллыч! — говорил Ладков. — У нас на Кубани...

— Ты — хороший парень, — трепал его по плечу Кольцов. — Ты — лучший друг.

— Я за справедливость! За землю и волю! — говорил, хлебая горячую жижу и морщась, как от внутренней боли, Табаков. К нему беспрерывно тянулись офицерские рюмки. Он был взволнован и счастлив, и только одного нехватало...

— А где же Багинский, Орлов? Что это они запаздывают? — оглядел он комнату и заорал вдруг по направлению к двери: — Станислав!

— Ушел Станислав. За папиросами в лавочку я его послал, — поспешил Кольцов.

— Ну, Петр! Степан! лодыри, сукины дети! — не унимался Табаков.

— На кой чорт тебе вестовые, Петр Кириллович?

— За комитетчиками послать. Чего же я один?.. Пусть все наши... Одной семьею...

— Вот дьявол, сорвет всю музыку! — ругался Горелов.

— Да и неудобно мне одному...

— А мы сейчас пошлем, — сказал Перцович. — Я схожу за вестовым.

— Ну, хоть бы Багинский или Орлов, или кто ближе...

— Пей, Кириллыч! — потянулся к нему Малаховский. — Знаешь, как у нас на Украине пьют?

— Как у вас, так и у нас, так и на Украине... допьяна, — скептически возразил Табаков.

— Нет, у нас не так. Вот смотри!

Малаховский поставил рюмку на стол и, обращаясь к ней как к живому лицу, склоняя голову то направо, то налево, говорил:

— А як же вас звать?

И сам другим голосом отвечал за рюмку:

— Оковыта.

— А з чого ж вы зроблени?

— С жита.

И вдруг крикнул:

— А в тебе пачпорт е?

— Нема.

— Так ось тоби тюрьма!

Он зубами ловко захватил рюмку и мгновенно опрокинул ее, не захлебнувшись, прямо в горло.

— Браво! — закричали офицеры.

— Ха-ха-ха! — раскатывался Табаков. Он чувствовал, что спектакль — специально для него, и гордился. — Веселый народ охвицеры!

— А ты видел, как пьют сумские гусары? — спросил Ладков.

— Нет, — заинтересовался Табаков.

Ладков мигнул Архангельскому — и тот принес из кухни два огромных стакана. Стаканы налили до половины водкой и ромом, подлили коньяку, залили все это пивной пеной.

— Это, брат, медведь бурый, злой и хмурый! — причитал Ладков. — Вот я его залпом хлебану и ничего. А тебе не устоять.

Табаков осмотрел тонкую фигуру офицера с ног до головы, расправил плечи, расчесал усы, а потом прищурил глаз.

— Я твою водичку хлебану. А ты потом мой заказ выдержи.

— Идет.

— На что?

— На бутылку коньяку и красненькую.

— Идет. А если нижний чин офицера обыграет? — хитро говорил Табаков.

— Какие теперь нижние чины! — сморщился и улыбнулся одновременно Ладков.

— Это верно, — согласился Табаков. — Ну, лей ведмедя!..

Табаков лежал на своей койке и дрыгал отяжелевшими ногами, распевая:

Служили два товарища
В одном и тем полке...

— Хорошо — не у нас, пришлось бы на свою койку пустить, — говорил Малаховский, глядя на захмелевшего комитетчика. — Грязное животное!

— А я, чорт, воды с пивом нахлебался, — жаловался Ладков. — Вот мерзость!

— А ловко я налил? Чистое дело марш! — хвастался Архангельский.

— Ну, довольно, — скомандовал Скальский. — Перцович, берите гитару и барабаньте что-нибудь у окна. А вы пойте вполголоса. Пусть думают — загрустили. Дарьял там какой-нибудь, что ли... А вы укладывайтесь в десять-пятнадцать минут. Нас агитировать не нужно.

— Прежде всего позвольте доложить, — начал вполголоса Горелов, — что и в Минске, и в ставке говорить рядовому офицеру не с кем. Все опасаются. В офицерском союзе — разброд. Часть офицеров вступили в союз с наивной идеей, что это всего лишь, как они там говорят... ну, профессиональная организация. На открытое выступление такие не пойдут. И вообще решено до поры до времени не раскрывать карт. Я с трудом связался в ставке с настоящим работником союза. Со мной сначала и говорить не хотели, и только после того как я нашел знакомого штабного, кое-что рассказали. Развал в армии — не секрет для ставки. Ставка получает, хотя и нерегулярно, сводки из армий. Мне показывали кое-что. Так я вам скажу, у нас в дивизионе — это еще благодать. Я даже не знаю сейчас, есть ли еще у нас армия. В одном полку начался бунт после того, как командир полка потребовал от солдат итти на походе в ногу. В шестьсот семьдесят втором полку солдаты бомбардировали бревнами офицера. В двести восемнадцатом полку избили офицера, который приказал перебросить к немцам плакаты о взятии

Галича войсками генерала Корнилова. В Краснохолмском полку убили подполковника Фрейлиха, который отдал приказ итти на работу. В двести девяносто девятом Дубенском полку убили командира генерал-майора Пургасова. Имел Георгия и оружие, пробыл на фронте с начала войны Пургасов не потерпел бунта в двух ротах, сам пошел усмирять солдат и погиб. Его прикололи штыками. И таких случаев тысячи... На всех фронтах и во всех армиях... Боевые приказы, как правило, обсуждаются на митингах. В тылу не лучше. На железных дорогах чорт знает что. Офицеры прячутся, боятся выходить на узловых станциях. На станции Калинковичи недавно были убиты три офицера. Офицерский союз послал протест правительству. В Ржеве местные команды разграбили склад, роспили и распродали двадцать пять тысяч ведер водки. Беспорядки продолжались несколько дней. В Курске, Уфе тоже какие-то эксцессы Мало того, сейчас уже бьют не только офицеров, но и комитетчиков Вы слышали, что наш комиссар, первого Сибирского корпуса поручик Романенко, поехал приводить в повиновение пятый и восьмой Сибирские полки и получил пулю в спину.

— Этому так и надо, — дернул струны Перцович. У него уже давно не получался задумчивый Дарьял. Струны рокотали что-то свое, далеко не мирное.

— Зря говорите, он горячо боролся за смертную казнь. И вообще самым тупоголовым, — продолжал Горелов, — стало, наконец, понятно, что так дальше продолжать нельзя. Кое-чему научило июльское вооруженное выступление в Петрограде. Словом, теперь правительством взят новый курс. У власти в ставке теперь генерал Корнилов. Один из немногих генералов, способный на настоящие дела. Савинков, хотя и эсер, но многие офицеры ставки относятся к нему с уважением Смертную казнь вводили по его требованию.

— А кто будет расстреливать? — тоскливо спросил Ладков.

Скальский председательски поднял руку.

— Найдутся. Словом, сейчас и сам Керенский скло-

няется к крутым мерам. Говорят, в новое правительство опять войдут кадеты, твердые требования которых будут приняты Это уже знаменательно. Организуются ударные батальоны, офицерские полки. Идет мобилизация офицеров и вольноперов в тылу. Все мы в одиночку — ничто перед этой взбесившейся массой. Но дайте нам организацию, боевую опору — и мы приведем армию к повиновению. На румынском фронте какой-то поручик Филиппов взбунтовал полк.

— Как, офицер, поручик? — перестал грызть ногти Кольцов.

— Поручик в пехоте, значит, не кадровый. Из студентов. Ничего удивительного, — перебил Скальский.

— Из студентов. Что же что из студентов? Студенты не проповедывали крайних теорий, — сказал Горелов.

— Ладно уж, продолжайте лучше. Что с этим Филипповым?

— Генерал Лечицкий окружил полк верными войсками и артиллерией и настоял на том, что Филиппова и других бунтовщиков выдали.

— Где же он нашел верные войска?

— Казаки, артиллерия, гусары. Не забывайте, что наш западный фронт разложился больше других.

— Одна сатана! — скептически заметил Перцович.

— Словом, я полагаю, что не все еще потеряно. Правительство должно найти способ обуздать разбушевавшуюся стихию. Даже в кругах Петербургского совета уже склонны подумать серьезно над положением в армии. Но все-таки, я скажу, на правительство надеяться нам, офицерам, не следует.

— Эти паршивцы перепугаются и пойдут на попятный, — решил Скальский.

— Это, и то, что Керенский будет бояться, как бы его союзники — кадеты и здоровая часть армии — не стали бы сильней эсеров и не перестали бы нуждаться в нем самом.

— И справедливо, — стукнул по столу Кольцов.

— М-м-м-э-э, — замычал Табаков на койке.

— Приберегите энергию, — сказал Скальский Кольцову. — Может пригодиться.

— Словом, на бога надейся, а сам не плошай. Нам нужно учредить у себя ячейку офицерского союза. Посоветовать то же соседям и начать работу по сколачиванию сил.

— Верно, — закричал Перцович. — Пора что-нибудь делать.

— Я полагаю, что скоро настанет момент для действия, — таинственно добавил Горелов. — А сейчас предлагаю выбрать двоих представителей для связи с центром и приступить к уничтожению привезенных мною благ. И еще позвольте совет: до времени язык за зубами.

— Шнейдерову и Кострову — ни слова, — скомандовал Скальский.

— Почему Кострову? — спросил Кольцов.

— Костров от нас оторвался, — заявил Горелов. — У него в голове каша, но руль налево.

Делегатами избрали Скальского и Горелова. Когда Табаков проснулся, офицеры бушевали, как в провинциальном полковом клубе. На гитаре уже лопнули две струны. Побывав на воздухе, Табаков сел опохмеляться. Послали за другими комитетчиками. К утру все были на «ты». Только Скальский ушел в свою батарею, одиноко шагая между пнями и стегая тонким проволочным стэком придорожные травы и цепкие кустарники.

XXIV

ПОДПОЛКОВНИК СКАЛЬСКИЙ СТРЕЛЯЕТ

Газеты стали центром жизни в офицерских палатках. За газетами ездили по очереди в Полочаны. Посылали вестовых в соседние батареи. Читали вслух. Ждали предчувствуемого.

Должны же разразиться события. Но где и как они начнутся, — никто не мог бы ответить на этот вопрос.

Андрей так и не оказался в курсе офицерских дел. Архангельский шепнул ему, что Горелов и Скальский

связаны с офицерским союзом. Но Андрей почти не знал об этой организации и потому не обратил внимания на его слова. Сам Горелов многозначительно заметил, что обстоятельства вскоре принудят Андрея выбрать окончательную позицию. Но Андрей не видел в эти дни ничего, кроме волнующегося вокруг него человечьего моря, утихомирить которое, по его мнению, больше не был в силах никто.

Если бы в стране была армия в сто-двести тысяч, даже в семьсот тысяч, как на полях Маньчжурии, ее можно было бы распустить, постепенно заменить другою. Теперь же на фронте — пять миллионов солдат и в тылу, вероятно, восемь-десять. Это — вооруженный народ. Все взрослое поколение под ружьем. Революционное брожение этой огромной массы людей, как бы к нему ни относиться, — это не болячка, не заболевание, это какой-то процесс, в котором или переродится, или сгорит все тело. Никак нельзя себе представить, что солдатское море успокоится само собою, войдет в привычные берега. Говорят, волны в бурю можно усмирить, вылив на них большое количество масла. Но единственное масло, которым можно успокоить это человечье море, — это мир. Но мира не хотят те, у кого в руках власть. Мира не хотят ни союзники, ни германцы. Только глупец может думать, что все утихомирится само собою. Все это ясно, но есть и много неясного. Ему предстоит во что бы то ни стало понять этих людей, которые до сих пор казались однообразными соснами в бесконечном лесу, а теперь вдруг стали делать историю. Поэтому он спокойно отнесся к намекам Горелова, а сам лихорадочно искал сближения с солдатами и офицерами всех партий и настроений, стараясь уловить главное, без чего собственные мысли не могли сложиться в систему.

Он ездил в Полочаны, в Молодечно, заходил на различные открытые собрания и даже собрался в Минск к Алданову, который проходил здесь курс летчиков-наблюдателей.

Алданов уже совершил два боевых полета, овладел,

по его словам, искусством наблюдателя и готовился к возвращению на батарею.

— Нехорошо, все-таки летать на наших аппаратах. 'а'ой хлам нам спус'ают союзнич'и. На днях прибыл 'нам французс'ий истребитель. Видели? Вот это машина Двести двадцать с'орость. А 'огда я вот летал 'немцам, душа в пят'и уходила. Немцы и справа и слева. Вьются, подлецы. От разрывов пестрит в глазах, и ты, 'ажется, ни с места. По'рутились, и пошли назад, 'а'ая это развед'а?

О настроениях в Минске и собственных впечатлениях говорил с неохотой.

— Боюсь, Андрей Мартынович, нам предстоят большие разочарования.

Андрей рассказал о Горелове и Скальском.

— Этим легче... У них просто: вперед не проехать — вороти назад. Но ведь и это не так легко...

— Значит, остается — вперед? Во что бы то ни стало вперед, — обрадовался Андрей.

— 'уда же вперед? ' большевизму? Боюсь, что это не путь. Большевизм — это азиатс'ое тол'ование Мар'са. Это се'та. История знает та'ие вещи. Это тупи'и о'оло больших улиц. Они могут сбить с тол'у. Вспомните Савонароллу, Бабефа. Последователи та'их обреченных учений падают жертвами. Им даже памятни'а не поставят. 'то-нибудь напишет роман...

— Но ведь они только улавливают настроения миллионов, — стараясь скрыть раздражение, спрашивал Андрей.

— Минутные настроения. Проходящие, полусознательные...

— Так что же по-вашему будет?

— Вы вот, я вижу, не знаете. А за мной 'ак будто права на 'олебания не признаете. Погодите, дайте оглядеться. Ведь это все новое, запутанное, 'то же ждал?

— Ну, а у вас тут спокойно?

— Минс' бурлит. Самый большевистс'ий 'омитет... из фронтовых. Но у нас в ш'оле и в летных частях спо'ойнее. Есть брожение, но в меру. Много справедли-

вого. Требуют новые самолеты. Требуют отыс'ать виновни'ов по'уп'и французс'ого хлама. А та' ничего. Все-та'и народ отборный, многие своей охотой... Это не пехота. А все-та'и я сбегу на батарею. Привы' ' своим...

По возвращении Андрея на батарее был получен приказ в случае возобновления братания стрелять по немецким окопам. Приказ сразу стал известен солдатам и был подвергнут обсуждению на общем собрании при первой батарее.

Командир дивизиона накануне был отозван на формирование тяжелых батарей «ТАОН'а», и приказ зачитал Скальский. Он читал так же, как читал приказы на поверках перед строем, в казармах и на фронте десятки лет. Затем он сложил вчетверо бумажку, засунул ее за обшлаг кителя и повернулся к своей палатке.

— Ну, так обсудим, товарищи, — предложил Табаков.

— Я обсуждать приказы не привык, — остановился Скальский. — Я первым делом — солдат. Для меня приказ той власти, которой я присягал, — закон.

— А для чего же народ собравши? — растерянно спросил Табаков.

— Это ваше дело. Я не в силах запретить вам обсуждение приказа, но предваряю, что противному решению собрания я не подчинюсь. Почитаю долгом сказать, что сейчас особенно нужно вспомнить о дисциплине. Разгром седьмой армии показал, что бывает с частями, утратившими дисциплину. Если в дивизионе найдутся чины, которые откажутся подчиниться приказу, то я потребую от высшего командования крутых мер. — Потрясая сложенным листком, Скальский поднялся на цыпочки. — Зачинщиков — под суд! Верные части заставят бунтовщиков признать порядок.

— Перехватил, батя,—с досадой заметил Горелов.— Зачем такие слова?

— Так ведь еще никто и не высказывался против приказа, — разводил руками в ответ на неожиданный наскок Табаков. — Да и стрелять-то, может быть, не придется...

— Ну, посмотрим, — смягчился Скальский. — Посмотрим, — и сел на скамью.

Солдаты глядели молча и хмуро.

— Ну, говори, кто желает, — предложил Табаков.

Вышел Берзин. Он был взволнован и красен. Он не умел говорить, и руками во время речи всегда выделывал такие движения, как будто совершал тяжелую работу.

— Как мы, большевики, из партии социал-демократов... присягали под обманом. А теперь мы... вообще... солдаты позиционного района... вообще... первые победили царское правительство. То мы... вообще... Больше не хотим слушать керенские уговоры. Если нужно наступать, или... вообще... стрелять, то пускай соберут роту из генералов, сформируют, и айда на окоп... На германа!

Солдаты понимающе смотрели на огромного малого, который во время этой короткой речи сломал толстую ветку на восемь частей, и теперь грянули аплодисменты.

— То я заявляю, что как наших сейчас нет... — он оглядел кругом: — которые умеют слово вымолвить... то я заявляю, мы стрелять будем только назад. И все.

Он отошел в ряды.

Солдаты шумели теперь как возбужденный осенним шквалом пруд.

Табаков мямлил и, вопреки обычному, не хотел выступать. Шнейдеров, как опытный офицер, решил, что ему следует выступить попозже, когда впечатление от речи Берзина разойдется.

Стеценки нет. Нет Багинского, Ягоды, нет сильнейших большевиков, и резолюцию протащить можно. Нужно только не разозлить солдат. С этой целью, пока выступали различные ораторы, все, как один, высказавшиеся против выполнения приказа о стрельбе, он что-то шептал на ухо Скальскому, желая убить двух зайцев: сделать собрание поскучней и удержать ретивого подполковника от резких выступлений.

Когда неумелые, повторяющиеся ораторы достаточно надоели собранию, он взял слово.

— Ну, давайте, ребята, поговорим теперь серьезно, — начал он тихо. — Берзин решил поставить вопрос так: немцы стоят и не рыпаются, а наши генералы решили затеять сражение, как это было в июле. Если бы дело действительно обстояло таким образом, то я первый потребовал бы отмены такого приказа. К чорту наступления, из которых ничего, кроме беды, не выходит. — Шум в рядах показал Шнейдерову, что этим приемом он уже подкупил часть собрания. Теперь он начал тверже. — Так вот, товарищи. Мы авантюр со стороны командного состава не потерпим. Баста! — В рядах захлопали. — Но как же нам быть, если немец сам полезет на нас? А? Будем сидеть, сложа руки? Разве кто-нибудь из нас отказывался от обороны? Разве наша пехота не голосует за оборону? Верно я говорю, ребята?

— Верно, верно! — раздались голоса.

— А теперь братание, товарищи. Вы, может быть, не знаете, что получается от братания. Так я вам скажу. Немцы решили, что мы дурачки и нашу армию можно обернуть вокруг пальца. Когда пехотинцы идут брататься — это понятно. Кто по трусости, кто по искреннему стремлению к миру. Во всяком случае, наши солдаты идут с честными намерениями, веря в искренность немецких солдат. Наши офицеры им не мешают.

— Пробовали.

— Но германские солдаты еще нигде, к сожалению, не выходили из повиновения своим офицерам. Они братаются только там, где им разрешают, и проделывают это под надзором своих командиров. Теперь заметьте, когда наши приходят в немецкие окопы, их не пускают в траншею, их ставят спиной к укреплениям. А когда немецкие офицеры и унтер-офицеры приходят с фотографическими аппаратами в наши окопы, они щелкают, где хотят и что хотят, и снимающихся всегда рассаживают, чтобы на снимке вышли укрепления, пулеметные гнезда, ходы сообщения. В тех местах, где у них стоят некрепкие части — ну, там, славяне — чехи, галицийцы, поляки, — они братающихся встречают пулеметным огнем. Вот как обстоит дело. Разрешить сейчас бра-

таться — это значит показать немцам, куда им следует бить в случае наступления. Они поснимают, поснимают, а потом и обрушатся на наши окопы артиллерийским огнем. Нам же хуже будет. Брататься — это значит подрывать оборону нашей страны.

— Так растолковать это всем, а то зачем же стрелять? — сказал внимательно слушавший Григорьев. — Вот так, как нам говорите.

— Так и делается. Но часто брататься ведут солдат шпионы. Потом нельзя же уговаривать, когда уже немцы придут в окоп. Ну, видимо, в крайнем случае, придется попугать... снарядик, другой. Ничего не поделаешь. Мы ведь войну не кончили.

Голоса разделились. Предложение Шнейдерова прошло гнилым большинством в четыре человека.

— Моральную победу мы одержали, — шептал Шнейдеров Скальскому. — Но, повидимому, с огнем играть не стоит. И стрелять нам все-таки не придется.

— Прикажут, — я стрелять буду, — отрезал подполковник.

— Не станут...

— Сам с офицерами заряжу орудия и покажу Кузькину мать и своим и чужим.

— Я в таком случае снимаю с себя ответственность...

Скальский заложил руку за борт кителя, выпрямился и соединил каблуки.

— Рассчитываю только на себя...

Узнав о решении, Петр взобрался на зарядный ящик и кричал на всю батарею:

— Наших ребят не было, и на первой батарее протащили постановление о том, чтобы мы из своих гаубиц, — он показал пальцем на ближайшее орудие, — расстреливали братающихся. Хотят вас скрутить в бараний рог, ребята. Это командир первой батареи орудует. Ему все хочется царские порядки вернуть.

— Зачем такого командиром дивизиона назначили? — кричал Багинский.

— Вас не спросили, — сказал Осипов.

— И спросят, — спокойно ухмыльнулся Бобров. — Все к тому идет, что командный состав выборный будет.

— Кольку Багинского батарейным выберем, — смеялся, сидя на лафете, телефонист Сонин.

— А ты зря ржешь. Может, и выберем, — напустился на него Стеценко. — Вот в одной бригаде второй армии командира батареи в кашевары разжаловали. И что же думаешь, и поставили. Целый день у кухни стоял. Едва начальство его уволокло куда-то.

— Кашеваром? Вот здорово!

— К чертям таких кашеваров, — сказал Бобров. — Кашу придется пригорелую лопать. Они ничему не приучёны. Только папиросами пыхтят да матерь поминают...

— Давайте, ребята, постановим — не стрелять и баста.

— Не стрелять, так не стрелять, нам еще легче.

— А ты подходи к делу с принципом.

Офицеры узнали о новом решении солдат второй батареи от вестовых.

Кольцов нервничал.

— Вот получишь приказ и делай, что хочешь. Легче было в Галиции, чем теперь. Без солдат стрелять не будешь.

— Тоже порядочки, — возмущался Архангельский. — То решают стрелять, то не стрелять.

И только Перцович ходил размашисто по площадке перед блиндажом, хлопал по-мальчишески в ладони и кричал:

— Эх, энергию девать некуда. Не война, а онанизм какой-то! А силы! — Он шлепал себя по бицепсам. — Кажется, горы бы перевернул!

— А что, разве гор подходящих нет? — язвил Зенкевич.

— Зарядите пушку, — предлагал Горев, — да и ахните во славу интернационального анархизма.

— Идите вы к чорту, — злился Перцович и уходил сам.

Все эти дни на всех батареях от Крево до Сморгони ждали, что случится, если все-таки будет отдан приказ стрелять.

Полковники в одиночестве, волнуясь, раскладывали пасьянсы, молодые офицеры спорили и ссорились.

Петр, Берзин, Бобров готовятся к схватке.

— В пехоте бы и разговоров не было, — говорил бывший лесснеровец Бобров. — Все-таки мы еще плохо раскачали ребят.

— Не будут стрелять земляки, — уверял Берзин.

— Я тоже думаю, не будут, — вслух размышлял Стеценко. — А все-таки нельзя сказать, что будет, если офицеры потребуют твердо... Комитеты за начальство... А у нас много таких, как Ханов, Сухов, Чутков. Они за кружкой чая про революцию галдят.. а если офицер цыкнет, — руки по швам. Как крепкий мужик, так от него не жди революции. Он тут только пересиживает. А его все нутро туда тянет, к хозяйству. Только бы целым да без суда вернуться... А такие, как Федоров, Сонин, — лихие ребята, но никогда не знаешь, что они сделают. И с нами, и с Горевым путаются... Поругаться, поспорить — они мастера, а вот чтобы линию провести — не жди.

— Хрюков парень хороший, к нам здорово тянется, — заметил Берзин.

— И еще есть... Надо, ребята, за землячков взяться... Которые, видимо, наши будут. Каждого поодиночке... — твердит Бобров. — Каждого нужно рассмотреть... в чем его суть... Кто чем болеет... и по сути и вдарить...

— А я так смотрю, как начнется какая буза, враз всех к нам качнет.

— Это само собою, — говорит Бобров. — А работа само собою У нас на заводах всегда так, — кружки там... собираются, а потом, глядишь, все в одну сторону гнут.

— Это у вас, — вспомнил Петр Бабурин переулок. — Ну, тут народ не ваш фабричный, а больше наш — деревня да местечко. Эти больше с накалу...

Шли дни, приказа о стрельбе не было.

О наступлении в армии больше не говорили. На плакатах, на займах, в газетах, в письмах, в речах, в повестках комитета запестрело слово «оборона». Круглое слово, удобное, как колесо, никого им не раздразнишь. Само собою казалось: оборона есть оборона. Кто же запретит обороняться?..

Об обороне говорили в полках офицеры, стараясь сколотить поредевшие от дезертирства ряды. За оборону распинались комитетчики, уговаривали полки в очередь занимать участки фронта. Об обороне толковали и те, и другие, когда солдаты, узнав, что в кухне чечевица на льняном масле, грозили перевернуть бак и избить кашевара.

Слово кружилось, мягкое, бесформенное, и тихо день за днем, без команды, как по таинственному сговору, офицеры и комитеты, ставшие, как никогда до того, союзниками, пытались вокруг него крепить остатки дисциплины Отовсюду неслись вести о полевых судах над дезертирами, об арестах большевиков, о каторжных работах для тех, кто громко требовал мира во что бы то ни стало.

Если раньше офицеры радовались возможности пережить день без спора, без стычек с солдатами, в плохом мире, то теперь и солдаты рады были тому, что начальство ведет себя смирно и никого в дивизионе не арестуют за прошлое. Дни шли, тусклые своею скрытой злобой, похожие на дни в большой некрепкой семье перед вскрытием завещания.

Худой мир был сорван вестями о взятии Риги.

В офицерских палатках, блиндажах весть о взятии Риги ударила похоронным колоколом. Все почувствовали себя еще неуютнее.

— Доигрались! — кричали офицеры. — Теперь путь на Петроград открыт.

— Может, к лучшему? — тихо шептали в углах одиночки.

Горелов выскочил с газетой на батарею, созвал солдат, прочел телеграмму и стал доказывать, что после

Риги каждому должно быть ясно, — на долгое перемирие с немцами рассчитывать нечего. Они увидели, что им нетрудно занять хоть пол-России и не сегодня-завтра попрут на Питер, на Москву.

— Обороняться надо изо всех сил. Если мы немцам хоть раз наложим — ведь у нас такая артиллерия! — можно будет предотвратить новое большое наступление.

Но солдаты ответили на известие неожиданно и резко.

«Пантофлёва почта» разнесла по рядам слух, что Ригу сдали сами генералы, чтобы отомстить комитетам, показать, что армия при новых порядках никуда не годится. Солдаты этой версии поверили сразу и накрепко.

Офицеры были обескуражены.

Батарейцы волновались, у блиндажей, в передках собирались группами. Вестовые на ухо сообщали офицерам о том, что солдаты ругают на чем свет стоит все начальство: и генералов, сдавших Ригу, и своих, и что на батарее «очень нехорошо»...

Ранним утром бабахнуло легкое орудие за холмом.

Все проснулись и быстро, как по команде, стали натягивать сапоги. За последние недели все отвыкли от гула орудий.

На второй батарее лениво проскрипел телефон.

Скальский приказывал открыть огонь по немецким окопам. Большие партии русских солдат вышли за проволоку.

Щеки Кольцова заалели сквозь густую щетину небритой бороды.

— Зови Ягоду, Осипова и Щуся, — крикнул он Станиславу.

— Приказано стрелять, — вместо приветствия сказал он комитетчикам.

Солдаты молчали.

Телефон пискнул еще раз

— Слушаю, — кричал Кольцов в трубку. — Я уже

вызвал комитетчиков. Не надо было? Поздно... Они уже здесь, господин полковник.

Кольцов, еще больше покраснев, оторвался от трубки.

Ягода ухмыльнулся снисходительно.

— Может, уйти нам, господин капитан?

— Я привык работать с комитетом, — смущенно говорил Кольцов, зачем-то подергивая плечами, как будто ему было холодно. — Так пошли к орудиям, ребята?

— А насчет стрельбы как? — спросил Ягода.

— Ну, пустим пару снарядов...

— Ни одного не пустим, господин капитан. — Ягода произнес эти слова спокойно. Как будто они не ставили на голову вековой порядок в военной части, которая для того и существует, чтобы пускать бомбы, когда прикажут командиры.

Кольцов вытянулся. Начальническая маска привычно укладывалась на лице.

— Что же вы думаете, солдаты не будут стрелять?

— Если какие будут, — мы не дадим.

— Кто мы?

— Найдутся... — уклончиво сказал Ягода.

— А вы, Щусь? — спросил Кольцов.

— Я?.. Придется комитет собрать...

— Но ведь приказ боевой. Стрелять надо сейчас же.

— Скажите лучше, — кивнул Ягода на телефон, — что ничего не выходит.

Кольцов смотрел то в просвет двора, то на телефонную трубку.

— Я сам пойду, заряжу и выстрелю! — крикнул Перцович. Он был так красен, что, казалось, алый сок сейчас брызнет из его худых, в рыжем пуху, щек. — Которым орудием прикажете стрелять, господин капитан?

— И я! — крикнул Архангельский, бросаясь к двери.

— Стой, господа офицеры! — силой задержал их Ягода. — Я вот вам, как перед крестом говорю... убьют вас там или что еще... Не дадим стрелять. Постановлено...

— Кем? Комитетом?

— Постановлено, — расставив руки, ветвистым дубом стоял в дверях Ягода.

— Спокойно, господа офицеры! — крикнул Кольцов и бросился к телефону.

— Я стрелять отказываюсь, господин полковник, — говорил он срывающимся голосом в трубку. — Да, да, отказываюсь. Я сам... Из-за г...го выстрела не могу окончательно сорвать мир в батарее... Что, что? Под суд... Хорошо, под суд. — Он сел на скамью и продолжал держать в руке толстую черную трубку полевого телефона. Волосатые пальцы вздрагивали.

Ягода вышел из помещения. Перцович, Архангельский стояли у стола. Оба уводили взгляды друг от друга, от Андрея, от Кольцова.

Через пять минут тяжелый ход снаряда вырвался из гулкого выстрела и прошел над батареей высоко в небе куда-то вперед, за холмы, к фронту.

За ним через минуту второй...

Кольцов, высунув голову наружу, смотрел в небо, как будто там кто-то должен был показать ему разгадку этой таинственной звуковой дуги.

— Первая батарея все-таки стреляет. Стыд-то какой! — схватился за голову Перцович.

Архангельский хватил нагайкой по столу. Вшитая в конец пуля сделала в доске, как будто на зло офицеру, крохотную и аккуратную ямку.

На батарее все головы были подняты кверху. Глаза искали в небе след двух выстрелов.

— Наши? — обходя всех глазами, спросил Стеценко.

— Первая, — уверенно заявил Щусь.

— Вот дьяволы!

— Скальский, наверно?

— А Орлов что же?

— Задница! Выпивать только...

— Пошли, ребята, — поднялся вдруг Стеценко.

— Куда? — удивился Сухов.

— А что же, так и дадим своих расстреливать?

— А если они по немцам?

— Дурак ты, я вижу, по французам...

Стеценко уже бежал по полю. Полы шинели, как перевернувшийся книзу парус, острыми концами болтались по ветру.

— Куда, Пётра? — крикнул Бобров.

Но Петр прыгнул через канаву и почти на четвереньках пополз по крутому борту холма.

За этим холмом стояли пехотные полки в резерве.

— Погоди... иначе нужно! — кричал в рупор рук Бобров, но Петр уже исчез за вершиной холма.

Станислав, всюду поспевавший, быстро пошел куда-то в сторону и уже с ведром от кухни, как ни в чем ни бывало, шел, деловито размахивая оттянутой в сторону рукой, к офицерскому помещению. Бросив ведро у порога, он схватил Кольцова за рукав, оттянул его в сторону и жарким ртом, — слышно было, как бьется его сердце, — шептал:

— Стеценко пошед за пехотой... Они всех нас убие. Скальскему то — пуля.

— Что, что? — отстранялся от него Кольцов.

Станислав повторил:

— Нех пан капитан звони...

Кольцов бросился к телефону. Он говорил, озирался глазами испуганного волка и прикрывал рот согнутой ладонью.

Андрей вышел из помещения.

Серебряное солнце только поднималось над холмом. Почти сейчас же в его лучах замелькали быстро движущиеся фигуры. Держа в руке винтовки штыком вперед, в шинелях-балахонах, в наспех надетых папахах, бежали к первой батарее пехотинцы.

— Дурацкая стрельба! — сказал раздраженно Андрей.

— Конечно же, конечно, — принял за сочувствие Кольцов.

— Мы струсили, как прохвосты... А Скальский выстрелил! — истерически крикнул Перцович. — Я побегу туда.

— Назад, поручик Перцович, сумасшедший! — кри-

чал Кольцов, но поручик мчался бегом к перелеску, за которым стояла первая батарея.

— Казаки! — крикнул Архангельский и даже захлопал в ладоши. По дальней дороге, в утренних лучах, пронеслась конная часть тоже туда, к первой батарее...

Архангельский радовался напрасно.

Казаки не имели никакого отношения к событиям в артиллерии... У них были свои заботы, свои неполадки...

Пехотинцев до первой батареи добежало человек сорок. Передовой, кучерявый парень, схватил за рукав первого подвернувшегося по пути батарейца.

— Где офицеры?

— За мной, — крикнул Стеценко. — Я знаю.

Скальский сидел в палатке у телефона. На столе лежала шашка и браунинг.

Скальский положил трубку на колени и, не вставая, резко спросил:

— Что угодно?

— Вы сейчас стреляли? — спросил Стеценко.

— По какому праву спрашиваете?

— А ты говори! — в самый потолок поднял винтовку пехотинец.

— Погоди, — отвел его руку Стеценко.

Скальский бросил быстрый взгляд на браунинг, но сдержался.

— Вы стреляли? — подошел еще ближе Стеценко.

— Отвечать не намерен...

— Чего там, волоки его на солнышко! — кричали снаружи.

Батарейцы быстро скапливались у палатки. Они оттирали пехотинцев от входа. Из палаток показывались заспанные головы.

— Вы что, ребята, — спрашивал большой, грузный Орлов, бесцеремонно, как мальчат, расталкивая пехотных.

— Полковника уволочь постановили, — доложил услужливо один из молодых канониров.

— Чего это вы нахрапом? — спросил комитетчик у

кучерявого уже в палатке. А потом к Петру: — И ты тоже? Как ты есть артиллерист... А про комитет, землячки, забыли?

— Это ты, может, и есть комитет? — спросил кучерявый.

— А хоть бы и я.

— Так мы и тебя уволокем до речки.

— Смеешься, парень! — повел массивным плечом Орлов и стал между Скальским и Стеценкой.

Пехотинцы храбрились, кричали, размахивали винтовками, но артиллеристы уже окружили их кольцом. Обида, оброненная словами Орлова, зрела на глазах.

— Мы сами с усами, — сказал, оправляя пояс, разведчик Матвеев.

— Подайсь, подайсь! — говорил Орлов, настойчиво тесня Стеценку и пехотинца к выходу из палатки. — На свежем воздухе побалакаем.

Расталкивая и своих и чужих, влетел в палатку Перцович.

— А ето еще что за бонба? — спросил Орлов. — И вам тут делов нет, — и он стал теснить всех троих.

Он был тяжел, как стена. Петр упирался и одновременно успокаивался. Все равно стрельба не пройдет даром. А затевать драку раньше времени не след. Бобров прав.

Скальский все так же сидел с телефонной трубкой на коленях. Браунинга на столе больше не было. Перцовича взял за руки Горелов.

Он суетился теперь у палатки.

— Что же вами пехота крутит? — кричал он батарейцам. — Своей головы нету.

— Сейчас, сейчас, — успокаивал его Орлов. — Собранию устроим. Ребята, сюда, — указал он на ближний ящик. — Поговорим малость. По всей справедливости...

Кудрявый парень из пехоты оглядел своих и батарейцев, снял с рукава пальцы Орлова, отозвал маленького суетливого пехотинца и что-то долго шептал ему на ухо. Маленький быстро, понимающе кивал головой. Кучерявый дружелюбно поддал ему ладонью в спину,

и тот понесся через холмы, должно быть, за подкреплением.

Предупрежденные Гореловым, на батарею прибежали прапорщик Шнейдеров и Табаков, а вслед за ними прибыла небольшая партия пехотинцев.

У офицерской палатки стали вооруженные артиллеристы. Митинг продолжался до вечера. Комитетчики крутили, хитрили, чтобы избежать столкновения с пехотинцами. Выяснили, что приказ о стрельбе был дан штабом корпуса. Что стреляли по предложению командира и комитетских «охочие».

— Силком никого не неволили, — распинался Орлов. — У нас этого нету...

Шнейдеров предложил передать дело в корпусный комитет, а полковника Скальского оставить на батарее до решения комитета и комиссара корпуса.

Но, когда усталые, проголодавшиеся за день пехотинцы стали расходиться, комитетчики, забыв о Скальском, навалились все на Стеценку, который и на митинге требовал ареста и смещения с должности офицеров Скальского и Горелова за стрельбу по своим, за связь с контрреволюционной организацией. Табаков назвал Стеценку смутьяном и немецким агентом. Шнейдеров — беспринципным демагогом. Петр зло огрызался с места. Его защищали Берзин, Багинский, Ягода, но комитетчики наседали, порешив между собою покончить с опасным противником, и, наконец, собрали большинство под резолюцией, которая резко осуждала «большевистские поступки» Петра.

Ночью на вторую батарею прискакал взвод казаков, и Петр тихо, без шума, был арестован. Когда проснувшиеся все же батарейцы разобрали, в чем дело, казаки и арестованный были уже далеко...

В тот же час в палатке Скальского звонил телефон. Дежурный поручик Ладков взял трубку. Передавали телефонограмму штаба корпуса. Телефонист еще слюнил карандаш и выводил из заглавных букв православных имен замысловатые слова, а Ладков, стараясь не греметь шпорами, уже пробежал в избу командира ди-

визиона и оттуда тревожным голосом кричал по проводу Малаховскому, что нужно срочно принять меры к спасению Скальского и Горелова, так, чтобы не знали об этом ни Шнейдеров, ни Табаков.

— Не понимаю, в чем дело. Поясните, иначе не знаю, что нужно предпринять...

— Генерал Корнилов выступил против правительства. Его войска под командой Крымова двинулись на Петроград, но солдаты неожиданно перешли на сторону рабочих. Крымов застрелился. Корнилов арестован. Завтра все это станет известно солдатам. Тогда...

— Понимаю, все понимаю. Через час вышлю своего ординардца...

На заре к опушке леса позади первой батареи подскакал ординарец с двумя оседланными верховыми лошадьми третьей батареи. Два офицера вышли из зарослей, освещая дорогу карманным фонариком, вскочили в седла и быстро ускакали в тыл.

А через час вестовые увозили на Молодечно в телефонной двуколке вещи Скальского и Горелова.

XXV

ЛИСТЬЯ ОТКРУЖИЛИСЬ

Когда налетает шквал — кружатся листья. Еще не подошла плотная стена буревой волны, а мелкие вихри уже возносят щепу, сухой перегной, былинки и крупнозернистый песок.

Когда кружатся листья, трудно понять, откуда и куда мчится гроза. Но когда буря уже прорвется сквозь вершины деревьев, так что реки встают дыбом против течения и вспыхивают зеленым пламенем кусты, тогда даже веселые листья перестают кружиться. Они вместе с бурей несутся вперед — острые вестники урагана.

Теперь никаких сомнений не было. Спокойствие дивизиона взорвано. Люди и мысли больше не кружатся и больше не напоминают осенних листьев, подхваченных ветром. Люди, как компасные стрелки, знают одно направление — направление бури. Глаза наливаются

упорством, глядят прямо, и не надо быть физиономистом, чтобы понять, как называется на человеческом языке эта буря и какой страстью напоены эти глаза и лица...

Лето не уступает своих прав. В разрез широкой, ничем не заделанной двери офицерского блиндажа светит голубыми провалами ясное небо. Облака бегут чередой — клочки легкой, никогда никем не тронутой ваты. Вчерашний дождь согнал в овраг легкие воды с холмов. Чуть пониже глубиц течет мутная струя. Через нее переброшены зеленовато-серые, от глины липкие доски, и солдаты скачут, расплескивая жижу ударами тяжелых нечищенных сапог.

В блиндаже тихо. Архангельский мусолит какую-то книжку — он, кажется, еще ни одной не дочитал до конца. Перцович, откинувшись плечами к стене, насвистывает что-то печальное, а Зенкевич спит, свернувшись по-детски. Рука сложена кулачком, большим пальцем внутрь. У самого рта. Так спят люди, которые даже во сне никуда не улетают.

Кольцова нет. Он на батарее. Бурлит, шумит, волнуется батарея. Но Кольцов находит для себя место среди солдат, потому что за последнее время он стал походить на улитку, способную уложить тело в любую закрученную раковину. У него несложная мимика, размашистые, но бедноватые жесты. Глядя на него, нетрудно догадаться, что он хитрит напропалую.

Когда-то, еще в Ораниенбауме, Андрей видел его возвращающимся из города. Он показался ему выше оттого, что мирная шинель была затянута в талии, сапоги были сшиты на кривых колодках по ноге и доведены вестовыми до того подчеркнутого серебряными шпорами безупречного черного цвета, когда одна капля солнца делает их глубокими, как зеркало. Его фуражка казалась высеченной из полированного камня, бархат околышка был придуман для людей с широкими дугами бровей, а усы... они шевелились и благоухали, поражали мягкостью линий и хитрыми остриями.

Он шел, а солдаты рассыпались перед ним, как во-

робьи перед ястребом. Он поглядывал, и люди вздрагивали, как от молнии. Он кричал, и они обращались в столбы с выпученными глазами. Андрей вспомнил, как он ругал фейерверкеров и его самого за всякую оплошность, как с длинной березовой веткой гонялся за наводчиком Беловым за то, что тот, укладывая панораму в ящик, не обтянул окуляры замшей. И вот теперь этот Кольцов бродит по батарее, пропуская мимо ушей все обидные слова, намеки и просто ругань, в то время как даже молодые подпоручики сидят у себя в блиндаже, как в крепости. Он пьет дрянной, с запахом, чай из солдатской оловянной кружки и старается богатым ассортиментом анекдотов задобрить своих слушателей.

Солдатские языки развязались. Телеграмма о корниловском восстании сделала больше, чем речи Стеценки, чем вся работа его товарищей.

Добродушный Орлов, напоминающий борца из цирка, узнав, что Скальский и Горелов бежали, а Корнилов выступил против временного правительства, и рекрутил в лапах смушковую папаху домашнего барана, завернул слово в шестнадцать этажей, хлопнул папахой о землю и сознался:

— Чалдон я был, ребята! Помяни бог царя Давида... Закрутило... Гляди — охвицерский защитник нашелся. А теперь Ваньку валять хватит! А все ты, пес тебе в голову, — напустился он на Табакова. — В благородные заиграли. А нас как дураков... в рогожку.

Табаков и сам был смущен событиями. Он, как на оракула, смотрел на Шнейдерова, с которым у него была дружба, как у Андрея с Ягодой, еще до производства Шнейдерова в офицеры. Жирные щеки прапорщика были теперь алей обычного, и он, как шаман, говорил, не переставая, как будто хотел спрятаться в словесную накипь.

Исповедь Орлова сильно подействовала на батарейцев. Орлова уважали. Он был солдат двенадцатого года, разведчиком заработал два креста, в революцию шагнул смело, на первом собрании сказал, что даст

себя задушить за революцию, сопроводив эти слова выразительным жестом, от которого слетели все пуговицы на солдатской рубашке. В комитете из солдат он был после Табакова первым. Был бы и первым, если бы не ленца. Когда прошли бурные дни приказа № 1, он ударился в культурническую линию, заразившись от Табакова, который в свою очередь перенял эти настроения от Шнейдерова. Он, как и Табаков, гордился тем, что на нем держится мир в дивизионе и сами офицеры обязаны ему своим покоем и сохранением многих привилегий. Скальского он любил наперекор всему любовью бравого унтера к бравому командиру.

Бегство полковника повергло кумир. У Орлова в сознании вылетела какая-то пробка. Больше ничто не сдерживает неприязни ко всем офицерам, которая была свойственна ему, как и всем солдатам без исключения, как нелюбовь к холоду, голоду или паразитам.

На дивизионном собрании Шнейдеров говорил горячо, как никогда. Он бранил офицеров, генералов, называл их стервятниками, царской челядью, опричниками, помещичьим охвостьем, но солдаты глядели угрюмо и больше не взрывались ни охальнической радостью, ни сочувственными аплодисментами.

Шнейдеров закричал что-то о своих и всего комитета ошибках.

Глухой ропот не убывал.

— Мы больше не допустим подобной мягкости в отношениях к контрреволюционному офицерству...

— Что бы раньше, — вскрикнул кто-то из рядов.

— Ворон считали!

— Поздно поумнели!

— Переизбрать комитет!

— Верно! — раздались голоса.

— А где вы дели Стеценку? — вышел из толпы Багинский.

— Стеценко где? Даешь Стеценку!

Председательствовавший Табаков стучал кулаками по столу. Но голоса вздымались все выше.

— Мы расскажем...

— Бабе своей рассказывай... Даешь Петру!

Кто-то свистнул. На другом фланге в задних рядах свист повторился.

Кто-то колотил сапогами о доску. Это уже не походило на обычное собрание.

— Так дай же сказать, — кричал Табаков.

— Где мы, в кабаке или в воинской части? — взвизгнул, побледнев, Шнейдеров.

Кто-то разрядил наган в воздух.

Батарейцы на минуту примолкли.

— Какой хулиган стрелял? — крикнул Шнейдеров.

— Сам хулиган! Даешь Стеценку!

— К..... их матери, — выкрикнул Федоров, вскочив на зарядный ящик. — Даешь новый комитет — Клементий Горский стягивал его на землю. Федоров брыкался и орал: — Даешь вошь, печенку!..

— Даешь! — кричали батарейцы.

— Новый!

— Голосуй!

— Ребята, угомонись, — разрывался Шнейдеров. — Так никого не выберем?

— А ты смывайся, — кричал Сонин, приставив руку ко рту рупором, — так мы выберем...

— На один вас крючок с Корниловым!

Шнейдеров сел, беспомощно утирая пот платком. Он стал шептаться с Табаковым.

— Ну, кто хочет говорить, выходи, что ли... — рявкнул Табаков.

Уже не раз бывало так, что, давая высказаться, излиться волне солдатских разговоров, руководители комитета открывали клапан, и давление спадало. А потом опытные ораторы брали успокоившуюся аудиторию в свои руки.

Багинский выскочил к столу.

— Чего, товарищи, баки забивать разговорами. Стеценку ночью угнали. Не без комитета обошлось. А за что? За то, что он на корниловцев шел. Куда убежали офицеры первой батареи? К Корнилову. А это дело для нас не чужое. Чтобы скрутить царской веревкой опять.

Помещика на шею. Чтоб спекулянтские делишки покрывать. А комитет все наобещает, а ничего не сделает. Выбрать сейчас новый комитет, чтобы Стеценку выручать.

— Верно, Колька! — кричал, подпрыгивая Федоров. — Тяни их за хвост, за гриву!

— Скажите им что-нибудь, — шептал Табаков Алданову. — Вас будут слушать.

— Увольте, — закивал резко головой Алданов. — По-своему они правы. Придется вам, товарищи, пересесть с'амееч'ой ниже.

— А вы и рады? — процедил Шнейдеров.

— Чему же радоваться? — пожал плечами Алданов. — Лучше не будет.

— Ребята, я предлагаю вызвать представителя корпусного комитета, — встал опять Шнейдеров. — Пусть он проведет новые выборы. Мы насильно не намерены...

Слова его потонули в криках.

Берзин резал плечом толпу.

— Пропусти Наумыча! — кричал Григорьев. — Он сказанет.

— И сказану, — снял зачем-то шапку Берзин. — Чего представлять там... Как мы порешили... Комитетских к чортовой бабушке. Чего они навоевали, спрашиваем. — Он растопырил ладонь правой руки, загибая пальцы по очереди. — Охвицеров к Корнилову отправили. Отпуска теперь какие? Два года жди отпуска. По солдатам... чтоб брататься... стреляли. На обед тоже гнилая капуста... а то чечевица. А нам теперь житья нет... Которые безземельные... то тем — вешаться. А помещик по три рубля хлеб везет... по двадцать пять продает в городе. Так тут мир нужен. А где ваш мир? Где? — Он подошел, налитой и распаленный, к Шнейдерову. — Ты пузо-то наел, — ткнул он ему в пояс. — А мир куда спрятал?

— Возьми его за воротник! — орали солдаты. — Потрусить малость — легче будет.

— Так я, товарищи, предлагаю... Боброва... председателем... пусть выбирает.

— Верно, Боброва, Боброва! Питерского! Большевика!..

Бобров выплыл от толчка множества рук на середину круга. Он, наклонившись, подтягивал опадающее голенище сапога. А Табаков уже очищал ему место у стола на скамейке.

Бобров поднял руку.

— Ребята, я галдеть непривычный. У нас на собраниях в цеху порядок. Хотите, чтобы я выбирал, так давайте дисциплинку. Такую, нашинскую...

Толпа затихла.

— Оно мы уже со Стеценкой говорили не раз — комитет наш липовый. Языками болтать мастера. То у нас на фабриках мы таких видывали. Из-за таких нас, слесарей да фрезеровщиков, на фронт послали. А я скажу, комитет мы изберем, а только думается, чтоб всякие таковские дивизионные да фронтовые не сковырнули. Не по закону, скажут. Так держаться дружно.

— Поддаржим, Макарович, поддаржим!

— И Стеценку встребуем. А нет — поговорим по-военному.

— Называй хвамилии...

Был момент, когда Андрею казалось, дело не обойдется разговорами. Будет настоящая битва. Но Скальский и Горелов уехали во-время. Гнев масс пал на комитет. Комитет не оказался стеной, он рассыпался при первом ударе. Известно, что павшие вожди — жалкое зрелище.

Офицеры держались гостями, посторонними. Архангельский ходил вокруг собрания и черным стэком сбивал ромашки и одуванчики. Кольцов строчил что-то в полевую книжку, как будто это была неотложная работа.

Офицеры были бы рады драке между большевиками и комитетчиками, если бы не сознавали, что этот бой не принесет славы эсерам, усилит большевиков, и, следовательно, офицерское положение станет еще тяжелее.

Новый комитет выбирали долго. От второй батареи вошли Бобров и Стеценко. От первой — Орлов и наводчик Квач. Третья батарея еще в апреле постановлением общего собрания целиком вошла в партию эсеров. Ребята второй батареи предложили третьебатарейцам занять своих большевиков, хотя бы Багинского. Третьебатарейцы шутки не поняли и заломались. Разведчики выставили Табакова. Вторая батарея закричала: долой! Третьебатарейцы стали доказывать, что это их дело и больше никого не касается. Бобров сердился, ругал солдат «деревней», но голос его не раз тонул в шуме перекрестного спора. В конце концов выбрали новых ребят — разведчика Егорова и номера Темкина, двоих табаковских приятелей. Первым делом нового комитета были хлопоты о Стеценке. Решили ехать в корпус и написать в армейский комитет, рассказав, как произошло столкновение Стеценки со Скальским и как Скальский бежал при помощи офицеров дивизиона.

— Надо хорошенько написать, — говорил Бобров. — Чтоб ребятам уши прочистило.

— Давайте я напишу, — сказал Андрей, сидевший молча на собрании.

Бобров забрался пальцем под папаху, подумал и решил:

— Что ж. Только чтоб вся сытуацыя.

— Все будет, — уверял Андрей.

Он ушел к себе и весь вечер составлял бумажку в комитет. Когда он ее кончил и прочел вслух вполголоса, он сам поверил в то, что Стеценко был прав, действовал, как подобает бойцу революции, а Горелов и Скальский вели игру с темными силами.

Он положил перо и задумался.

Этот рапорт, написанный его рукой, был сейчас для него самого важнее, чем для Петра. Что может грозить Петру, который на свой риск вступил в бой с корниловцами? Но он, Андрей, становясь автором такого документа, сжигает корабли. Ему уже не будет возврата к старому. Мало того, ему нельзя будет остановиться. Листья откружились. Ветер бьет в лицо. Буря революю-

ции. Солдаты настроены по-боевому. То, что творится в дивизионе, — только один из вихрей, которые несутся сейчас над всеми частями фронта и над всеми тыловыми городами. Надо оставить в покое разделение мира на то, что нравится и не нравится, привычно и непривычно. Нужно расставить события и людей так, чтобы по-настоящему понять — что же, наконец, происходит в России и на фронтах. Скальский уже за бортом дивизионного корабля. Горелов тоже. Солдатский ряд выдвинул вожаков. Вожаки были и раньше. Но эти были крепкие деревенские мужики, за которыми где-то в Сибири или на Урале стояли мельницы, покосы, стада, сады, рыбные садки или, как у Ханова, богатые каспийские промыслы. Иногда выделялись из солдатской толпы силачи, музыканты, мастера-рассказчики. Теперь все изменилось. Люди зачуяли перемены, какие не снились дедам. Перемены шли с бурями. С гор валило каменьями, бревнами... Теперь глядели в глаза тех, кто первый вычитал в книгах, узнал от других, просто почувствовал, как надо жить в революцию. А вопросы стали вплотную. От них не отмахнуться. Мир или «до победы»? По домам или в окопы? Большевики или эсеры? Дележ помещика или охрана границ? Верить стало трудно. Офицерам верить нельзя вовсе — тянут в свою сторону. Крепким мужикам, таким, как фельдфебель или Авдеев, который вдруг стал с утра до вечера громко петь псалмы, — тоже. Поднялся авторитет тех, кому не верили раньше, но чьи слова оправдались. Разве Стеценко не говорил об офицерском бунте, о контрреволюции?!

У офицеров другое... Горелов от радикальных, смелых речей перешел к речам о необходимости порядка. Горелов стал вдруг приятелем Скальского. Горелов, который в начале войны слыл первым либералом в дивизионе. А у Скальского, когда присягали временному, дрожали руки. Вот куда тянет порядок. Со Скальским, с Корниловым пойдут теперь все, кому не по нутру солдатская революция. Все они покатятся назад. Назад... От этих мыслей щемило внутри.

Он взял рукопись, еще раз проглядел и сделал ее еще энергичнее.

Написанные им от имени солдат слова убеждали его самого. Доводы были неотразимы.

Андрей снес письмо на рассвете в помещение комитета и, вернувшись в блиндаж, увидел, что Зенкевич, полуодетый, заспанный сидит уже у стола.

— Это я вас разбудил? — извинился Андрей.

— Да нет. Не спится что-то, Мартыныч. Вот хотел я поговорить с вами. Как вы думаете, что если уехать?

— Куда же вы уедете, кто вас пустит?

— В Одессу. Мама вот пишет... просит все бросить и приехать. А здесь все равно ничего не дождешься. Ели вчера виноград с нашей дачи? Это мама прислала две корзинки и сальтесон... — Зенкевич смотрел опасливо на одеяла, которыми были укутаны с головой офицеры. — А вы всю ночь не спали.. Вот и я лежу все и думаю. Этим дело другое, — он кивнул в сторону Кольцова и Перцовича, — у них и отцы, и деды военные. Это их профессия.

Андрей смотрел на него с любопытством. Впервые на лице Зенкевича светилась настоящая забота.

— А вы какую профессию считаете своей?

— Отец хотел, чтобы я кончил Коммерческий институт. У отца рыбное дело. Но мне хотелось бы кончить Технологический. Но без средств этого не сделаешь. А теперь и не поймешь, что будет с торговлей. Вы знаете, отец ведь сам нажил состояние. Он сначала служил в приказчиках. А теперь и я, и оба брата на войне. Старшие братья в пехоте. Одного уже ранили в ногу. Отец стар стал. Мать пишет — одышка у него. Она пишет, рыбаков всех забрали. Ловить некому. Цены выросли. Плохо покупают... дело стоит.

— Но ведь вы все трое обеспечены, служите.

— Да, пока война... Но, мы купили землю под Одессой. Хороший кусок на берегу моря. Знаете, у дачи Ковалевского. Ну, труба такая высокая... Пустой участок. Туда вложили много денег. Если все это пролетит — пропадет все состояние.

— Так буржуям и надо, — внезапно выскочил из-под одеяла Архангельский. Все четыре койки взорвались разом. В Зенкевича полетели подушки.

— Судачки, карасики! — кричал Перцович.

— Вот так Одесса-мама! — хохотал Кольцов.

— Рыбкой торгуете? — зло таращил глаза Перцович. — А мы и не знали.

— А что же тут плохого? — конфузился Зенкевич. — Идите вы все к чорту.

— Покажите путь, гидальго!

— Нельзя ли понюхать? — дурачился, тянулся Перцович. — Чем пахнет,

— И рыбия, и рыбия, и рыбья чешуя...— пел непристойные частушки Кольцов.

— Господин капитан, — вдруг вошел Станислав. — Стеценко приехал.

Смех оборвался. Офицерские ноги не попадали в голенища сапог...

Чья-то чужая фурманка остановилась у самого бивуака. Петр, перекинув ноги через борт, спрыгнул на землю. К нему бежали ото всех орудий. Первый подбежал длинноногий Багинский. Он накрест охватил Петра так, что даже плечи того подались назад.

— Сломаешь, буйвол, — смеялся Петр и, не освобождаясь от объятий Багинского, пожимал руки батарейцам.

— Ты как же? Отпустили?

Петр хитро улыбнулся.

— А мы тебя выручать собирались, — размахивал четвертушкой бумаги Табаков. — В армию писали.

— Костров писал — целое сочинение! — сказал Ягода.

Петр уже шел к палаткам и находу пробегал текст рапорта.

— Здорово наверчено, — он покачал головой. — Ну, ладно. А что у вас, ребята?

— Офицеры сбежали, — крикнул Григорьев.

— Комитет новый.

— Шнейдеров скачурился.

— Погоди, — смеялся Петр. — Лучше потом, все по порядку.

— А тебя отпустили или ты сбежал?

— Там нас, арестованных, собрался батальон. Все рода оружия. Ну, а после корниловщины караульная рота нас взяла да и отпустила. И штаб рад был от нас избавиться. Хотели мы сперва штаб штурмом взять, а потом собрали армейскую ячейку, поговорили и разъехались по частям. Решено в частях на фронте провести работу, чтобы корниловский урок не прошел даром.

— Ты и нашим скажи что-нибудь.

— Собрание...

— Это у нас дело легкое, — засмеялся Петр. — Свистнул, крикнул — и собрание.

Сонин тут же вставил два пальца в рот, и разбойный, переливный свист понесся над батареей.

— Беги по орудиям, — скомандовал Ягода, и двое молодых канониров помчались, размахивая руками, в разные стороны к палаткам.

Из офицерского блиндажа вышел Кольцов и, стараясь казаться своим, затесался в самый круг. Батарейцы отступали, давали дорогу, но никто не шел ему навстречу, никто не приветствовал первый, как раньше.

— Вертится, как уж, — шепнул Бобров Петру на ухо.

— Пускай, — отвернулся Петр. — Ребята. Я о себе рассказывать не буду. Офицеры меня арестовали, солдаты выпустили. Вот и все. Я хочу рассказать вам о корниловщине. За что боролся Корнилов? За смертную казнь в армии. За новое наступление. За порядок в стране. А что это значит, мы хорошо с вами знаем. Земля — помещикам, фабрики — капиталистам. А теперь давайте спросим, почему наши комитетчики-эсеры покрывали корниловцев? Потому что партия эсеров только на словах за революцию, только на словах за землю и волю народу. Вот ты, Григорьев, вот ты, Берзин, вот ты, Федоров. Ребята вы малоземельные. Что вы получили от эсеров за революцию?

— Кукиш с маслом — заорали в азарте все трое.

— И не получите. Они по губам вас мажут, чтобы вы

тихо ждали Учредительного. А в Учредительное вас не позовут. Это панская лавочка. Пойдут туда...

— Шнейдеров пойдет.

— Ну да, адвокат пойдет. Да еще, пожалуй, какой крепкий мужичок, товарищ Табаков затешется... Землю и волю дадут народу только большевики. Большевики, как только будет рабоче-крестьянская власть, всю помещичью землю в три дня заберут. Фабрики — рабочим. Командиров выборных. Войну кончать!

— Довольно вшей кормили!

— Хватит!

— Послушали адвокатишку!

— Не плохо было, пока слушали, — раздался резкий, срывающийся голос. Обернувшись, батарейцы увидели Шнейдерова. Лицо его заострилось, как от бессонных ночей или долгой зубной боли, пошло серыми пятнами. Щеки опали двумя мешками. Но в глазах светилось необычайное упорство, какое бывает в минуты, когда мысли вспружинятся и приобретают устойчивость и точное направление наперекор всему.

— Эсеры обещают меньше большевиков, но все, что они обещали, выполнили. Обещать легко. Стеценко обещает вам мир. А если немцы не пожелают мира? А если все-таки продолжится война, а большевики распустят армию, поссорят Россию с союзниками, тогда на нашу революцию наступит сапогом прусский юнкер. Вы, как малые дети, слушаете смутьяна...

Солдаты расступились, перед Шнейдеровым расчистилась дорожка в толпу. Но это больше не был путь к власти и влиянию. Солдаты молчанием встретили слова Шнейдерова. Он остановился, не чувствуя перед собой того упора, на который рассчитаны были жесткие, снисходительно-злые слова.

— Мы потребуем от союзников: даешь мир справедливый, скорый, — крикнул Петр. — А не захотят — заключим мир сами.

— В болото союзников! — крикнул Федоров.

— К лешему!

— Даешь мир!

Слова Петра падали, как зажженные спички в солому. Слова Шнейдерова, казалось, таяли в воздухе, не доходя до солдатского сознания. Шнейдеров понял, что спорить бесполезно.

— Мы еще посмотрим. Увидим, что скажут организации армии. Они разгонят самочинный комитет.

— Сходи, товарищ, в армию, — предложил Бобров. — Там тебе помогут. Носовой платок дадут.

— Фьють! — свистнул Федоров. На свист ответили. Свист перелился по рядам, озорной, подбадривающий.

— Катись колбасиком! — крикнул Багинский.

Взвизгнула губная гармонь и потонула в смехе и криках.

— Товарищи, — начал опять Петр. — Теперь видно, что рабочим и крестьянам не захватить власть без боя, а не захватить власть — не будет и мира. У Керенского, у буржуев, есть юнкера, ударнички, вся сволочь собирается, вооружается, чтобы разогнать советы и комитеты. Рабочий класс под руководством большевистской партии готовится к вооруженному восстанию против капиталистов. И мы с вами должны готовиться к бою. Это будет бой за мир, за землю, за рабоче-крестьянскую власть. Тут уж мы не поленимся. Нет такого рабочего, чтоб не пошел против фабриканта. Нет такого крестьянина, чтоб не пошел против помещика.

Триумф Петра был полный. Его не носили на руках, как офицеров в феврале. Это был свой парень. Не глядели ему в глаза, но не оставляли до поздней ночи. К нему приходили с первой и третьей батарей. Приходили соседи.

После него Бобров читал письмо от питерских приятелей о том, как идет борьба на заводах. Потом говорили солдаты, жаловались на еду, на трудную жизнь в деревне, требовали мыла, чаю, махорки, и все читали бабьи, по неизменному уставу, плаксивые письма. Молчали крепыши-богатеи, вроде Ханова. Куксился, кусал оба уса сразу Табаков. Накручивал потихоньку комитетчиков Шнейдеров, съездивший в армейский комитет и вернувшийся в подавленном настроении духа.

XXVI

ЗА ЗОЛОТОЙ ПОГОН

Конь мягко шагал по рыхлой, осенней хвое. Меланхолично, почти не уклоняясь от ветвей, Андрей пробивался сквозь чащу старого бора. Только спокойно настроенные люди ездят через лес дорогами. Неспокойный дух прямит человека через чащу, через болота.

Из-за сосен вышли двое. Шинели солдатские, а папахи черные — воронье гнездо. Оба провожали офицера недобрыми глазами. Один из них вдруг поднял винтовку.

Андрей дал шпоры коню. Ветки секли лицо. Копыта срывались на вышедших из земли скользких корнях.

Позади раздался выстрел. Пуля щелчком встретила стук.

«За золотой погон!» — подумал Андрей, пригнулся к луке и помчался в карьер.

Выстрел не повторился.

В дивизионе Андрей жил теперь одинокою жизнью. Офицеры, узнав, что это он писал в защиту Стеценки против Скальского, ругали его, заочно называли предателем и решили бойкотировать. Но Андрей, давно утеряв общий язык с офицерами своей батареи, сделал вид, что не заметил перемены в отношении товарищей, и разряд произошел в пустоте.

Солдаты как будто оставили его в покое. Даже наиболее расположенные к нему не шли теперь вечерами с расспросами и разговорами. Но никто и не задевал его, как задевали других офицеров. Может быть был повинен в этом Петр. Для Андрея такое одиночество было сейчас самое лучшее и самое необходимое.

В нем самом переставали кружиться мысли. Они, как листья, оседали, укладывались толстым цветным ковром.

Он избегал вмешиваться в политические разговоры, но слушал все, что говорилось, жадным и чутким ухом. Батарея была теперь, как клуб. Все члены этой, не слишком сплоченной семьи имели возможность толкать-

ся по всем углам. Как на идущем корабле, никто не мог потребовать, чтобы те или иные вдруг шагнули за борт. Но офицерский блиндаж стал для него чужим и враждебным, хотя здесь стояла его складная койка и под койкой коричневый чемодан, в котором заключено было все его достояние. Он был здесь отрезанным ломтем, и только Алданов, то приезжавший, то уезжавший, вел с ним, несмотря на бойкот, беседы по ночам. Клементий Горский окончательно перебрался в блиндаж второго орудия, демонстративно порвав с офицерской средой.

На батарее Андрей сам чуждался тех обособившихся после революции крепких мужиков, которые раньше были коноводами, а теперь стали в тихую, шушукающуюся по углам оппозицию буйно настроенной молодежи. Их настоящее было там, в Сибири, на Урале. Они хотели вернуться к хозяйству чистыми, незапятнанными перед властью. Иногда они вслух скулили. Жалобы были неопределенны и неискренни, как молитвы. Читая письма где-нибудь в уголку, довольно крякали и аккуратно, как документы, складывали донесения жен и стариков в жидкий бумажник, перехваченный широкой резиновой лентой. Повидимому, революция прикладывала к большому хозяйству еще куски. Во главе стояли бывший фельдфебель Волосов и бывший каптер Пахомов. По вечерам, ложась спать, они молились украдкой, не бузили, службу несли исправно, но никогда в то же время не поддерживали и офицеров, держали крепкий, сдержанный нейтралитет.

Молодые номера и ездовые жили в эти дни, как дети. Они улыбались и были приветливы потому, что было еще сравнительно тепло и не надо было таскать на себе пушки. Они легко зажигались злобой, когда привозили на обед чечевицу, когда не было (случалось это все чаще и чаще) дачи овса и приходилось драть для коней солому с деревенских гнилых крыш, отчего кони болели, когда ударял утренник, когда ночью на пути от колодца попадался под ноги обрывок колючей

проволоки, когда распаляла чья-нибудь речь против всемирных буржуев и против офицеров.

Дальше шла группа людей, которые казались офицерам злыми овчарками, всегда беспокойно пробегающими по солдатскому стаду. Первым был назвавший себя анархистом, свистун, насмешник, взрывающийся, как порох, Федоров. Затем всегда напряженный, дурно настроенный Хрюков. Среди ездовых — колючеглазый татарин Абрахимов.

Ненависть всегда горела в их глазах при встрече с офицерами, и одним резким, прямым словом они умели настроить колеблющуюся солдатскую массу. От одного хлесткого или просто матерного заворота Федорова добродушно настроенные солдаты сразу наливались негодованием, жестокостью, словно в этот момент вставали перед ними, пробегали в памяти быстрым экраном годы дисциплины, издевательства, ругани, повседневной офицерской жестокости. Все они были, как на подбор, худы и по здоровью, и по достаткам. Все ходили обношенными, и офицеры втихомолку ругали их злыднями, нищими, оборвышами, псами. При встречах сворачивали в сторону, с легким посвистыванием помахивали стэком.

Особняком стояли большевики. Это были прямые, открытые враги офицерства. И Андрей знал, что, пока он носит на плечах золотые погоны, в этой ненависти будет и его часть, как бы он ни относился к большевистским идеям и к самим большевикам.

Андрей особенно тягостно чувствовал себя с Багинским. Бывший друг и приятель переменился еще под Барановичами. Андрей в его присутствии всегда ловил на себе черный, не раздраженный, но глубоко ненавидящий взор Багинского. Он знал — солдат, повидимому, не мог простить Андрею то, что он увлек его рассказами о человеческой культуре, не рассказав, утаив самое главное, то, что так просто и понятно изложил ему проезжий земгусар у местечка Камень над высоким черным колодцем.

Для офицеров батарея стала шахматной доской.

Нужно было обходить те места, на которые глядели кони, ферзи и слоны батарейной революции. Вся жизнь офицерская стала неприятно прозрачной, и только Кольцов с непостижимым, неожиданным терпением проходил всюду, как ходят подвыпившие, всюду нелюбимый и всюду терпимый, потому что золото его погон больше не светилось силой и властью и первое по-настоящему склонилось перед солдатской, проявившейся в революцию волей.

Легче всего было Андрею с Бобровым. Это был настоящий парень, хотя и мешковатый, очень сдержанный и осторожный. В большевистской группе он был противоположностью яркому и шумному, как бенгальский огонь, Багинскому. Казалось, он всегда чуть придерживает Петра и Багинского за рукав. Он редко пускался в теоретические разговоры, но был незаменим в тихих солдатских беседах. Он был из старой рабочей семьи, и его рассказы чаще всего относились к истории большого питерского завода. Солдаты, деревенский народ, любили эти рассказы, а у Боброва без всякой агитации всегда выходило так, что рабочие — это народ крепкий, грамотный, боевой. Они поколениями вели бой с капиталистами и за себя и за всех, за городскую и деревенскую бедноту. В рассказах его героями были настоящие, живые люди. Выводов он не делал. Они слагались сами собою и были понятны всем этим людям. Влияние его в батарее росло с каждым днем, и рядом с боевым вожаком, каким всегда оставался Стеценко, он был для солдат тем авторитетом, не навязывающимся, но необходимым, к которому прибегали в трудных случаях.

И с Андреем он чаще всего обменивался не мыслями, а рассказами. Андрей рассказывал ему о пятнадцатом годе на фронте, о студенчестве, о Горбатове, и выходило всегда так, что Андрей рассказывал и ловчей, и красивей, но в конце нарастало у него желание за что-то извиниться перед солдатом, будто рассказывал он все какое-то ненастоящее. И потом вел рассказ Бобров о выборгских заводах, о забастовках одиннадцатого

и двенадцатого годов, о том, как переворачивали трамваи в четырнадцатом году, о мастерах и мальчонках, о рабочем житье-бытье, о жандармах и агитаторах, и это было всегда несомненно настоящее — камни из фундамента жизни.

Петр иногда посматривал искоса, может быть хитро, в их сторону, попыхивая папироской, но в разговоры не мешался. Андрею иногда казалось, что Петр вдруг стал щадить его. После тех ударов, какие вынесли офицеры в корниловские дни, это раздражало и казалось унизительным.

За дни сентября произошло множество мелких инцидентов в самой батарее, и еще больше пришло вестей о случившемся в соседних и дальних частях. То были последние попытки подчинить себе солдатскую стихию, и прямые, грозные ответы впервые в истории почувствовавших свою силу вооруженных, готовых использовать для себя военную организацию людей. Сила эта покоилась на создании своего естественного права и действовала без отдачи и рикошетов.

В десятом Сибирском полку были приговорены к расстрелу солдаты. Полк собрался и заявил, что в случае, если приговор не будет отменен, солдаты убьют всех судей.

Сто семьдесят четвертый запасный полк приказано было расформировать за отказ ехать на фронт. Солдаты восстали все, как один человек. Приказ был отменен.

Солдаты Ковельского полка потребовали документы у самого командующего армией, генерала Леша.

В шестидесятом Сибирском полку в офицерское собрание бросили ручную гранату. Было ранено четырнадцать человек.

В сто сорок пятом полку солдаты разработали план ухода в тыл.

Боевые приказы больше не обсуждались на митингах только потому, что их не было.

Даже в мелких тыловых частях становилось неспокойно. В санпоезде одиннадцатой армии солдаты-сани-

тары переизбрали главного врача, завхоза и старшик сестер.

Командование злилось, хандрило, саботажничало, устраивало заговоры. Даже командиры крупных объединений сплошь и рядом совсем не возвращались из отпусков. Офицеры в дезертирстве состязались с солдатами. За офицерами двинулись комитетчики. В одном из полков дезертировал полковой комитет полностью, с председателем и секретарем во главе. В числе дезертиров был и член полковой георгиевской думы.

Иногда раздавались выстрелы, тревожные для офицерского сердца. Начдив пять, генерал-майор Копчев, выстрелил себе в висок, оставив записку, что он больше не верит в будущее России.

Паутина распада армии густо заплеталась перед глазами офицерства. Переставали говорить и думать о судьбах родины. Эти судьбы казались офицерству предрешенными и отходили в сторону. Великая империя должна была стать чужой добычей. Не все ли равно — чьей? Думали и говорили потихоньку, украдкой о судьбах личных...

Перцович позвал в лес Архангельского.

Когда стволы сосен сошлись кругом и стало тихо, как на голом деревенском кладбище, Перцович сказал резко, срываясь, с хрустом пальцев:

— Ненавижу... Сам бы своею рукой задушил!

— Да, — выдохнул тяжело Архангельский.

— Нельзя оставаться...

Архангельский кивнул головой.

— Говорят, у Быхова, где Корнилов, и на Дону собираются офицеры.

Архангельский махнул стэком безнадежно. Он был скуп на слова.

— А потом, может быть, можно в американскую армию.

Архангельский смотрел на него, как на Колумба.

— В Петрограде есть консул. Если подать заявление... Наверное им нужны боевые офицеры.

— И мое тоже... — предложил Архангельский.

— Хочешь, я поеду один, объеду все места и тебя вызову телеграммой!

Архангельский протянул ему руку.

Перцович уезжал на другой день в очередной отпуск.

В дивизионе усилилось дезертирство.

Тридцать человек ушло в украинские национальные формирования.

Поезда в тыл уходили увешанные людьми.

Германцы без выстрела каждый день одерживали победы. Русская армия таяла на глазах.

В эти дни пришло неожиданное, ударившее по самому больному месту, письмо Екатерины:

«Не знаю, помнишь ли ты обо мне, Андрей, или забыл, но сужу по себе, — люди, встречавшиеся так, как встречались мы, имеют право на любопытство. Я решила осуществить это право именно теперь потому, что моя жизнь определилась, хотя и совсем недавно.

«За эти два года пережито так много, что написать обо всем в одном письме, да еще в таком, о котором не знаешь, дойдет ли оно по адресу, — невозможно. Если получу от тебя ответ, обещаю написать обстоятельно.

«Основное — следующее. Я дважды была тяжело больна. После Варшавы, выздоровев, я работала в санпоезде, который ходил между Киевом и Галицией. Ты ехал в Галицию, и я надеялась, что разыщу тебя и там. Но это было время отступления, и на этот раз не помогли даже письма дяди. В поезде я опять заболела воспалением легких и попала в санаторию в Сочи. Здесь были пальмы, которые шелестят по ветру, как жестяные, изменчивое море и пустынные горные тропы. У меня было ужасное состояние, а нервы мои были в угрожающем положении. Я никому не писала и ни с кем не общалась. За мной ухаживали выздоравливающие офицеры. С одним из них я даже сблизилась, без романа, без слов... Сама не понимаю, как это произошло. А потом в феврале на меня пахнуло весной... Эта весна была короткой и некрепкой. Но в эти дни я встретила в Москве... Не знаю, помнишь ли ты — я

рассказывала тебе о нем, — это мой учитель, Сергей Митрофанович, тот самый, который сидел в тюрьме нашей станицы и которого я девочкой провожала в ссылку. Февральская революция вернула его из Нарыма. Я обрадовалась ему, как будто он был мне родной. Но он был целиком захвачен партийной работой и только немногие часы досуга отдавал мне. Тогда, в детстве, я в сущности ничего не знала о его убеждениях. Теперь я поняла, что этот человек богат редким даром. У него взгляды на мир обдуманы и осмыслены, как чертеж архитектора, и притом широки, как мир. Словом, мы подружились с ним на работе, к которой он меня привлек, а потом и просто как люди. Я не чувствую себя в гавани, но это и не каботажное плаванье. Это большие океанские пути. Мне кажется, что многие из наших друзей могли бы позавидовать мне. Может быть ты даже не узнал бы меня.

«Ты, я слышала, теперь офицер, и я боюсь — ужаснешься, когда я скажу тебе, что мой муж — видный большевик. О нас ведь ходят разные сплетни. Но ты познакомься с нашей партией. Ты умеешь быть объективным; если захочешь.

«Теперь я скажу тебе, почему я написала тебе после такого длительного молчания. Я хочу повидать тебя. Не спеши делать вывод о моей непоследовательности... Это очень последовательно. Жду ответа.

Екатерина».

Осенние грязи вплотную подошли к асфальтам Молодечно. Вокзал желтого кирпича попрежнему стоял кондитерской бутафорией среди мусора и человечьего пчельника станции. Но такое впечатление сохранялось только издали. К зеленому облупившемуся переплету садовой решетки привязаны были уздечками офицерские и ординарческие кони. Порохня сухого сена густой присыпкой лежала на перроне. Стены несли на себе немудреную, но пылкую литературу военных и революционных дней. На окнах звезды пропыленных трещин лежали на звездах окрепших паучьих узоров. Двери

все были настежь, и солдатская толпа, толкаясь, валила в обе стороны. На буфетные, белого мрамора стойки, на колпаки и передники поваров легла заметная серость, а в стеклянные ящики прилавков заглянула и плотно осела пыльная пустота.

Вечером огни вспыхнули только у пакгаузов. Зеленые и красные точки немигающими глазами встали над перекрещенными клинками исчезающих в темноте рельсов. В проходах и залах вокзала чахоточные лампочки откладывали пятна на потолках, не достигая ни одним лучом высоких стен и мокрых, наслеженных полов.

Солдаты ходили в шинелях без хлястиков, внакидку. Они двигались прямо, не давая никому дороги. При встрече с офицерами они опускали головы, как быки, нацелившие рога для удара.

Офицеры старались уравнять, успокоить свои шаги. Они не ходили, а лавировали, еще издали стремясь принять такое направление, чтобы не столкнуться с толпой солдат. Савеловские шпоры увяли. Они шелестели по-осеннему. Сабли предпочитали оставлять в блиндажах и палатках. Заросшие лица и расстегнутые шинели — неумелый маскарад удавался немногим даже в этот темный вечер.

У почтового окошка — очередь. Среди солдат — два-три офицера. Андрей встал между двумя пехотинцами, почти вплотную к духовитому, черному от грязи затылку. Сбоку стоял высокий худой солдат, у которого редкая, чуть курчавая бородка сбегала в провалы изможденных щек. Он все усмехался, пристально взглядывая на прапорщика.

Андрея раздражал этот взгляд. Так скучающий прохожий в захолустном городке остановится и смотрит, заметит ли извозчик прицепившихся к фаэтону ребят или нет.

Взор его перехватил юркий солдатик, немало, видимо, постаравшийся на своем веку на потеху товарищам.

— Дай закурить, господин прапорщик, — подошел он к Андрею.

— Не скупись, он тебе сдачи даст, — заметил духовитый сосед. В уголках обескровленных губ змеилась легкая издевка.

— Я не курю.

— Сдачи, это можно, — расправлял плечи солдатик, потирая ладони. — А бумажки какой деликатной у вас нет? Вы же с бумажками деликатными в сортир ходите. А нам она покурить пойдет... Махры мы по карманам наскребем. — Он принялся выворачивать мусорные, масляные тряпочки карманов.

— Ты еще в мотне поищи, — предложил сосед. — Там духовитей.

— Что ж... конское на походах куривали... Как нас ети субчики гоняли, — кивнул он головой не то в сторону Андрея, не то так, в пространство.

— Которые такие?

— Золотопогонные.

Андрей продвинулся в очереди к окошечку. Разговор кружился острый и дерзкий, как ночной жук вокруг стекла. Вот, вот кажется вспыхнут черные крылья, и огненным комом упадет он на раскаленную шляпку горелки. Солдаты открыто не идут на ссору, но у них духовная изжога, и они поддержат ее с охотой. Наверное, у каждого припекает сейчас внутри какое-то заветное место. От первого резкого ответа прорвется тонкий мешочек, и горечь хлынет в сердце, в глаза, и холодок пройдет в пальцы рук.

Еще месяц назад Андрей в ответ на издевку сам налился бы злобой, но сейчас только зрела досада, может быть, горечь от сознания несправедливости.

Их ненависть к золотому погону была ему понятной. Он научился отыскивать в себе самом корни того же чувства. Теперь можно было проследить в прошлом, как день за днем оно определялось и крепло у него за годы войны. Правда, это было что-то иное. Ненависть к тюремщику у прохожего и у заточенного разная. Но эта разница не помешает обоим ломать замок, крушить ворота, когда придет минута грозы. Надо только из прохожего стать настоящим союзником заточенных,

ломающих затворы, раз накрепко признано за этими заточенными право на жизнь и справедливость. Тогда выпестованное силою ума, мозговою кровью окрашенное чувство станет вровень с ненавистью, идущей от инстинкта.

Капитан саперной части проходил мимо. Может быть Андрей показался ему затравленным этими хохочущими солдатами.

Солдаты уловили его недобрый взор и нахмурились. Смех утонул в злом шопоте Но Андрею сочувствие офицера показалось в десять раз оскорбительнее солдатских насмешек. Он сам посмотрел на капитана с ненавистью. Она так отчетливо засветилась на лице Андрея, что капитан крутнул плечом и быстро зашагал на перрон.

— Вот наверное собака, — сказал высокий худой, — только что не кусается.

— А куснул бы.

— Прошли времена, — ответил сосед Андрея.

— Да, прошли и не вернутся, — громко сказал Андрей.

Солдаты замолчали. Андрей видел, как в глазах у них таяло выражение злой, задорной насмешки. На смену появлялась еще удивленная, сомневающаяся, но уже мягкая доверчивость.

— А вы, может, партийный? — спросил высокий.

— Нет, я не партийный, но я думаю, что это и не важно. Важно, кто как относится...

— Относится, — сказал худой, — чего там относится? Вы в бараке были?

— В каком бараке?

— Ну, а где митинг, — сказал солдатик, который собирался дать Андрею сдачи.

— Митингуют... — сказал сосед впереди. — И день и ночь... так и кроют, так и кроют.

— Все те же?

— Зачем? Народ, как на вокзале. Вокзал и есть. Одни уходят, другие приходят. Вот сдавай депешу и пойдем.

— Ну, им там не здорово взглянется, — уже с участием сказал солдатик.

— Погоны, того гляди, оборвут.

— Не обдерут, — уверенно сказал высокий, — еще не дошло. Без пяти минут.

— Ну, там градус на все топки, — отозвался железнодорожник.

— Я бы пошел, — сказал Андрей.

— Ну и ладно.

Депеша Елене, что он едет в Петроград на десять дней, была отправлена. Андрей подождал, пока высокий сдаст свою, и они вышли на перрон. Встречный пехотинец с вызовом бросил ему под ноги окурок, другой крепко задел локтем. Высокий отвел его рукой и обошел Андрея, чтобы защитить от толчков. Солдаты шли редким потоком от большого барака, несколько в стороне от главных путей.

Здесь было уже совсем темно, и только раскрытая настежь дверь сарая светила огоньком потолочной керосиновой лампы. У дверей курили, громко спорили. Когда Андрей вступил в тусклую полосу света, его проводили изумленными взглядами. За дверью густо стояла толпа, только у стен оставались тесные проходы в мешанине шинелей, кожухов и ватников, прошитых белой ниткой. Было в воздухе потно и дымно. Голос оратора не всегда долетал до дверей. Оратору щедро хлопали, и скоро на помост вышел другой. Он закричал так громко, что все вздрогнули.

— Товарищи братишки! Усех вас приглашаю вступить в партию большевиков. Как я сам... Прошу... что только у большевиков я узнал про все. Про все понял. И хотя бы «Окопная правда». Я теперь и спать плохо, когда не почитаю...

Ораторы сменялись часто. Тех, кто повторялся, говорил скучно, бесцеремонно перебивали. Требовали других.

Время от времени выступали опытные агитаторы, находившие в этом зале быстрый и радостный отклик. Потому сами они легко зажигались настоящим человеческим волнением.

Андрей слушал внимательно речи, но еще внимательней следил за залом. Не было никакого сомнения, здесь крепким приводным ремнем живого интереса были связаны все эти сотни слушателей со сценой, с грязным помостом, на который взбирались ораторы, поднимавшиеся со скамей здесь же в зале.

Ораторы говорили взволнованно. Андрей находил в их речах каждый раз что-то новое, еще неслыханное. Он сам волновался вместе с залом, когда говорили о мире, о братстве народов, о проклятой войне, о возможности лучшей жизни.

Потом выступил оратор, который начал редкими, отдельно падавшими в толпу, как бы широко расставленными словами. Они были произнесены без особенного внешнего воодушевления, но с глубоким внутренним упором. Казалось, оратор преодолевал колоссальные трудности, чтобы выискать нужные слова. Слова повисали над залом, медленно кружились теневым венком, становились плечом к плечу рядами, а потом, когда уже все напряженно слушали, перестав курить и сморкаться, понеслись быстрые, уверенные, как колеса, которые, кажется, догоняют одно другое, но никогда не сталкиваются.

Зал не шевелился. Папиросы погасали в руках у солдат, у дверей столпились привлеченные молчанием зала и речью, которая, победив смущение оратора и шопот тысячного зала, неслась теперь над скамьями вольно и уверенно. Сосед Андрея тяжело дышал и всем лицом и корпусом тянулся вперед.

— Офицеры называют наше движение бунтом. Они хотели бы потопить солдатскую революцию в крови, как потопили Романовы бунт Пугачева, Степана Разина, как они задушили офицерскими руками тысячи восстаний рабочих и крестьян, которые не вынесли рабства и нужды. Но мы не бунтовщики! Мы говорим здесь от имени миллионов рабочих и землепашцев: довольно ненужной крови, — мы революционеры. Довольно рабства! Нам дали в руки винтовки, чтобы мы убивали таких же тружеников, как и мы сами. А мы

заявляем — довольно обмана! Мы повернем штыки против тех, кто гонит нас на войну, кто угнетает нас и наших братьев, немецких, французских и аглийских рабочих и крестьян. Против тех, кто хочет нажиться на войне и построить новые дворцы, продавая нам же винтовки, пушки и снаряды.

Сосед Андрея часто мигал глазами и чмыхал носом. У него было обветренное худое лицо с редкой растительностью. Глаза у него были прозрачные. Обыкновенное серое лицо, но сейчас оно светилось гордостью и достоинством.

— Наш путь труден, — понизив голос, говорил оратор. — Мы должны не только сбросить власть временного правительства, власть офицерства, не только отбить атаки всех врагов, но должны сами без чужой помощи построить такую жизнь, которая будет неизмеримо лучше прежней...

«Мы не боимся войны. Мы способны выдержать самую страшную битву за свои интересы, но на этой войне у нас нет интересов...

«Нельзя дальше жить слепыми баранами. Мы покончим с этой войной и поведем другую с буржуазией за социалистическое общество, за лучшую жизнь для всего человечества...

«Мы не бунтовщики, мы революционеры. Борясь за свои интересы, мы боремся за все человечество. Буржуазия была права, свергая власть аристократов. Она дала человечеству машины, фабрики, высшую форму культуры. Рабочий класс даст человеку еще более высокую форму жизни. Мы только творим волю истории...»

Легко было следить за лицом соседа. Оно было послушно оратору со сцены, как скрипка дирижеру. Оно затухало и разгоралось — костер человеческой души.

Легко было понять, как должны действовать эти слова на солдат, всем нутром ненавидящих войну и установившийся порядок жизни.

Легко было поставить себя на их место.

Эти мысли должны были прижиться к психологии

этих людей, как кожа к мясу. Без крови не отодрать их, не сделать опять чужими без ущерба для всего организма.

Впереди дышат широкие спины. Дышат в такт, как станки, пущенные на одном ремне. Керосиновая лампа придает залу вид тусклого лубка. Позади — вспотевшие лица. Может быть он один способен здесь все наблюдать со стороны. Андрей обошел барак осторожным взглядом.

Прислонясь к стене, как бы откинувшись от зала, от стиснутых солдатских плеч, сидел человек, с головой погрузившейся в тень низкого, чуть покачивающегося абажура. Он, видимо, наблюдал за Андреем с той же настойчивостью, с какой тот следил за ходом теней на лице своего соседа. Андрею показался неприятным этот взор, это ощущение мухи, ползущей по лицу. Он стал смотреть на сцену.

Человек поднялся. Большой, костлявый, в черной смятой кожанке. Проходя, он положил руку на плечо Андрея и поманил его к выходу. Большая лысая голова качнула шишкой индийского мудреца в световом пятне.

— А я вас узнал, — усмехнулся он в бороду уже на улице.

— Да, теперь и я вспоминаю.

Человек вынул из-под локтя смятую в блин фуражку.

— Я вас вижу здесь в первый раз.

— Значит, вы здесь часто?

— Сегодня уже трижды выступал... Я все смотрел, как вы следили за соседом, за залом. Как вы сюда попали?

— Солдаты привели.

— Хм... Значит, вы все-таки присматриваетесь? Мне и тогда казалось...

— Послушайте... Вот все, что вы говорите... все это замечательно. Это как проповедь новой религии. Но вот я... понимаете?.. Мне не нужно никакой религии. Я не ищу никаких откровений. И так за плечами груз

мистики, цепкий, как репейник. Но понимаете, во всем этом подозрительно для меня одно. Это слишком близко к желаниям миллионов, самым естественным и невыполнимым, это слишком обольстительно, чтобы быть правдой.

Земгусару нравилось волнение Андрея. Он покровительственно взял его под руку.

— Какая там религия... Вы муравьиную кучу когда-нибудь наблюдали?

— Да... То есть нет... так, поверхностно.

— Все равно. Вдумывались ли вы, как велико могущество коллектива? Так вот. Главное в том, что пришли времена, когда человечество может произвести на земле все необходимое для всех. Понимаете? Не для избранных, а для всех. Да, так высоко сейчас могущество наших знаний и нашей техники. Недостает только организации общества. Сейчас машина работает только на своего хозяина. Потому она мала, недостаточна. — Индийский мудрец сам начинал волноваться. — Потому на изобретения — гроши. Потому на войну — миллиарды, на лаборатории — копейки. На войне — рядами, миллионами. В культурной созидательной жизни — одиночками, вразброд. Общество может организовать производство на всех. Понимаете ли вы, что это значит? Уэллсовские, жюльверновские фантазии — игрушки по сравнению с этой идеей. Тот, кто раз заразился ею, не избавится никогда. Но люди с сигарами, с толстым брюхом, акциями и собственным автомобилем не придут к этому никогда. Им не перешагнуть через личную и классовую алчность. Жизнь перешагнет через них. Рабочие, хлебопашцы идут на борьбу за эти идеи, хотя они часто не понимают всех подробностей этого пути, потому что на этот путь их ведет классовый инстинкт и стихия классовых интересов. Они усваивают эту идею до мельчайших винтиков уже на ходу, потому что она не противоречит их правильно понятым интересам ни в одном своем звене.

— Значит, этот потный солдат, — может быть он не грамотен, — не только разрушает армию...

— Да, он объективно передовой боец высшей культурной идеи, какая обуревала когда-либо человечество. Для вас, интеллигентов, — с усмешкой добавил земгусар, — это главное. Прекрасная цель! Что ж, тем и силен научный социализм, что он вооружен, между прочим, и прекрасной идеей.

— Как можно сказать: между прочим.

— Того простого, что обуревает, поднимает, организует этих простых людей, уже достаточно для революции. Ведь таких, — он показал на амбар, — на земле миллиард. Они служат рабочим скотом для сотен тысяч.

— Чувствуют они себя гордыми, когда им говорят такие слова?

— Это дети. Им придется учиться. Но вся наука будет служить только укреплением сыздетства усвоенной идеи. Это идея их класса.

Чьи-то звонкие слова отзвучали в бараке. Барак ответил аплодисментами.

Люди выходили из дверей. Вступали во мрак. Медлительно, молча закуривали. Казалось, они раскладывают в себе полученный в бараке груз. Золотые мухи папирос и крутелок прыгали у стены.

В бараке вырастало из нестройных голосов ровное тысячеголосое пение.

Андрей прислушивался к словам:

И день настанет неизбежный,
Неумолимый грозный суд...

— На этом пути первая ступень — плаха, — сказал Андрей раздумчиво.

— Такова жизнь, — не сразу ответил земгусар. — Расходы при всех условиях будут меньше расходов на эту войну. А тем более на войны.

— А если неудача?

— Невозможно! — резко оборвал земгусар. — Отсрочка может быть. Неудача? — он вдруг рассмеялся. — Эх, вы, батенька. Ну да ладно, лиха беда начало.

XXVII

ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА

Тетка сидела в розовом кабинете, смачивая слезами смешную в ее огромных худых руках кружевную тряпочку. Николай Альбертович брюзжал. Именно в этом настроении он находил в себе новую пронизывающую мудрость, которою охотно делился.

— Приветствую, — протянул он руку, не вставая. — Какие настроения экспортирует армия в тыл? Что, генералы уже едят кашу и служат вестовыми у комитетчиков? — Не дожидаясь ответа, он продолжал: — Имей в виду, душенька, все это только справедливо. Правящие классы расплачиваются за то, что не поняли единства жизненного закона. Атом — это солнечная система в миниатюре. Млечный путь — в грандиозе. В Германии об этом пишут уже давно. Человек существует по законам борьбы за существование, а не по сентиментальным планам розового социализма. Вся цивилизация именно и заключается в уменьи держать в руках и направлять стихию природы и стихию человека. Проводa, турбины, котлы, плотины, волнорезы — это для сил природы, а диктатура государства — для человека. Это — главное.

Андрей слушал и вспоминал волнение Петра, когда Бобров, выслушав рассказ Андрея о молодеченском митинге, о тех решениях, с которыми приехал Андрей на батарею, свел и примирил их. Они проговорили всю ночь. Петр тут же написал письма на Выборгскую. Отдельно Ивану, Алеше и Любе. Интересно, какая она, эта Люба?

— Теперь есть две категории людей, — бубнил Николай Альбертович. — Люди и личинки. Для одних все ясно. Никаких самообманов. Жизнь — это хозяйство, курятник. Все обычаи осмеяны. Все нравственные нормы развенчаны и в историческом генезисе доведены до какого-нибудь сексуального момента предков-жрецов или экономических сделок вождей-скотоводов. Все дипломаты — лжецы. Все социальные учителя —

глупцы, отличающиеся настойчивостью и необыкновенной дерзостью. Это их младшие братья толкают старух в трамвае, не сворачивают при встрече и жирно сморкаются на улице. Все герои — фокусники, за разменную монету славы доказывающие, что можно поднять себя за волосы. Издевательства над ближним — величайшее наслаждение. И деньги — универсальное средство к этому.

— А другие?

— Другие?.. Видел ли ты когда-нибудь обыкновенного русского мужика в трамвае, с этаким заросшим лицом, грязного святого шестнадцатого века. Рассеянное скольжение по предметам и чужим лицам. Пальцем можно достать дно его мысли. А рядом — лаборант, мечтающий о разложении атома. Человек, который простым усилием мысли переключает свое пенсне то на телескоп, то на миркостекла.

«В тринадцатом веке папа и самый презираемый из могильщиков в смысле своего духовного содержания относились друг к другу, как один к двум. Теперь это соотношение в десять раз больше разницы между Вульвортом и костромской лачугой. Расы, национальность, твои классы, — все это чепуха по сравнению с этой единственной, непримиримой разницей. Это существа разных планет. Будущее общество — это организация людей против личинок».

— Значит, две партии...

— Твои большевики хотят прыгнуть из действительности в рай. Но где этот рай, они не знают, и несутся на своих кровавых салазках просто вверх, но с таким напряжением, что кровь приливает к голове. Они уподобляются стрелку, для которого цель — небесный купол. Вообще партии... какие партии? Партии складываются по мере надобности. Они претендуют на особое мировоззрение поневоле, потому что это модно. Ни одна не хочет оказаться в положении женщины, вышедшей на улицу в костюме предыдущего века. Не забудь, мой дорогой, что в истории человечества имели успех тысячи учений. Всякий раз люди уверяли, что найдено.

наконец, последнее, единственное слово, и через каких-нибудь пятьдесят лет это учение наивной рожицей выглядывало из архива истории.

— Я вижу только, что отрицание — самое легкое из всего, — перебил Андрей. — Весь мир разлагается под лучами отрицания. Но вот я сейчас выйду от вас на улицу и мне придется, оставив мировые вопросы, выбирать номер трамвая, передний или задний вагон. Жизнь возьмет меня за плечи и поставит в ряды, как ставит всех, в том числе и вас. Да, вы ученый человек, вы богаты, у вас одиннадцать комнат. Десять? Ну, десять. Бонна и черный сюртук. Словом, не свитка и не халупа. Но и вы в своем ряду. Из этого ряда вы не хотите выпасть. Я сам знаю, что адвокаты — мошенники и все попы — негодяи. Я не знал, но теперь знаю, что воюют за чьи-то проценты, а не ради славы. Что родина — это понятие растяжимое и даже вовсе исчезающее под пристальным взором. Что границы страны и судьбы тронов могут меняться без малейшего изменения в жизни населения. Я очень люблю свое детство и поэтический городок на Днепре, где мы, мальчики и девочки, силились вообразить себе жизнь. Но этой войной мы целиком расплатились за сентиментальные заблуждения, за ослиные уши русской провинции. Нет, я не хочу старого, понимаете, не хочу! Я не буду плевать ему в лицо, бессильно браниться. Вместе с другими такими, как я, я хочу свернуть ему шею. Я не ищу сейчас очередного философского мировоззрения и разрешения мировых загадок. Я хочу найти круг идей, годных на сегодняшний день, человечных, имеющих дело с живыми людьми и вместе с тем настоящих, решительных.

— Что же, ты нашел этих людей на фронте? Любопытно! Пацифисты с парабеллюмами!

— Нет. Именно на фронте мне и многим стало ясно, что разговорами о христианской любви, о пацифизме нельзя прекратить войну. Есть люди, которые решили найти корень войны и вырвать его, хотя бы для этого пришлось ковырять землю штыками и взрывать города

динамитом. Я ненавижу войну, как все, кто побывал долго на фронте, но клянусь вам, что если бы где-нибудь под Барановичами или Ковелем поставили меж окопами неприступную крепость и сказали бы солдатам, что в ней защищаются все мерзавцы, которые наживаются на поставке орудий, все скоты, которые пьют шампанское в честь павших на фронте, все стратеги, какие замышляют и планируют войну, — эта крепость была бы взята штурмом с двух сторон. Офицеры не смогли бы догнать солдат, устремившихся в атаку.

— Ну, ты законченный большевик!

— К сожалению, нет.

— Чего же еще по-твоему нехватает? Бутылки?

— Разумеется, немецких денег, — зло возразил, вставая, Андрей.

Такие разговоры больше не приводили его в растерянность. У дядюшки какие-нибудь неприятности на бирже, потери, убытки, и, как следствие, — очередной припадок мирового сарказма. Революция наносит удары, а ее жертвы говорят о политике, философствуют, забывая о войне, о фронте, о том, что сами они вызвали дьявола событий. Еще одно доказательство несклад-ности этого мира, этого строя, этих испорченных насквозь людей. После войны, после развала армии, когда на страну наступает голод, нужны ли они, эти лишние доказательства?

Тысячи людей, познав ужас жизни, увидев ее неприкрашенную маску, настоящий оскал зубов этого волчьего общества, кляли, неистовствовали, стрелялись и убивали, падая бессильными под колеса равнодушно накатывающего очередного дня.

Но сейчас в мире все меняется. Человек нащупал рукоять, повернув которую, он выйдет из этих подвалов мерзости и смрада. О, только бы не изменила рука, не ошибся бы глаз, выдержали бы нервы!..

Елены не было в городе. Она с матерью жила в Финляндии, в Териоках. Горничная сказала, что барышня и барыня обещали вернуться к вечеру, но вернее ждать их на завтра утром.

Он вскочил в трамвай и поехал на Выборгскую.

На Сампсониевском проспекте пришлось пробиваться сквозь толпу. Обитатели заводских переулков вышли на край своего квартала, как выходили не раз в тревожные, бурные дни. Не так ли выглядело предместье Сент-Антуан десятого августа?!

Пиджаки с поднятыми воротниками, короткие пальтишки, меховые и кожаные истертые куртки, шинели со срезанными погонами, с одинокой никчемной пуговкой на плече. Женщины в платках, веселые пострелята, снующие в ногах. Они путаются в длинных овчинных тулупах, шаркают развалившимися валенками.

Народ возбужден. Выходящих из трамвая встречают как чужаков, осматривают, приговаривают, критикуют.

У иных парней за плечами торчат штыки винтовок, глаза полыхают огоньками недобрыми, заносчивыми.

Андрей шел сквозь толпу, как свой. Он мысленно оценивал сейчас ее боевую мощь. Какие задачи! Под силу ли? Какие задачи!

Выборгским парням неведомы были думы Андрея. Они видели его аккуратную фуражку, золотые струйки погон на плечах, лакированные ножны офицерской сабли. Они стеной перли ему навстречу, расходились только в последний момент. Они тыкали в него пальцами. В лицо ему запевали песни. Они были изобретательны в своей неприязни, и нужно было гореть своим пламенем, чтобы не заметить этой коллективной, плотно угнездившейся в глазах и мыслях ненависти.

Проспект напирал на Андрея. Где-то вдали, должно быть, у Сампсония гудел колокол. Тротуары шли от церкви к городу, к мосту. Андрей, — вероятно, единственный офицер на всю улицу, — двигался туда, где гремел колокол. Только сумасшедший мог бы пойти в эти дни по улице одиноким против течения, с офицерской кокардой на лбу.

Его несколько раз толкнули. В глаза ему заглядывали распаленные, дерзкие лица. Мальчики хватали его за шашку и убегали. Кто-то сзади крепко взял за хлястик и едва не вырвал с пуговицами. Ждали, что он огрыз-

нется, заругается, ответит ударом. Ждали, вздрагивая, как на охоте ждут сигнала трубы.

Но Андрей шел вперед, не останавливаясь, толкался сам, не обращая внимания на нелюбезные, настораживающие действия толпы.

На Бабурином немного домов. И дом и квартиру Васильевых найти было нетрудно. Во дворе, флигель, третий этаж. Дверь в клеенке, синий почтовый ящик. Все, как говорил Петр. У Петра даже голос потеплел, когда, передавая письма, он говорил о Васильевых.

Дернул звонок. Дверь открылась раньше, чем ожидал Андрей. Голова девушки вышла наружу. Пушистые волосы, как на ветру, нечеткий пробор.

— Вам какой номер? — она сжала губы и сузила глаза.

— Пятый.

— А к кому?

— К Васильевым.

— Тут Васильевы. Вы от кого же? — Она все еще не хотела распахнуть дверь.

— Да вы не бойтесь, — засмеялся Андрей, — вы, наверное, Люба, а я от Стеценки.

— Вы, значит, Андрей? — зарумянилась вдруг девушка. — Ну вот... А я вас на лестнице держу... Идите, идите. — Она теперь тянула его за рукав. — Иван дома и отец, и мама. А Алешка скоро придет. — Она зажгла свет. — Раздевайтесь. Шинелку, — тут, на вешалке.

Дверь вела в кухоньку. Из кухоньки — через коридор, настоящую щель, темную, как вечером дно ущелья. Большая комната переделена была шкафами пополам. Лепной круг на потолке приходился над небольшим буфетиком, а лампа над столом спускалась со стены. Видно было, что обживали квартиру долго. О чистоте заботились. Но все было потертое, насиженное, долго не менявшееся.

На звуки шпор показался из-за газеты старик с клочковатой бородой и белой бородавкой у носа в орех величиною. Он всем играющим морщинами лицом же-

вал хлебную корочку, запивая ее холодным чаем Волосы на лбу уже отступали, но на темени и на висках все еще бодро вились серебряными кустиками

Напротив него сидел крепкий мужчина с хорошим, поместительным телом. В таком теле и сердце и легкие, располагая обширными квартирами, должны работать без стеснения. Лицом он был бесцветен, нос слегка смотрел в сторону, и оттого обе половины лица были резко разные. Одна попроще, посмешливее, другая строже и аккуратнее. Характерна была нижняя челюсть, развитая, как у британца, — сила в ней таилась недюжинная, и вместе с серыми глазами холодной стали она говорила: палец в рот мне не клади.

Старушка-мать в ситцевом платочке с узкими концами, спускавшимися на грудь, худая и иссохшая, сидела с вязаньем напротив старика. Все смотрели на офицера как на необычное явление.

Андрей звякнул шпорами. Привычка. А тут вышло — совсем ни к чему.

Старик сморщился, смахнул морщинами очки на толстый конец носа.

— Это от Петруши, — сказала Люба.

— Ага, — крякнул старик Васильев. В глазах молодого ничто не изменилось.

— Как-то вас по Выборгской в таком виде пропустили? — спросил старик, не вставая. — Видно, вы не из трусливых.

— А что?

— Да амуницыя-то эта... — он кивнул головой должно быть, на погоны и шашку.

— Косо глядели, — засмеялся Андрей. — Как быку красная тряпка.

— Легко может статься — забодают, — сказал старик. — Такие ноне дни.

— Ну, а что же делать?

— А на кой чорт вам эти цацки... — брезгливо спросил сын.

— Да, пожалуй, ни к чему.

— Хм, — сделал Иван. — Ну, присаживайтесь.

Андрей отдал письмо Любе. Алексеево, толстое, положил на стол. Люба зарделась и письмо спрятала

— Чаю хотите? — спросил молодой.

— Выпью.

Старуха, оставив вязанье, нацедила из заслуженного самовара толстобокий граненый стакан и подвинула к Андрею по желтоватой отглаженной скатерти сахарницу с песком, в которой зачем-то торчали истертые щипцы.

— Что же у вас на фронте, спокойно?

— С немцами да... боев нет. А в частях приблизительно то же, что и у вас на улице.

— Чего же вы у нас на улицах увидели? — буркнул Иван.

— Вооруженных рабочих, возбужденную молодежь. Что-то, видимо, назревает...

— Назревает, — откинулся в креслице старик Васильев и белыми крупными пальцами застучал по столу. — И скажет же человек! Это в пятом году назревало... Теперь перезрело. Теперь у каждого рабочего вот такая подружка завелась, — он показал в угол, где стояла австрийская винтовка с плоским черным штыком. — Да и по деревням немало таких гуляет.

— Все вооруженные силы в тылу и на фронте на стороне революции. Зачем же вооружать городских рабочих?

— У нас на этот предмет особое мнение, — усмехнулся Иван.

— А вы, простите, может, какой партии будете? — спросил старик.

— Нет, я беспартийный.

— Так. Оно даже как-то странно.

— Папа этого не понимают, — усмехнулась молчавшая до того Люба. — У нас весь народ организованный.

— Теперь без организации какой же человек? — сказал Иван. — Для одиноких неудобное создается проживание. У нас вон девки и то в партию вошли...

— Вы так верите в силу организации?

— Чего тут верить или не верить. Один человек или тыща, или, может, миллион. Скомандуют — и пошли.

— А я видел, как на фронте партии складывались и рассыпались. Вожди надрывались — командовали — и ничего не выходило. Эсеров взять. Эскадронами и ротами в партию вступали, наверное, миллион был...

— То особ статья. Организация организации рознь. А мы вот, рабочие, знаем, что бороться без организации нельзя. Плевую забастовку без организации не устроить. И Ленин говорит...

— А вы знаете Ленина? — живо спросил Андрей.

— Чего проще. Частенько видаем.

— Что это действительно большой человек?

Молодой Васильев даже нагнул голову.

— Про то вам судить будет трудненько, господин офицер, а только, думается, не долго ждать, когда об этом спрашивать не будут.

«Вот это вера! — мысленно воскликнул Андрей.— Говорили ли так о ком-нибудь из генералов армии?»

В передней зазвучал расслабленный звонок. Открывать пошла Люба. Девушка в шубке мелькнула в двери и скрылась. В комнату быстро вошел худой, улыбающийся парень, а за ним старик. Старик сразу захватил внимание Андрея. На нем были старые, давно нечищенные сапоги и серого сукна куртка. И косоворотка и чиненые штаны не шли к его аккуратному иконописному лицу. Борода его белая, клинышком, была ровно подстрижена, на висках и по темени лежали седые, чуть зеленоватые пряди волос. Но брови и усы были выведены углем, без единой седины, и нос суровый, острый вылетал далеко вперед, находу ломался и сбегал крутым отвесом книзу. Если б к этому лицу острые жгучие глаза, это было бы лицо партизана, фанатика, но через глаза светились какие-то иные настроения, они светили даже не огоньками, а мягким отблеском, и потому лицо было скорее угодническое, иконописное.

Алеша не походил на брата, был худ, не широк в плечах, прост и обычен. Таких парней по Выборгской ты-

сячи. Отличала его только выписанная на его лице приветливость.

— От твоего они, — сказал отец, показывая на Андрея. — И письмо вот.

— От Петра, — заулыбался Алеша. Тут же присел к столу и стал читать.

— Пишет Петр, выручали вы его. Спасибо вам большое. Хороший он парень. Привязались мы все к нему.

Люба наклонила голову чуть-чуть. Но Андрей заметил. И здесь любовь... Но здесь, наверное, ничто не разделяет. Младшая Васильева вошла в вязаном платке на плечах. Волосы ее были зачесаны на пробор, гладкие до блеска. Глаза черные, с влажными огоньками. Она была строже и вместе с тем ярче и определеннее сестры. Она смотрела на Андрея и улыбалась, не говоря ни слова.

— Ну, что видели, Захар Кириллыч? — спросил Васильев прислонившегося к печке старика.

— Бурлит город. В переулках и то, как на Невском. Как народ-то всполошили!

— Тебе не нравится...

— Никому не нравится. У кого голова на плечах, а не примус. Чего затеяли. Не царя идете свергать.

— Не царя, буржуёв, — крепко сказал Иван.

— Буржуёв, — передразнил его Захар Кириллыч. — Дались вам эти буржуи. Житья вам от них не стало. За глотку тебя взяли, дохнуть не дают! — он схватил себя за горло.

— Шалишь, брат... Теперь мы их за воротник взяли, — засмеялся Алеша.

— А тебе и в праздник и в будень весело...

— А уж такой удался.

— Веселись, веселись. Как спустят штаны... Придется поплакать... А то еще и повыше поболтаешься.

— Ты бы зря не болтал, Захар Кириллыч, — сказала старуха Васильева. — Что это при матери, при девках такое говорить.

— А ты бы, мать моя, лучше сама бы своих-то попридержала. Ишь вот, ружьёв натаскали. Не квартира,

а казарма. Арсинал какой! Девки и то со шпа́лерами ножаются! Срамота! Я бы на твоем месте на пороге лежал бы, на улицу своих бы не пускал. Говорят, на Питер корпус казачий идет да ударники, да юнкера, да войска с фронту. Гляди, все три твои и не вернутся.

Старуха зашевелилась на месте и стала молча перевязывать платок. Захар Кириллыч смотрел на Андрея, может быть ища сочувствия.

— Ишел бы ты спать после моциону, Захар Кириллыч, — буркнул Иван.

— А ты не гони, не гони, молодой еще. Наслушались вы орателей... И где это видано, чтобы против корпуса казаков итти.

— В девятьсот пятом ходили. Круче были времена, — серьезно сказал старик.

— Чудак ты, Захар Кириллыч! Голова у тебя от старости мутная, — смеялся Алеша. — Сам видел город. Тут и три корпуса мало. А с фронту солдат на нас не вытащить. Об этом осведомлены. Вот вы скажите, господин офицер. Пойдут солдаты против питерских?

— Я за весь фронт говорить не буду. Если судить по тому, что я видел, так на фронте даже роту не собрать на защиту Керенского.

— Видал?! — стукнул Иван по столу. — Это тебе не солдат, офицер говорит.

Захар Кириллыч посмотрел на Андрея совсем неободрительно.

— Всякие и офицеры бывают. Настоящий офицер на Выборгскую сторону и не забредет...

— Офицер офицером и останется, — хмуро сказал Иван.

Теплые струйки пошли к вискам Андрея.

— Ну, ты зря, — смущенно сказал Алеша.

Ксения улыбнулась открытыми белыми зубами.

— Ну, мать, кормить надо, — сказал Иван, — а то за нами, что ни час, притти могут.

— Куда же вы на ночь?

— Куда пошлют, мать, — смеялся Алеша. — У нас, как на войне. И штабы, и телефоны, и мотоциклеты.

Одно слово — Красная гвардия. — Он двигал руками туда-сюда. — Приказ — и пошли ребята. Скажут в атаку, — пойдут в атаку.

— Радуешься, как несмышленыш, — бурчал, уходя в коридор, Захар Кириллыч. — Войну-то ты и не видал. А кто ее видал, не возрадовался.

— Наша война веселей. У нас сел на грузовик и пошел по мостам, по набережным, с песнями, с гармонью...

— Не люблю, когда треплешься, — сказал Иван. — Ты привез что, или так, пустой?

— Посмеяться нельзя! Вот братец у меня строгий, — сказал Алеша Андрею и уже серьезней: — Машина утром придет. Сашка Кикин тут ночевать будет. А остальные подойдут. — За окном тяжело прокатил грузовик. Алеша подошел к окну и долго смотрел в мутную темноту улицы. — А еще у нас на заводе новости. Директор новый. Старого по требованию совета сняли. Побаиваются хозяева.

— Не об директорах разговор теперь, — сказал Иван. — У нашего, говорят, и квартира забита. В конторе живет. Удрать куда собирается, что ли. Может, за границу. Пожалуй, не глупо поступлено.

— Сурьезные дела, — сказал отец. — Вы, небось, не ждали такого.

— Не ожидал, — сознался Андрей. — Можно было всякое ожидать — и революцию, и восстание... Но вот такой революции, против собственности, против капитала... Нет, этого никто из нас не ожидал.

— Рабочего не спутаешь в картах. Рабочий сызмальства знает, кто ему враг. Мы знаем, на чем война вертится. Нам эти нитки да узелки видимы. У крестьянина или там у студента глаза замазаны, а мы перед собой всю эту машину каждый день от гудка до гудка видим. Рабочий, когда Маркса или Ленина читает, то ему все кажется, что его собственные мысли в порядок взяты да сказаны так, чтобы всякому ясно было. Потому рабочий класс и идет за этими вождями.

— Не думаете ли вы, что уже пришло время взять власть рабочему классу?

— А вот вы человек образованный. Так вот скажите мне, было еще такое время, когда это можно было сделать? Ну, в пятом, в шестом году. Поставят взвод городовых на мосту — и стоп Выборгская. Наши постреляют из-за угла, из шпа́леров — и все. И оружия у нас настоящего никогда не было. В пятом году из-за границы пароход везли с револьверами. Так он на камень сел. А теперь солдаты за нас, оружия — вон целый ящик патронов, — Васильев указал на старый комод. — Хозяйка ругается — белье, говорит, девать некуда. Когда же еще такое было? И потом житья не стало — расшевелился рабочий. — Одно — война уже четвертый год, другое — хлеба нехватает, разор в стране, дороги стоят, в лавках пусто. Царя скинули, буржуазия попробовала, да тонка кишка.

— А справится ли рабочий класс?

— А уж тут, батюшка, выбору нету. Сами за себя. Трудненько, полагаю, будет, да уж ничего, вытянем.

— Вытянем, батя, — вскочил Алеша и хлопнул старика по плечу.

Иван смотрел на них уже не сердито.

— Я вот вижу, вы в свое дело верите, — сказал взволнованно Андрей. — У вас даже сомнений нет... А я за три года впервые вижу людей, которые верят во что-то до конца. Вот и германцы верили...

— Наша вера крепче будет, господин офицер, — сказал Иван. — Отцы наши в девятьсот пятом году верили, то уж нам не верить не пристало. Наши и за фронтом есть, и в других странах. Письма доходят...

— Верно, Васильич, верно! — раздался зычный голос в дверях. — А только вы что двери-то не закрываете? Гостей ждете?

— Это, конечно, Ксения, кто же иначе. За ней прислугу надо.

— Милого ждешь, Ксенюшка? — хохотал на пороге рослый парень в папахе, весь в пулеметных лентах. Он стукнул прикладом об пол. Из-за его плеча выглянула

веселая физиономия в матросской фуражке. Парень посмотрел на Андрея, смешно вытаращил глаза и выпалил, дурашливо взяв под козырек: — Виноват, ваше благородие, откель пожаловали?

— Брось, Сашка, свой это, от Петра Стеценки с фронту, — взял его за рукав Алеша.

— Отчего же погон-то не снял, коли свой? За звездочку держитесь?

— Ну, чего пристал? — сказала Люба: — проходи, садись, не в погоне дело.

— А, может, он мой глаз колет, — не угомонился солдат. Он опять дурашливо схватился за голову. — Не терплю офицерского духу, — такой я особенный.

Видно было, что дурачится он для того только, чтобы оттянуть время и успокоиться. Не снести ему в этот вечер здесь на Выборгской золотые офицерские дорожки. — Наверное, Кольцов оскорбился бы, Горелов тоже.

— Могу вам подарить эти дорожки, — сказал Андрей, не вставая. — Мне они никогда не доставляли радости.

— Так мы их ножичком, — засмеялся солдат и полез под шинель в карман.

— Нет, Сашка, это уж дудки, — сказала Люба. — Если на то пошло, так я ножничками. Можно? — спросила она Андрея.

Андрей кивнул головой.

Люба, смеясь в лицо Андрею, аккуратно срезала мягкую дорожку погона, потом другую. Теперь только золотая шерстка осталась у края рукава, обнаружила, что здесь когда-то был пришит погон.

— Ну, я как рада! — засмеялась Люба. — И Петруша обрадуется... А я-то все думаю, как вы домой пойдете.

— А вам далеко? — спросил матрос, усаживаясь в шинели на кушетку.

— На Невский.

— Ну, так не больно бы вы добрались. На мостах патрули... И без погон, чего доброго, не пропустят. А трамваи давно в парк пошли.

— Вот так штука! — сказал раздумчиво Андрей.

— А вы оставайтесь, утром на грузовике вас доставим, — предложил Алеша. А то, может, вместе Зимний брать пойдем. Или телефон, или еще чего.

— А евангелист ваш где? — спросил Кикин.

— Спать пошел в большом неудовольствии, — засмеялся Алеша.

Пришельцы внесли в комнату шум улицы. Оба были рослые, широкоплечие. Казалось, руки у них долго были связаны, а теперь вырвались на волю, и им тесно в этой людной комнате с низкими потолками.

— Ну и народ прет туда через Неву, прямо миллион, — говорил матрос.

— Видимо-невидимо.

— А ружей... Пулеметы тащат.

— Неужели все с фронта?

— Всякие есть.

— И стрелять будете? — спросила мать со страхом в глазах.

— Непременно, мамаша.

— И они стрелять будут? — беспокойно спрашивала старуха.

— Не, они разучились, — смеялся Сашка. — Теперь наш черед.

Он подошел к стене, сорвал гитару и забренчал на струнах весело.

Старик Васильев поглядел на него неодобрительно.

— Да ты не серчай, Иван Васильевич. Что ж нам плакать прикажешь?

— Сурьезности в тебе нету. А момент сурьезный.

— Чего сурьезнее! Временное завтра скинем. Посидели и будет...

— Чего орешь-то?

— Чего же не орать? В газетах было. Теперь все одно назад не повалимся. Хоть отбой дай, не выйдет. Все равно народ сам на дворец кинется. Как мышей всех подавят. Хуже будет.

Андрея положили на кушетке в столовой. Квартирка затихла не сразу, и еще резче обозначился шестиаю-

щий шум улицы. Иногда веселый свист прорезывал гул голосов, иногда вздрагивали стекла в оконницах,— проезжал грузовик, и тусклые пятна света пробегали по потолку и по верхушкам стен... На полу тихо похрапывали Сашка и матрос. Мысли шли спутанные, разорванные. Они отбивали сон и рушили ощущение времени. Весь дом спал. Как будто не этим ребятам, а ему, Андрею, предстояло вступить завтра в бой...

Хозяйка завозилась в кухоньке уже с пяти. В шесть пили чай и на автомобильный гудок выбежали на улицу. Автомобиль, набитый людьми, понесся через мост, по набережной, прямо к дворцу.

— Слезешь? — крикнул Алеша на съезде моста.

— Поеду с вами, — серьезно сказал Андрей.

Заря едва пробивалась сквозь низкие облака, и широкой дорогой, серой и хмурой, неслась к морю Нева. Еще курились ночные костры. Люди кутались в шинельки, прижимали к телу винтовки. Смотрели на грузовик весело, перекрикивались, стреляли махорку. На петербургских улицах раскинулся бивуак. Казалось, вот-вот издали, как стон земли, донесется гул орудия, и за домами, как за лесом, побежит пулеметная трескучая дорожка...

Заставы густо стояли у Летнего сада, у моста через Фонтанку, у Троицкого моста. По Марсову сонно бродили люди. Переулком свернули на Миллионную и стали у моста перед Эрмитажем. Кое-где у ворот валялись выломанные двери, вывески, бочки. Может быть, готовились строить баррикады, но раздумали. Широкая полоса у самого Зимнего была пуста. Только у штабелей дров, которые черным валом вытянулись перед фасадом дворца, копошились люди. У Россиевой колонны, тесно прижавшись к цоколю, стояли, вскинув винтовки на руку, две фигуры. А дальше опять было пусто. Но в выходах на Адмиралтейский, на Дворцовый мост, на Морскую чернело от людей. Казалось, это глядели на дворец не улицы, а жерла невиданных еще пушек, которые готовы выстрелить в него вооруженной толпой.

Во дворце кое-где были открыты окна верхних этажей. Вероятно, они служили бойницами для защитников

У дворца стояли часами. Ноги стыли на мокрой октябрьской стуже. Грелись у костров. Здесь были веселые и суровые, балагуры и молчальники, но все глядели бодро. Здесь не томились надеждой на случайный отказ какого-то неведомого начальства от атаки. Приказа об отступлении не приняли бы, ему бы не повиновались. Нельзя было понять, кто здесь командиры, но порядок в передвижениях соблюдался образцовый. Иногда подлетали, шипя на тормозах, легковые автомобили. Штатские и военные проверяли патрули, беседовали с матросами и красногвардейцами. Успокаивали нетерпеливых и уносились дальше. Один такой, с узким лицом, острой бородкой, трепаной шевелюрой, совсем не командирского вида, поговорил с Иваном Васильевым, и тот сразу скомандовал своему отряду: «На грузовик!» Рабочие и солдаты, стуча винтовками, полезли на высокую машину. За ними и Андрей. Шофер в кожаной куртке решительно крутнул винт.

Грузовик запыхтел, тяжело заезжая на тротуары, повернул, вылетел через переулок на Мойку и помчался по набережной к Невскому.

— Назначили нас к Варшавскому, — кричал, рискуя прикусить язык, Алеша. Держась обеими руками, он сидел на откидной боковине рядом с Андреем. — От Гатчины Керенского ждут с фронтовиками. Может быть, это почище дворца будет.

У Невского — остановка. На Полицейский мост от Адмиралтейства взбирается легкая батарея. Ездовые, номера на ящиках — все аккуратные, затянутые фигурки. Но лица батарейцев приниженные, затихшие. Батарейцы не знают, куда смотреть, и глядят в упор на конские зады, на торцы панелей. На тротуарах толпа. По бокам бегут двумя шеренгами матросы с винтовками наперевес.

— Юнкеришек захватили, — орет Сашка. — Ясно. Наверное, к Зимнему прорывались.

— Ай да мы! — взмахнул руками Алеша. — Куда их,

землячок? — крикнул он матросу, запутавшемуся в толпе.

— К Смольному волокём, а там что скажут. Хоть к Исусу.

— Ах, боже мой! — воскликнула какая-то дама. Мужчина крепко и недовольно взял ее под руку.

У лафета последнего орудия ехал юнкер Васильевский. Пустой кобур не был даже застегнут. У ворота шинели был сорван крючок. Он узнал Андрея и отвернулся.

Батарея прошла, и автомобиль понесся дальше по правому берегу Мойки.

У Почтамта толпа запрудила все переулки.

— Ну, как там? — крикнул Алеша солдатам.

— Не то взяли, не то нет... — ответил один из ближних. — А вы куда же?

— А мы Керенского поймали. Вот тут в мешке на дне, — трепался Алеша, показывая на пулемет под брезентом.

— Ну? Брешешь... — раскрыл рот солдатик. — Самого?

— А ты догони, покажем, — кричал, подпрыгивая на ухабах, Алеша.

У Варшавского стали.

Иван поманил Сашку и стал что-то шептать ему на ухо. Сашка послушно кивал головой.

— Вы бы тоже смотались с ним в Смольный, — сказал Иван Андрею. — Там бы заявили в Революционный военный комитет, что хотите с нами. И дело вам настоящее дадут и бумагу... А то так, гостем, нескладно выходит.

Андрей растерялся.

— И верно! — крикнул с машины Алешка. — А мы тут проболтаемся... В случае чего опять на квартиру...

— Ну, пошли, ваше благородие, — сверкнул глазами Сашка. — А то дел у меня куча! — Гремя патронами, он спрыгнул с высокого тротуара и зашагал к трамваю. Андрей рядом с ним повис на подножке.

На углу Невского и Садовой Сашка бегом устремился

к остановке трамвая. Здесь, рассекая толпу, Андрей заметил двух дам в парядных шубках и офицера в форме гвардейского полка. Одна из дам повернула лицо в его сторону. Это была Елена. Он скорее почувствовал, чем увидел ее. Метнулся было назад, но вереница извозчиков уже разделила их.

— Ты не чухайся, парень, гляди, двенадцатый идет! — кричал Сашка и тянул его за рукав. Андрей поспешил вслед за ним в вагон. С площадки находу он опять увидел обеих дам. Елена стояла теперь под часами Публичной библиотеки и смотрела вслед трамваю, не обращая внимания на спутников, которые прошли дальше и теперь ожидали ее у решетки сада.

У Смольного было людно, шумно и деятельно, как на пристани перед отходом большого корабля. Меж неуклюжими каменными столбами портала стояли, как вытянувшие головы борзые собаки, тяжелые пулеметы. Все пространство за решеткой было набито вооруженными людьми. В коридорах не протолкнуться. Сашка шел по коридорам как свой человек. В большой белой и пустой комнате он толкнул Андрея к столу, у которого сидел тот же остролицый человечек, что отправлял автомобиль от Зимнего на Гатчинскую дорогу. У человека были воспаленные глаза и запекшиеся губы.

— Вы офицер? — спросил он Андрея.

— Так точно.

Человек устало улыбнулся.

— Прапорщик артиллерии, — поправился Андрей и стал в вольную позу.

— И хорошо стреляете?

— Не плохо.

— Вот тебе и командир, — сказал человек рыжеусому приземистому унтеру. — А ты плакал.

Унтер смотрел на Андрея недоверчиво.

— Ничего парнишка, — стукнул Сашка по плечу Андрея. — Бери, браток, подходячий!

— Напишите товарищу бумагу, — сказал человек соседу в кожаной куртке, который, сидя рядом, вертел в руках пресс-папье.

Андрей ждал, что его спросят, что толкает его, офицера, на путь помощи большевикам. Но человек уже разговаривал с матросом.

Кожаный картуз оторвал от листа крохотный клочок бумаги и размашистым почерком вывел три строки, гласившие, что Андрею Кострову поручается командование сводным взводом артиллерии.

— Ну, теперь ты меня вези. По дороге... — решил Сашка.

Взвод стоял в переулке у Смольного. Унтер-офицер шел с Сашкой, посматривая на Андрея, и было понятно, что они разговаривают о новом командире. Взвод солдат только что привели из артиллерийских казарм, помимо воли эсеровского комитета.

Унтер-офицер скомандовал: «По коням!» — и обратился к Андрею:

— А для вас коня пока нет, придется на передке.

— Вот что, товарищ, — сказал ему Андрей. — Командуйте лучше вы. А вот когда дело дойдет до стрельбы, тут я буду на месте. Стреляю я не плохо, — он вспомнил кольцовский класс.

— Ну, ладно! — сказал видимо довольный унтер. Он уже веселей хлестнул плеткой по сапогам и стал взбираться в седло.

Взвод то шагом, то рысью быстро продвигался по улицам.

— Мы тут в казарму завернем. На обед и все такое. А в четыре выступим. Ты, что ж, с нами или к себе сгоняешь? — спросил унтер у Андрея.

— У меня дела кое-какие. А к четырем я буду.

«Кое-какие дела» очень беспокоили Андрея. Последнее время, вспоминая об Елене, он машинально начинал напевать про себя что-то грустное, но ведь разрыва не было, и в глубине сознания тлели еще какие-то надежды. Революция сыграла с Ганскими плохую шутку, но разве не может Елена стать такою же, какой была там, в домике у деревни Носовки? Когда стояла перед его глазами та Елена, из домика, тогда все казалось возможным. Но была еще другая Елена. Елена

последних встреч, последних писем. Она казалась загадочной, и эта загадочность ничего не обещала. В сущности, что знает он об этой девушке? Всегда с ним так, — стоит ему привязаться к девушке, взволноваться, и он незаметно для себя начинает усложнять ее образ своими собственными мыслями, догадками, сомнениями. Так теряется ощущение человека. Этот грех известен ему самому. Так же было с Лидией, то же может быть и с Еленой.

Конечно, нельзя сравнивать Елену с Лидой. Но разве живет она в его сознании, как все прочие женщины? Этот год не сблизил их. Что-то большое, может быть главное, чем живет он сейчас, для Елены — чужое. От нее надо скрывать, как несчастье, как болезнь, все, что принесла ему революция.

Но все это новое пришло не случайно, не сразу. Оно росло в нем день за днем. Война поливала ростки щедрой струей событий и перемен, и, прежде чем он сам заметил это, корни новой веры вросли в него так глубоко, что их больше уже не вырвать.

Где-то далеко маячат образы Горбатова, студенты, офицеры дивизиона, парки. Напишет ли ему хоть один из них, если порвется прямая связь? Вероятно, нет. Разве Алданов! Сегодняшний день всеми глазами глядит в будущее. Идя по этому пути, он неизбежно отойдет от Елены.

Так многие любят срывать понемногу струп еще живой ранки, хотя никому другому не дали бы дотронуться до нее. От этой боли становилось и грустно, и одиноко. Все эти новые люди еще пока смотрят и долго будут смотреть на него как на чужака, на приблудившегося. Может быть, Петр...

От него пахнуло дружеской радостью, когда Андрей после молодеченской встречи с индийским мудрецом пришел к нему и они проговорили всю ночь. Но и Петр, вероятно, все еще сомневается в устойчивости его новых настроений. То же и с Катериной... Как хорошо было бы, если бы все ушло, все прежнее, все, что иссушила, уничтожила война. И осталось бы от прошлого

от личной жизни, только одна Елена. Если бы она ушла с ним в это новое.

Возможно, пожар разольется по всему миру. Если восстанут эти замечательные германцы, эти нибелунги в нескладных куртках с черными вещевыми мешками, прошедшие Европу из конца в конец, эти порывистые мадьяры, пылкие французы, упорные британцы.

Неужели уж так трудно понять и возненавидеть вместо войны тех, кто ее творит и питает!

Тогда в Европе начнется перестройка жизни сверху донизу. Творческий век. Созидательная работа небывалого масштаба. Хватит на этих лесах места и ему, и его подруге. В такие минуты Андрею казалось, что он мог бы растолковать все это Елене, мог бы зажечь и ее. Ведь это та самая девушка, которая вздрагивала от его слов о фронте в темную августовскую ночь на свадьбе Кирилла.

Потом он криво улыбнулся своим мыслям. Он знал, что прежде всего он разжигает этими мыслями огонь в себе.

Швейцар нового дома, в котором поселились Ганские, был чем-то недоволен. Провожая Андрея, он мотал ногой по ковру, пренебрежительно принял и поставил у вешалки галоши Андрея, а затем с удивлением посмотрел на блестящие ордена на френче, приосанился и покачал головой. Горничная ввела его в коридор и сказала:

— Вторая дверь налево

Андрей остановился у самой двери. В комнате кто-то читал стихи. Знакомый голос. Деланный театральный подъем.

...Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль.
Взлетели кости, звонкие, как сталь
Упали кости, — и была печаль.

Недовольный швейцар внизу и королевские мантии в гостиной возвращали к старому миру... Андрей во-

шел по ковру неслышными шагами и, поклонившись, остановился у двери. Читал тот же гвардеец, которого он уже встречал у Елены. Он читал еще долго, и Андрей рассмотрел всех, кто был здесь. Еще один офицер. Высокий, красивый. Это, вероятно, Константин. У него семейное сходство с Еленой и... тахте — полная круглолицая девушка с толстыми ногами и свежим лицом.

Когда гвардеец кончил, Андрей, поздоровавшись, сел на пуф у тахты, и Елена спросила его:

— Давно вы в Петербурге? — Она смотрела на него испытующе.

— Дней пять.

— А я вернулась сегодня. Звонила несколько раз... Вы надолго?..

— Не знаю.

— Мне казалось, я видела вас на Невском... утром...

Андрей молчал.

— ...но, вероятно, я ошиблась.

— Нет, не ошиблись, — поднял голову Андрей. — Я тоже видел вас. Я был не один.

— Значит, этот солдат... с такими ужасными патронами через плечо... был с вами?

Андрей кивнул головой.

Елена смотрела испуганно. Андрей глядел ей в лицо.

— Вы думаете остаться в Петербурге? — спросила Елену круглолицая девушка.

— Мы еще не решили, — повернулась к ней Елена. — Это все ужасно сложно. И я, признаться, не все понимаю. Может быть, уедем в Москву... или за границу...

— В Москве то же самое. Мы получили письмо, — воскликнула девица.

— Э, везде хорошо, где нас нет, — сказал Константин, вставая и вытягивая могучее, красивое тело. — Над нами не каплет, поживем — увидим.

— А мама думает, что здесь никак нельзя оставаться. Она замучилась за эти дни, бедняжка. Вчера она полтора часа простояла на ногах в банке. Видимо, многие

берут деньги и ценности. В сущности, банки сейчас ничего не гарантируют.

— Султановы все перевели за границу, — заметил гвардеец.

— И глупо! — зашагал по комнате Константин. — Сейчас на трансфере приходится терять чуть ли не половину. А если здесь обойдется, то ценности очень быстро войдут в норму.

— Конечно, прежде всего нужно иметь крепкие нервы, — горячо сказала девица — Паника хуже всего!

— Это кто так говорит? — засмеялся Константин.

— Папа, — наивно воскликнула девушка.

— Я считаю, — веско рассуждал Константин, — долго этот кабак не просуществует. Ведь у них нет ни денег, ни кредита, ни настоящей власти, ни войск. Все это построено на голой демагогии. На города надвигается голод. Всю ораву кормить будет нечем, и они сдадутся. Тут трудность одна... Кого звать — немцев или союзников? Вот в этом загвоздка.

— Оба люше, — скривившись, прошепелявил гвардеец.

— Да, не сладкое кушанье. Вся эта история дорого обойдется империи. Во всяком случае, все, кто сейчас имеет средства, должны закупать продовольствие, муку, керосин... Да, да, на электричество лучше не надеяться... И отсиживаться. Пусть все эти эсеры, эсдеки кого-нибудь растерзают друг друга. Посмотрим, надолго ли хватит темперамента.

— Какой вы стали практичный, Костя, — с предельной ласковостью сказала девица.

Константин зевнул и посмотрел на часы.

— Двинуть куда-нибудь, что ли? Что, теперь кабаки закрыты?

— Поедем ко мне, — предложил гвардеец. — Позвоним кой-кому. Пойдемте, Адель.

Девица ушла с ними к телефону.

— Скажите, — быстро обратилась к Андрею Елена. — Почему вы были без погон? У вас было столкновение?

— Нет... собственно... не было...

— Но почему же тогда?.. И кто этот солдат? По виду — это убийца.

— Я уже говорил вам, Елена. В убийствах вы смыслите очень мало.

— Все равно. Эти банды бросаются на дворцы...

— Они берут их штурмом.

— Воображаю, какие зверства!

— Они отпустили всех решительно... Ни один юнкер не был убит после взятия дворца.

— Вы так осведомлены?

— Да, я знаю.

— Вот как. Тем хуже. Как можно защищать этих грабителей... Они начинают ходить по квартирам.

— Елена, скажите по совести. Если бы Петербург сейчас оказался в руках офицеров, какую часть питерского гарнизона и рабочих повели бы они под расстрел?

— Вы говорите ужасные вещи. Вы — интеллигент. Что общего у вас с рабочими?

— Когда-то и я думал, что ничего. Я ошибся. У меня есть только две руки и голова. То же имущество, те же возможности, что и у рабочего... и еще то же отвращение к старому. И вы, когда вы были бедной интеллигенткой, вы были со мной. Получив наследство, вы ушли...

— Это вы уходите...

Андрей отошел к окну. Мокрые панели лежали черными дорогами. В обнимку шли, насвистывая, трое веселых парней. Солдат с винтовкой за плечами спешил туда же. Потом одним только тусклым огнем пронесся автомобиль. Все течет туда, на восток, к Смольному. Что-то делается теперь там? Там, где никто не колеблется, все полны решимостью.

— У нас нет больше общего пути, Елена. Я это вижу. Чтобы был общий путь, надо, чтобы вы покинули своих и пошли со мною. — Он шагнул к ней. — А я берусь оправдать в ваших глазах свой путь. Если я все расскажу вам, если я расскажу правду, покажу вам... вы поймете.

— А если вы ошибаетесь, если все вернется к старому?

— Если даже вернется... Сейчас, понимаете, сейчас не такой момент, чтобы изменить этому замечательному усилию перестроить жизнь.

— Но ведь большевики — немецкие шпионы... — нерешительно поднялась ему навстречу Елена.

— Кто говорит, Елена? Около вас — не те люди. Уйдемте! Ведь вы, когда-то были равнодушны к богатству. Кроме того, все богатства, в том числе и ваше, сейчас дешево стоят.

Елена смотрела ему в глаза. Почти такая же высокая, как он. Прямые плечи, гибкое длинное тело, мягкие волосы в шелковом золотистом пуху от люстры.

— Нет, Андрей, я не могу этого сделать... При виде оплетенных патронами солдат у меня мороз проходит по коже. — Ее плечи вздрогнули.

Хотелось запомнить навсегда ее лицо, волосы, руки.

Андрей поклонился и пошел к выходу.

— Я позвоню вам по телефону... донеслось из гостиной.

Рука долго не могла поймать рукав шинели. Елена и горничная смотрели на золотую, встрепанную бахрому на месте погона.

Андрей обошел глазами зеркало, оправил шашку и шагнул за порог...

К Варшавскому вокзалу то и дело подходили пешие команды, подкатывали грузовики, набитые вооруженными людьми. Пешие проходили в вокзал. Конные продвигались дальше по Обводному к Забалканскому.

Взвод Андрея продвинулся за заставу к Гатчино и там стал в зарослях у одинокого здания с фасадом на шоссе.

Ночью в городе говорили винтовки, вспыхивали быстрые зарева, несколько раз вздыхало тяжелое орудие. По дороге двигались солдаты, моряки и красногвардейцы.

Спать легли в маленьком домике, потеснив хозяев. Унтер угостил Андрея банкой консервов и краюхой хлеба.

Унтер был действительной службы, ранен под Сохачевым, попал в столичный госпиталь, а оттуда в запасный артиллерийский дивизион. Он был костромской крестьянин. Семья была бедная, лапотная, голодная. Армия показалась сперва сытой жизнью, а потом стала живому, любознательному парню школой. В запасном батальоне он сблизился с прапорщиком-большевиком, и уже к февралю, по его словам, „был готов".

Покончив с консервами, унтер вытер о полу шинели складной нож, вышел проверить караулы и принес со двора пару попон с крепким запахом лошади. Он оглядел комнату и бросил попоны на пол рядом, под иконами.

— Тут, я думаю. В случае чего — в окно постучат.

В темноте совсем близко ходил огонек его папиросы. А потом он перекинулся на локоть и стал вышептывать Андрею про лошадей, про корма, про свободный отряд, про себя, про деревню. Но от деревни, от казары, от фронта мысли его неизменно обращались к сегодняшнему дню, и он замолкал под тяжестью налетающих шквалом дум.

Андрей засыпал.

Но в углу опять чиркнула спичка.

Острый огонек пошел кверху и вдруг закивал энергично.

— Фронтовые за нас, фабричные за нас, по деревням народ, почитай, весь за нас. Чего же такое осталось? Казачишки да юнкеришки, да кадеты, да в городе где — какой чахоточный народишко... Глядишь, к весне пахать пойдем.

— А немцы? — лениво спросил Андрей.

— А ежели мы евонного не хотим... Так и ему наше поперек горла станет. Без аннексий и контрибуций... А если да чего отдать, — так по-моему што жа? А то что еще воювать — всех перестреляють... В гробу достатки не считать.

„Отдать .. Как просто, — думал Андрей. — Тысячу лет собирали, сколачивали... Династии... Калита, Грозный... Вот этими руками костромичей да ярославцев. А им оно оказывается ни к чему... земли Ливонские, Ингерманландия!.. Чушь, чушь. Тысячелетняя чушь!"

— Житьишко тощее,—размышлял унтер. Все одно— никак назад не ходить.

Папироса ткнулась огоньком в пол. Запахло горелым. Опускались тяжелеющие веки. В ушах звенела разогнавшаяся за день, все еще не стихающая кровь. И оттого казалось, что унтер, и он, и весь этот домик, и батарея летят в темной глубине ночи куда-то вперед, вместе с совершающей свой бег с заката на восток затихшей землей. Это был сон наяву... Плоскости земные поворачивались, и воображение, подстегиваемое словами унтера, как ударами бича, наполняло темноту движением. На материках земных до горизонта толпился народ, и где-то впереди тонули, воздев руки к небу, юнкеришки, казачишки и еще какой-то народ...

Впервые не с башни благополучия, а из глубины этого самого человечьего моря надо было смотреть на мир, и мир оказывался иным, не смутно прозреваемым, а простым, из плоти и крови, вот той самой крови, что все еще звенит в ушах и свинцом наливает веки.

Окно зазвенело под резким ударом. Налитые сном веки не хотели расходиться даже тогда, когда уже руки нащупывали рукава шинели. Навстречу глядела глухая ночь.

— Чего? Чего гришь-то?—суетился в углу унтер.— Вскидавайсь, ребята!

Комната шевелилась. Чиркали спички. Тени бешено метались на пустой стене.

Волоча по полу амуницию, унтер выскочил в двери. Андрей, так и не надев шинели, бросился за ним.

На дороге чавкали в грязи копыта. Фонарь колыхался у конюшни. Люди спешили по дороге к кустарникам, где стояли пушки.

— Чего там? — кричал впереди унтер. — Кто стукал?

— В отряде тревога. Говорят — подходит.

— Тебе что нужно,— обратился унтер к Андрею,— фонарик, свечу али лампу?

— Фонарик для точки наводки... И лучше бы лампу, чтобы по карте. Не думал я, что тут и будет позиция,— извинялся Андрей.

— В естом деле, где стоишь, там и позиция, — вразумительно заметил унтер.

У двух орудий суетились люди, крепили фонарь, подкапывали хоботы, придвигали ящики, навинчивали панорамы. Унтер подбежал к номерам.

— Копайсь, копайсь, это тебе не фронт!

Подъезжал конный. Лошадь споткнулась о камень.

— Который тут командир?

— Ну, давай, чего тут? — спросил унтер.

— Из штаба отряда, насчет антилерии.

— Дай огоня, — скомандовал унтер и разорвал полевой пакет.

— Чтоб усе было готово, — посмотрел он в глаза Андрею.

В пятне от лампы — рыжебородое лицо. Светлые, но крепкие глаза. Замок одной из пушек открыт. Вот входит в дуло длинный черный патрон. От батареи и туда, к Петрограду, и на юг до германских фронтов, и дальше, может быть, и до самого Черного моря раскинулась ночь. Замок клацнул и закрылся. Наводчик утер рукавом усы.

— К бою готово, — серьезно сказал Андрей и взял под козырек. Помолчал, усмехнулся, прибавил: — Это ведь не на фронте...

— То-то же! — так же серьезно сказал унтер. — Доложи, товарищ, начальнику отряда: на батарее все готово...

Конец

Ленинград — Москва.
1928—1933.

Отв. редактор *Е. Рубинчик*, техн. редактор *В. Яковлева*, корректор *Н. Кравцова*. Сдано в набор 20/VIII—34 г. Подписано в печ. 11/XI—34 г. Ленгослитиздат № 513. Тираж 50.000 экз. Ленгорлит № 29963. Авт. листов 21. Бум. листов 6¾. Бум. 72×100 см. Зак. № 2064. Отпечатано с матриц в типографии им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57.

Цена 1 р. 50 к., переплет 50 к.

— В естом деле, где стоишь, там и позиция, — вразумительно заметил унтер.

У двух орудий суетились люди, крепили фонарь, подкапывали хоботы, придвигали ящики, навинчивали панорамы. Унтер подбежал к номерам.

— Копайсь, копайсь, это тебе не фронт!

Подъезжал конный. Лошадь споткнулась о камень.

— Который тут командир?

— Ну, давай, чего тут? — спросил унтер.

— Из штаба отряда, насчет антилерии.

— Дай огоня, — скомандовал унтер и разорвал полевой пакет.

— Чтоб усе было готово, — посмотрел он в глаза Андрею.

В пятне от лампы — рыжебородое лицо. Светлые, но крепкие глаза. Замок одной из пушек открыт. Вот входит в дуло длинный черный патрон. От батареи и туда, к Петрограду, и на юг до германских фронтов, и дальше, может быть, и до самого Черного моря раскинулась ночь. Замок клацнул и закрылся. Наводчик утер рукавом усы.

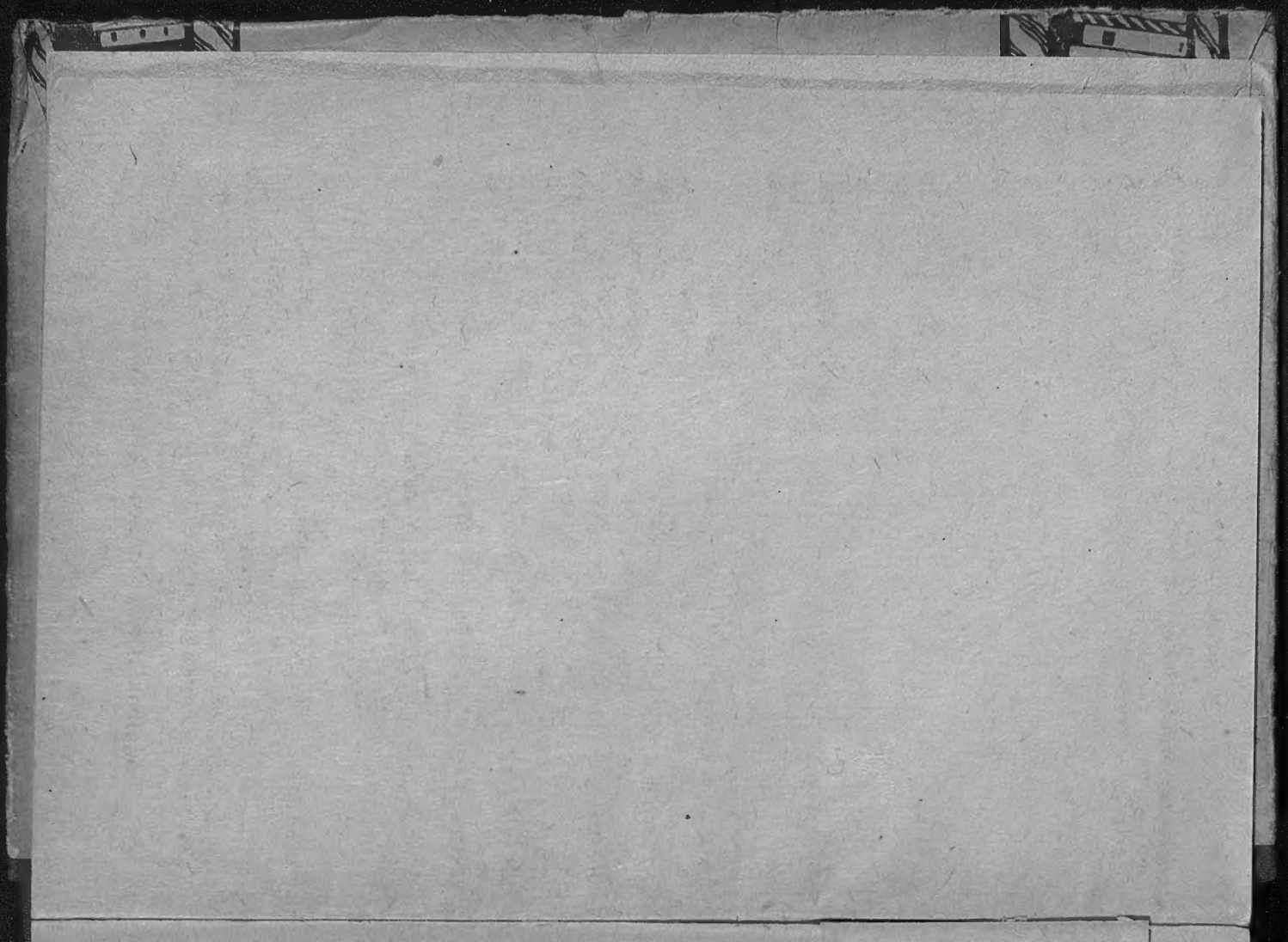
— К бою готово, — серьезно сказал Андрей и взял под козырек. Помолчал, усмехнулся, прибавил: — Это ведь не на фронте...

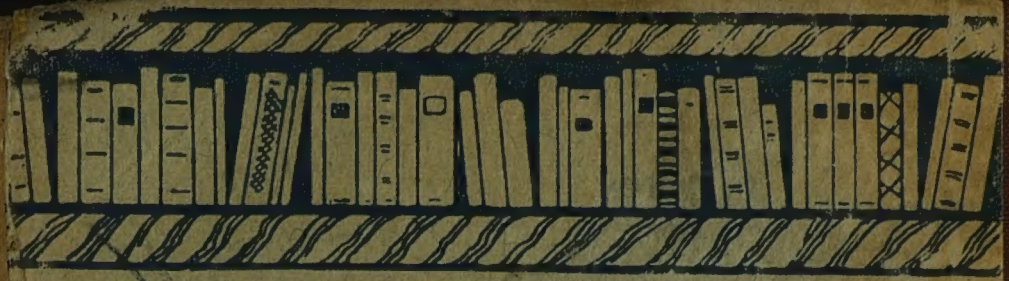
— То-то же! — так же серьезно сказал унтер. — Доложи, товарищ, начальнику отряда: на батарее все готово...

Ленинград — Москва.
1928—1933.

А. ЛЕБЕДЕНКО
„Тяжелый дивизион"
книга II
Цена 1 р. 50 к., бум. пер. 40 к.

Отв. редактор *Е. Рубинчик*
Н. Кравцова. Сдано в набор
Ленгослитиздат № 513. Ти
листов 21. Бум. листов
Отпечатано с матриц в типографии им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57.
Цена 1 р. 50 к., переплет 50 к.





1 р. 90 к.